

Григорий Анисимович Федосеев

Злой дух Ямбуя

Изд: "Художественная Литература", М., 1966

OCR&Spellcheck: Arch Stanton, 19 may 2001 (mailarch@runbox.com)

СОДЕРЖАНИЕ:

- [НАЗАД К ЯМБУЮ](#)
- [БИТЫК ВЫЗЫВАЕТ НА ПОЕДИНОК](#)
- [ЭВЕНКИЙСКИЙ ЗАКОН ДОЛГОЛЕТИЯ](#)
- [ТРЕВОГИ ЛАНГАРЫ](#)
- [ТРОПОЮ КОЧЕВНИКОВ](#)
- [ЗАГРЯ](#)
- [ЗАВЕТ ПРЕДКОВ](#)
- [ВОТ И ЯМБУЙ](#)
- [В ЗАПАДНЕ](#)
- [СЛЕДЫ, НЕ СМЫТЫЕ ДОЖДЕМ](#)
- [КОТЕЛОК НА ДЕРЕВЕ](#)
- [ГДЕ ПИРОВАЛИ ХИЩНИКИ](#)
- [НОЧЬ НЕОЖИДАННОСТЕЙ](#)
- [РЫЖЕМУ СТЕПАНУ ПОВЕЗЛО](#)
- [ДВА ХОЛМИКА НА ПОЛЯНЕ](#)
- [НОЧНОЙ ПОЕДИНОК](#)
- [МОГИЛА ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ](#)
- [СЛЕДЫ УВОДЯТ В ЗАРОСЛИ](#)
- [О ЧЕМ ДУМАЕТ СТАРЫЙ ЭВЕНК](#)
- ["Я УБЬЮ ТЕБЯ, ХАРГИ"](#)

— Тебя ожидает большая дорога! — говорит читателю каждая новая книга Григория Анисимовича Федосеева. Ведь любая из книг этого писателя — одна из дорог, которые ему пришлось пройти за свою немалую жизнь. Его первый путь был из горной казачьей станицы под Тебердой, где он родился в Краснодарский политехнический институт. После его окончания Федосеев в числе первых советских геодезистов начал "снимать карту страны". Где и как только не приходилось ему путешествовать: на лошадях и оленях, на вездеходе и собаках, в лодке и на вертолете, но чаще всего — пешком. Позади тысячи километров тайги и тундры, стены мошкары, десятки преодоленных горных хребтов, треск налетевшего на речной порог плота...

К литературе Федосеев стремился всю жизнь, но писать было некогда до пятидесяти лет: родился Григорий Анисимович в 1899 г., а его первая книжка "Таежные встречи" вышла в 1950 г. Вскоре им были написаны такие широко известные читателям книги, как "Мы идем по Восточному Саяну", "В тисках Джугдыра", "Пашка из Медвежьего лога", "Смерть меня подождет".

В новом, публикуемом в этом выпуске "Роман-газеты" произведении "Злой дух Ямбуя" Григорий Федосеев рассказывает о сибирских геодезистах, о каждодневной борьбе этих современных землепроходцев с опасностями и преградами, встающими

на их пути. Именно поэтому так настойчиво звучит в произведении мотив борьбы за духовное и физическое совершенство человека.

Федосеев ничего не "сочиняет": все описываемые им события произошли в действительности. Его книга — счастливый сплав достоверного документализма, живописи слова и мастерства приключенческого повествования.

...Один за другим пропадают вблизи горы Ямбуя люди: геодезисты и кочующие в этом районе Алданского нагорья эвенки. Срывается план работы огромной экспедиции, возрождается среди некоторой части эвенкийского населения вековой страх перед злыми духами. Автор правдиво рассказывает, как драматически преодолеваются причины исчезновения людей и суеверий кочевников. Главное же место в книге занимает описание жизни эвенков, их душевного благородства, готовности прийти на помощь "лючи" — как называют они русских, а также раздумья о жизни эвенкийского народа. И это раздумья не постороннего человека: автор книги прожил среди эвенков добрую треть всей своей жизни, и тревоги и радости эвенков воспринимает как свои собственные. Именно поэтому созданные Григорием Федосеевым образы старика Карарбаха, которому даже полная глухота не мешает "слышать" тайгу лучше всех, суровой, но мудрой Лангары и других эвенков являются большим достижением современной прозы.

Думаю, что не стоит даже и говорить о прекрасных — почти на каждой странице книги — описаниях северной природы. Впрочем, природа в книге не просто описывается — она непосредственно влияет на все действия и поступки ее героев.

Благодарность автору и радость живой жизни испытывает читатель после прочтения книги Григория Федосеева.

Дм. Еремин

*** ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ ***

НАЗАД К ЯМБУЮ

На перевале караван задержался. Каюры стали поправлять выюки на спинах уставших оленей. Люди скучились. Вынули кисеты, закурили. Солнце, словно огненный бубен, повисло над темными падами, над стальными выкряями озер, над зубчатыми грядами далекого Станового.

Еще один день пути до нашего таежного аэродрома — и прощай кочевая жизнь, комары, тишина топких болот!

Кому из геодезистов не знакомо чувство радости, когда, закончив работу, вдоволь наглотавшись хвойного воздуха, приправленного дымком костров, истоптав по звериным тропам не одну пару сапог, ты возвращаешься в тесный людской мир, к родному очагу. И уже не у костра, а среди домашних стен захочется согреть загрубевшую в долгих походах душу.

Мы покидаем Центральную часть Алданского нагорья, где занимались исследованиями и где еще продолжают работать геодезисты. Эту всхолмленную страну на юге урезают хребты Становой и Джугджур, а на севере она уходит в беспредельность. На нашу долю выпала почетная задача — сделать первую карту этого безлюдного и сурового края Сибири.

И вот я в последний раз смотрю с возвышенности на суровое нагорье. Далеко раскинулась холмистая земля, покрытая зыбунами, чахлыми лиственницами, бельмоватыми озерами. Наконец-то мы вырвались из этого длительного плена. Но почему-то я не радуюсь, почему-то мне грустно, будто я покидаю родные места. Вдруг все вокруг стало мне необыкновенно дорого: и это серое, выцветшее небо, и лысые бугры, и застывшие в вечном поклоне ели, и голодный беркут... Видимо, потому, что все тут трудно давалось. Пройдет немного времени — и там, среди городской суеты, в кругу друзей, я буду тосковать по тебе, печальный край, и, может быть, когда-нибудь к тебе вернусь...

— Прощай, нагорье! — кричу я, окидывая долгим взглядом раскинувшееся передо мной пространство.

Ночевать остановились у шумливого ручья, на дне залесенного распадка. Мы шли одним смешанным караваном, но лагеря ставили отдельно. У астрономов, рекогносцировщиков, наблюдателей свои порядки, свои привычки, выработанные в долгих скитаниях по тайге. Те, кто провел все лето в лесу, раскинули свои палатки в тени под елями. У них самый большой костер. Наблюдатели, прожившие все лето на вершинах гор, привыкли к простору, к открытому горизонту, привыкли видеть над собою обширный купол неба. Им тесно под сводом крон, они поставили двухскатные "чумы" на середине поляны. У них, на каменных вершинах, всегда не хватало дров, их они доставляли на пики на своем горбу, и их главная заповедь — бережливое отношение к огню. Они и здесь, в лесу, варили свой немудрящий ужин на маленьком костерке, подкармливаемом мелким сушняком.

Я ночевал с рекогносцировщиками — неутомимыми таежными бродягами. В создании карты они первые прокладывают путь в неисследованные работы, дают характеристику поверхности земли, определяют места будущих геодезических знаков. Им чуждо уныние. Ну и ребята! Шутки да прибаутки, и боже упаси попасть им на язык. Лес, горы, болота — все оставило свой отпечаток и на их внешности, и на быте. Их лагерь узнаешь с первого взгляда. Посуда, сбруя, одежда аккуратно развешаны на колышках, вбитых в стволы толстых деревьев; груз по-хозяйски сложен горкой, покрыт брезентом. Спят они обычно у огня. И не зря рекогносцировщикам все завидуют. Правда, одежда на них, как у всех нас, в латках, со следами костров, сапоги доживают последние дни. Но сколько жизнерадостности в каждом из этих таежных скитальцев! Какой опыт! Риск, трудности — их постоянные спутники.

Когда на поляну легла прохлада и густой лиловый сумрак позднего вечера окутал тайгу, к нам на стоянку пришли товарищи из соседних таборов. Они не спеша рассаживались вокруг костра и молча следили, как огонь пожирал головешки, как под горами расплавившихся углей вспыхивало и потухало синее пламя, будто каждый из них видел в этой синеве какое-то знамение. В их молчании чувствовалась нескрываемая радость возвращения. В своих думах они витали где-то далеко-далеко от костров, от корявых лиственниц, от комариного гула. И вряд ли какая сила заставила бы их повернуть назад, расстаться с мыслью о скором свидании с родными.

В уснувшем осеннем лесу позванивали бубенцы на шеях пасущихся оленей, в неподвижном воздухе шныряли пучеглазые совы.

Ко мне подошел развалистой походкой радист Павел, рослый, голубоглазый парень. Мы вместе с ним провели в тайге все лето.

— Неприятность, — сказал он тревожным голосом.

— Что, самолета не будет завтра?

— Хуже. Вот читайте. — И Павел подал только что принятую радиограмму.

Мой помощник по экспедиции Плоткин сообщал:

"На гольце Ямбуя исчез техник Евтушенко. Поиски ничего не дали. (Это уже второй геодезист, бесследно исчезнувший на гольце.) Необходимо организовать тщательные поиски пропавших и устранить причины гибели людей, иначе наблюдатели категорически отказываются заканчивать работу на Ямбуе. Что делать?"

Меня это известие ошеломило. Читаю радиограмму вслух. На стоянке наступила тягостная тишина. Слабые вспышки догорающих головешек освещали лица людей, застывших в самых неожиданных позах.

Мы еще не пришли в себя от загадочного исчезновения техника Сергея Петрика, вызвавшего много самых разноречивых толков. Строительное подразделение, в котором он работал, закончило постройку геодезического знака на гольце Ямбуя. Это было весной, после снеготаяния. Петрик и один рабочий остались на вершине, чтобы снять опалубку с бетонного тура и оштукатурить его. Остальные, нагрузившись оборудованием, спустились на табор к реке Реканде. Проснувшись рано утром,

рабочий не нашел на вершине Петрика. Решив, что тот спустился к своим, он закончил отделку тура и тоже покинул вершину. Но Петрика не оказалось и на таборе. Ждали день, второй, затем обшарили всю равнину с ее марями и озерами, но Петрик как испарился! И вот теперь там же исчез Евтушенко...

Одни считали, что он и Евтушенко, спустившись с гольца за дровами или за водой, заблудились в лесу из-за тумана, который часто и надолго приходит к нагорью с Охотского моря, и погибли от голода. Другие не соглашались с этим, ведь оба пропавшие опытные таежники, и уверяли, что и Петрик и Евтушенко живы, что им просто осточертели пустыри, гнус, безмолвие, заплесневелые болота и их потянуло к обжитым местам, к людям, к девочкам. И они, не преодолев гнетущего состояния, бежали на плоту по Реканде, в спешке не попрощавшись с товарищами и не получив расчета. Но сбежать отсюда в одиночку мог только сумасшедший.

Тогда что же в действительности произошло на Ямбуе? Надо было немедленно принять какое-то решение, попытаться проникнуть в тайну исчезновения с гольца двух геодезистов.

И, вероятно, никому другому, а именно мне, как начальнику экспедиции, придется распрощаться со своими спутниками, расстаться с мыслями о возвращении домой и повернуть обратно к Ямбую. Надо торопиться, — может, еще удастся спасти Евтушенко. И при любых обстоятельствах закончить работу на этом далеком гольце, иначе на следующий год придется возвращаться сюда. Но об этом нельзя даже и думать.

При мысли, что надо повернуть назад в пустыри, до боли сжалось сердце, еще больше захотелось к тихой, домашней пристани, где нет опасностей, где жизнь размеренна, спокойна. Я вдруг поверил, что и Петрик и Евтушенко не погибли, а сбежали: от мрачного состояния, в какое повергает человека нагорье, не то что к людям — к дьяволу в пекло сбежишь!

— Павел! — решительно сказал я радисту. — Завтра утром мы с тобою пойдем к Ямбую.

— Назад? — спросил он хрипло, чуточку попятившись от меня.

— Да, назад. Неси журнал, запишешь радиограмму.

Павел смотрел на меня, все еще не веря, что нормальный человек может добровольно отказаться от возвращения домой.

— Да вы что, в самом деле?.. Или шутите? — выпалил он срывающимся голосом.

— Неси журнал!

Нет, Павел явно не верит, продолжает стоять, огромный, беспомощный, ища глазами сочувствия у присутствующих. Потом нехотя приносит журнал.

— Садись поближе и пиши:

"Штаб. Плоткину. Завтра иду с радистом и проводником к Ямбую. Передайте приказ всем подразделениям на Ямбуйском объекте принять необходимые меры безопасности и при любых обстоятельствах продолжать работу. Поиски Евтушенко не прекращать".

Написал?.. Сейчас же передай.

Павел встал, безнадежно посмотрел на меня и, неловко переставляя отяжелевшие ноги, поплелся к себе в палатку.

Тяжелый мрак лег на уснувшую землю. Костер догорел. Люди разошлись по таборам. В лесу смолкли бубенцы. Потускнело небо. Из его темной бездны повеяло дыханием ночи. Отражаясь в зеркальной глубине заливчика, мерцал тлеющим угольком Юпитер.

Забираюсь в спальный мешок. Нет, сегодня мне не уснуть. Что и говорить, обидно расставаться с мыслями о близком свидании с родными, друзьями, снова возвращаться в безлюдное царство болот, в глушь тайги, мерить латаными сапогами зыбуны и снова шагать и шагать без конца...

Долго ворочаюсь, не могу уснуть. А без сна нелегко будет справиться с завтрашним днем. За ночь он успокоит нервы, смягчит горечь неудач и облегчит путь. Медленно погружаюсь в пустоту, и наконец сон одолевает меня.

Лагерь пробудился рано, только занималась утренняя зорька. Вспыхнули костры, пахнуло варевом. Ветер качнул сонную, слегка заиндевевшую тайгу. Стая казарок, расклинивая небесную синеву, беззвучно, будто тайком, пронеслась на юг.

Проводники собрались у нашего костра. Они молча выслушали меня, перекинулись короткими фразами. На их лицах не отразилось ни удивления, ни страха, они привыкли ко всяким неожиданностям в тайге.

Нам предстояло из шести наших проводников-эвенков, отобрать одного, самого опытного.

— Кто из вас хорошо знает южный край Алданского нагорья и может нас сопровождать? — обратился я к ним.

Все повернулись к маленькому мужчине, стоявшему позади остальных, прислонившись к лиственнице. Наши с ним взгляды встретились.

— Ты, что ли, Долбачи, возьмешься?

— Он, он, другого лучше не найдешь, — подтвердил старший из проводников.

— Сможешь провести нас напрямик к гольцу?

Губы старика скривились в усмешке.

— Почему спрашиваешь? Разве не видел: эвенк в тайге тропу знает, никогда не блудит.

— Тогда собирайся.

Долбачи неопределенно пожал плечами.

— Не хочешь идти? Домой спешишь? — спросил я.

— Ходить можно, да беда, у меня чай кончился... Без него никуда не пойду. Два плитки давай — прямо Ямбуй приведу, — и он кривым пальцем показал на восток.

— Чай у меня тоже кончился, но я раздобуду У ребят.

— Обязательно доставай, без чая голова болит, большой дорога ходить не могу.

Проводники разошлись, а Долбачи продолжал стоять под лиственницей, пока я не принес ему обещанный чай. Он бережно положил плитки за пазуху, ушел собираться. Эвенки — заядлые чаевники. Они умеют мастерски готовить этот напиток и пьют его с величайшим наслаждением, но только свежесваренным. Без чая им и свет не мил! Любой из наших проводников не пожалеет ни времени, ни оленей, чтобы поехать к далекому другу и выпить с ним кружку крепкого чаю.

С опытным проводником нам не страшно ничто: ни броды через бурные реки, ни завалы, ни сплошная тайга, ни перевалы. У проводников-эвенков в голове своя карта, идут они по ней, не сбиваясь с пути, каким-то особым чутьем угадывая опасность. Да и олени у таких проводников не сдадут в пути, не натрут спины выюками, придут к месту неослабленными. .

Мы с Павлом отбираем из своего имущества только самое необходимое для похода: рацию, палатку, тент, спальные мешки, посуду и десятидневный запас продуктов. При быстром передвижении олени не должны нести на своих спинах более двадцати килограммов груза.

Из-за темных вершин ельника брызжет багряный свет утра. Лагерь приходит в движение: люди снимают палатки, свертывают постели, готовят выюки. Каюры сгоняют к таборам отдохнувших за ночь оленей. Поляна наполняется оживленным разговором.

...Погасли костры. В одну длинную шеренгу выстроился караван почти в сто оленей. Мы прощаемся с товарищами. С завистью смотрим, как уходят они на запад. Впереди идут рекогносцировщики. За ними заросшие бородами астрономы со своими тяжеленными универсалами, которые бережно везут два оленя в специальных носилках, прикрепленных к их спинам. След астрономов притаптывают молчаливые наблюдатели, — пожалуй, самые трудолюбивые из геодезистов. Шествие замыкает пестрая стая собак.

Уходящие долго машут нам руками, что-то ободряюще кричат.

— А где же Загря? — спохватываюсь я, не заметив на таборе своей собаки.

— Никуда не денется, прибежит, — неласково, с досадой бросает Павел.

И действительно, из просвета, где только что исчез караван, вырывается Загря. Длинными прыжками он сокращает между нами расстояние и со всего разбега насккивает на меня. Затем, усевшись на задние лапы, пристально смотрит на запад, откуда еще доносится затихающий говор людей.

Как он великолепен, Загря! Почти весь светло-серый, с чуть заметной темной остю на спине, и только чулки на передних ногах белые в крапинках. Тело гибкое, ноги сильные, пружинистые, не знающие устали. Пушистый хвост всегда кольцом заброшен на спину. Он даже в схватке со зверем и в драке с собаками редко когда опускает его. А клыки! Кобель ими не кусает, а рвет по-волчьи, и раны от них у противнику долго не заживают. Но по натуре Загря самое добродушное и преданное существо. Вот уже два года, как мы с ним неразлучны в тайге.

Приседаю к нему, поворачиваю его морду к себе, говорю:

— Послушай, Загря, мы должны вернуться и идти к Ямбуу, там люди пропали, и их надо найти, понимаешь, найти!..

Загря вырывается, бросается вдогонку за караваном — неохота ему отстать от веселой собачьей компании, но привязанность ко мне заставляет вернуться.

Пора и нам собираться.

У Павла недовольный вид.

— Ну чего загрустил? — говорю я.

— Потерпи немного, скоро и мы будем дома.

— Я договорился со Светланой, она придет завтра на аэродром встречать. Ребята подшучивать начнут, еще обидится. И надо же такому случиться!..

— Сильнее соскучишься — милее будет... Связывая потки (*Потка -- вьючная оленья сумка) и не отвечая, он с досады так натянул ремень, что тот лопнул. Я рассмеялся.

— Это все от ваших разговоров, — упрекнул он и, повернувшись ко мне, хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой.

По натуре Павел человек молчаливый и добродушный, безропотно переносит трудности полевика. На этого парня можно положиться. Он опытный таежник, удивительно вынослив, обладает той безмятежной уверенностью, что делает людей сильными. Его выгоревшая на солнце и чуть рыжеватая борода оттеняет густой загар наивно-добродушного лица. По лицу краснели свежие и давнишние бугорки комариных укусов.

Наш путь лежит на юго-восток. Где-то там, за далекими синими сопками, за далью лесов, вздымается дикий голец — таинственный Ямбуу.

Долбачи идет с нами впервые. Мы не знаем друг друга. И мне хочется с первого дня подружиться с ним, я и стараюсь во всем угождать ему. Это человек лет пятидесяти, крепкий, приземистый, с шишковатыми, жилистыми руками. Неразговорчивый. Лицо скуластое, почти плоское, волосы черные, давно не стриженные. Тяжелые седеющие брови почти прикрывают малюсенькие, светящиеся добротой глаза, лежащие в глубоких впадинах. Одежда на нем сильно поношена. Но он выглядит опрятным и чистым. В его легкой походке угадывается сила; держится он с достоинством, уверенно.

Долбачи быстро перебирает приготовленные мне и Павлу вьюки, связывает их парами и тайком сквозь узенькие щелочки, бросает взгляд в нашу сторону, — ему тоже хочется разгадать, что мы за люди.

Затем он подходит к оленям. Из его связки с ним остался только учаг -- ездовой олень, остальные набраны из общего стада. Он мягко кладет загрубевшую ладонь на спину животного, ощупывает шерстистый хребет, обшарпанные вьюками бока и заглядывает в большие круглые глаза, как бы силясь разгадать характер и привычки животного. Отходит, осматривает оленя со стороны — надо же запомнить и внешние его приметы, совершенно непостижимые для нас.

Так, не торопясь, придирчиво Долбачи осмотрел своих новых подопечных и принялся привязывать их друг к другу, придерживаясь испытанного правила: за сильным оленем должен идти слабый, за слабым — опять сильный.

Вид у животных усталый. Шутка ли, все лето бродить по топким болотам с грузом! Но впереди еще более трудный, утомительный путь.

Проводник поднимает первый выюк. Животные точно пробуждаются от сна, поворачивают к нему настороженные головы. В их взглядах безнадежная покорность. Долбачи нам не доверяет, выючит сам, туго притягивая груз ремнями к натруженным спинам оленей. Мы только подносим ему уже связанные и уложенные на седла потки.

Наконец все готово. В руках посохи, за плечами ружья. С минуту стоим молча у затухающего костра — так уж принято у нас перед большим походом.

Долбачи набивает трубку табаком, прикуривает от уголька и обводит грустным взглядом волнистое пространство, убегающее от нас на юго-восток, как бы пытаясь разгадать, что ждет нас там, за холмами, в синей дали.

— Пошли, — говорит он решительно и, подняв с земли конец поводного ремня от учага, ведет караван вверх по ключу.

Спервых шагов меня охватывает странное чувство, будто я совсем расстаюсь с мечтой увидеть близких, родных, чем жил последние дни. Неужели это предчувствие чего-то недоброго, что ждет нас на Ямбуе?..

Загря прорывается вперед, мечется по ернику, не может угадать, в какую сторону пойдет караван. Его всегда приводит в восторг предстоящий путь, если, конечно, пес идет не на сворке, как в этот раз. Но стоило Долбачи сделать несколько шагов в нужном направлении, как Загря исчез с глаз, и до обеденной остановки его не увидишь. Сколько километров он обежит в такой день по болотам, по холмам — уму непостижимо! Но как бы он далеко ни убежал, надолго не упускает из слуха шум идущего каравана.

Я очень привязан к Загре. Он много раз выручал нас из беды. В тяжелые дни, когда в наших потках не оставалось продовольствия, Загря помогал нам добывать зверя.

Идем навстречу пустырям и тишине. Ничего нет печальнее пейзажа нагорья — унылого пространства заболоченных марей. Эта земля еще не имеет сказаний, у нее нет даже прошлого. Зимой только вой холодного ветра, а летом топь и комары, да изредка на глаза попадает след зверя.

Мы знаем, что впереди нас ждут однообразные ночевки у костра, приготовление пищи, сушка одежды — привычная кочевая жизнь. И хотя все это давно знакомо, все же каждый раз, прежде чем сделать первый шаг по неизвестному пути, снова и снова внутренне проверяешь себя, готов ли ты совершить этот путь.

Сегодня нет солнца, и нагорье кажется еще больше однообразным. Идем по старым, заросшим осинником гарям, без тропы; вокруг никаких ориентиров, указывающих путь. Всюду видны лишь лесные бугры, небольшие ельнички и мелкие бесприютные озеринки. Но проводник уверенно ведет караван. Мерно покачиваясь на учаге, в поисках прохода, Долбачи объезжает топи, петляет по завалам или кочковатым марям; но как бы он ни отклонялся в сторону, выбравшись вновь в тайгу, он неизменно ведет караван на юго-восток. Иногда мне кажется, что он сбился с пути, я тайком достаю буссоль, проверяю направление и, устыдившись своих мыслей, шагаю смелее следом за караваном.

Справа, у далекого горизонта показались лиловые ступеньки гор, еще плохо различимые. Это Становой. Мы идем к нему под острым углом. Иногда с возвышенности видим причудливые горбы его угрюмых вершин, скучившихся под хрустальным куполом синего неба. Точно гигантские головы в снежных папах, громоздятся они над глубокими ущельями, из которых с громадной высоты стекают с гулом потоки; достигнув равнины, они вдруг смолкают, спокойно ложатся в извилистые берега и бегут к океану.

Где-то там, у восточного края хребта, в хаосе вершин, — Ямбуей. До него еще много дней пути, и при этих мыслях хочется без отдыха гнать и гнать оленей, поспешать к Евтушенко.

На исходе первый день путешествия. За низкими холмами закат кровавит тусклую равнину. Пылают облака, тайга кутается в мутную синеву наступающего вечера.

Идем в полной тишине, только шелест опавшей листвы слышен под тяжелыми шагами оленей.

Впереди спуск. За спуском Долбачи, проверив, ладно ли лежат на спинах животных вьюки, перевел караван через шумливый ручей, утонувший в густых зарослях черной смородины. На другом берегу проводник остановился, закурил было, но, оглянувшись на упавшее солнце, снова вскочил на учага, погнав караван к ночевке.

Мы с Павлом не удержались от соблазна, немного отстали и, забравшись в пахучие заросли смородины, рвали горстями тяжелые кисти спелой ягоды, с наслаждением набивая отощавшие за день желудки.

Вдруг впереди и несколько в стороне от следа каравана несмело, отрывисто залаял Загря.

— Медведь! Ей-богу, медведь! — крикнул Павел.

Долбачи торопливо привязывает к лиственнице оленей, выдергивает из вьюка бердану, заряжает ее и бежит на лай. Я с карабином за ним.

До слуха долетает треск сломанных сучьев, и за ольховыми кустами закачалась вершина лиственницы.

Долбачи грозит мне пальцем: дескать, зверь близко, осторожнее. А сам по-рысиному, неслышно обходит ольховник, прикладывает ложе берданы к плечу, высовывается из-за кустарника и неожиданно безвольно роняет ружье.

На лиственнице высотой с телеграфный столб, почти на верхушке, прикинув к ее последнему сучку, в страхе трясется мальчишка лет шести.

Как он попал сюда? Откуда взялся? Непостижимо! Ведь на сотни километров вокруг абсолютное безлюдье, непролазные болота, глушь. Да и вообще тут людям делать нечего.

Парнишка напряженно следит за нами сверху и, кажется, вот-вот сейчас не по-человечески заворчит или издаст призывный, а то и угрожающий клич. Волосы у него взъерошены, в глазах враждебность.

Его круглое и почти плоское лицо до ушей измазано соком голубики и от этого кажется совсем синим. Одежда на нем странноватая: рубашка, пепельно-серая от долгой носки, явно велика и спадает с его узеньких плеч. Заправлена она в штаны, сшитые из лосины, из которых он давно вырос. Ноги босые.

— Долбачи, спроси у него, как он попал сюда? — наконец заговорил я, преодолев оцепенение.

Проводник повел плечами и что-то крикнул мальчишке по-эвенкийски. Того точно током прошло; он встрепенулся, крепче обхватил ручонками вершину и замер, не спуская с нас беспокойного, острого взгляда.

— Не хочет говорить, шибко пугался, — объясняет проводник.

Мы медленно подходим к лиственнице. Мальчишка в страхе пытается подняться еще выше, ноги его скользят по стволу дерева, не находя опоры; он торопится, вершинка лиственницы гнется, вот-вот сломается. Долбачи кричит ему, но мальчишка будто не слышит, никакие уговоры не действуют на него, лезет дальше. Мы поспешно отступаем, иначе он действительно слетит на землю и расшибется.

С противоположной стороны поляны доносится шорох опавших листьев под чьими-то торопливыми шагами. Загря бросается туда, и вскоре у перелеска раздвигаются кусты и в образовавшемся просвете появляется рогастый учаг, а на нем женщина. По тому, как у оленя раздуваются бока, можно было догадаться, что он пробежал немало километров.

Женщину, кажется, не удивила встреча с нами. Бросив лишь короткий взгляд на поляну, она сразу увидела на дереве мальчишку, и с ее усталого лица слетела тревога.

Не сбавляя размашистый бег учага, она соскочила на землю и легкими шагами, будто не касаясь земли, подошла к лиственнице. Мы и не заметили, как мальчишка очутился уже возле нее и, прячась в широченной материнской юбке, все еще дико косился на нас. А женщина подтянула ближе к себе оленя, затем зажала голову

мальчишки между ног и начала хлестать ремнем по ягодицам, что-то приговаривая при этом. Тот принял наказание как должное.

Я подбежал к женщине, схватил за руку.

Не отпуская мальчишку, она взглянула на меня снизу вверх, прищурился и без того узкие глаза, потом сказала спокойно, с достоинством:

— Разве не знаешь, что дети лучше всего понимают язык ремня?

— За что ты его наказываешь?

Она выпрямилась. Смуглая кожа на ее лице в свете заката казалась еще темнее, а белые зубы с чистым перламутровым блеском придавали лицу необыкновенную свежесть.

Мальчишка улучил момент, вытащил голову, но, заметив меня, тут же снова зарылся в материнские юбки. Я только увидел, как на цветную наборную рукоятку моего ножа, висевшего на поясе, устремились два пугливых живых огонька. Чем-то она поразила парнишку.

— Тебя шибко боится, — мельком окинув меня быстрым взглядом и одернув юбку, сказала мать. — Он лючи (*Лючи — по-эвенкийски — русский) еще не знает.

— Неужели русский такой страшный? — Я протянул руку, хотел приласкать мальчишку.

Но он изо всех сил прижался к матери и вдруг разразился отчаянным криком.

— Видишь, пугается, — строго сказала женщина, отстраняя мою руку. -- У тебя острый нос, все равно что птичий, а глаза круглые, как у оленя. Твоя одежда и обувь совсем не как у эвенка, где он мог тут в тайге видеть таких людей?

Действительно, мои глаза, нос, овал лица, одежда заметно разнятся от обыкновенной внешности эвенка. А так как все необычное у детей чаще всего вызывает страх, то и понятно, почему мальчишка меня испугался.

— А как тебя зовут? — спросил я женщину.

— Сулакикан.

— Лисичка, — пояснил Долбачи.

— Мы пастухи. Кочуем с оленями в горы, — охотно продолжала Сулакикан. — Тут близко наш след. У ключа остановились поправить вьюки, глянула, а Битыка, — она тычет пальцем в мальчишку, — нет на учаге. Посмотрела ремни, которыми привязывала его к седлу, — развязаны: значит, не выпал, а сам соскочил. Подождали — не пришел, пришлось табориться и ехать искать. А он, вишь, голубику увидел и остался.

— Так ведь мог совсем затеряться?

— Как же! Эвенк в тайге не затеряется! — уверенно возразила она.

— Не смотри, что маленький, все равно по следу пришел бы на табор. Да разве мать будет дожидаться, пока сам придет?!

У Долбачи вдруг возникает множество вопросов к ней, и они начинают говорить по-эвенкийски. Битык не сводит с меня пугливых глаз. Я же продолжаю рассматривать Сулакикан. Ей лет тридцать. Она среднего роста, стройна, быстра. На скулах проступает густой румянец. Черные жесткие волосы не расчесаны, ничем не прикрыты, а просто собраны в две косички и связаны вместе старенькой тряпочкой. Платье ее из ситца, шаровары заправлены в легкие, из мягкой замши, олочи, расшитые цветными нитками и красиво, в елочку перевязанные длинными ремешками. Держит себя Сулакикан свободно, бойко отвечает Долбачи, сама что-то расспрашивает, изредка кивая головой в мою сторону. В ее разговоре, в манере держать себя перед незнакомыми людьми полная непринужденность. Эта черта присуща всем эвенкийским женщинам, и особенно она проявляется у пастухов, еще вольно кочующих по огромным просторам Алданского нагорья.

Сулакикан, как бы между прочим, тоже урывками продолжает рассматривать меня. Ее интересует и мой карабин, и пуговицы на поношенной штормовке, и нож, и тяжелые солдатские сапоги. Но ни единым жестом она не выдает своего любопытства.

Подошел Павел с оленями. Битык, немного посмелевший, снова зарывается в подол матери.

У дальнего горизонта, где вставали на дыбы лиловые облачные кони, мирно потухал закат, смывая с темных болот вечерний загар. И тут мы все разом заметили, что день кончился. В мутной дымке терялись лохматые контуры холмов, совсем потускнели мари, деревья слились с синими вечерними сумерками.

На лице Сулакикан появляется беспокойство: вспомнила, что у нее еще много хлопот на стоянке. Мальчишка, улучив момент, отрывается от юбки, подбегает к учагу, ловко вскакивает в седло, торопливо набирает на руку свободный конец поводного ремня, один-два толчка пятками в бок оленя — и он уже в десяти метрах от нас. Битык вдруг резко поворачивается, показывает мне язык, и быстроногий учаг уносит его размашистой рысью за перелесок. На олене он чувствует себя неуязвимым; скрываясь с глаз, обернувшись кричит:

— Лючи!.. Лючи!..

— Ишь ты, шельмец, и не упадет! — восторгается Павел.

Сулакикан ведет нас к себе на табор. Представляю, как удивятся пастухи! Не часто в такой глубокой тайге встречаются люди, и нигде гость не бывает таким желанным, как в этих пустынных местах.

О встрече с пастухами здесь мы не могли даже и мечтать. Они кочуют с колхозными оленями в самой глуши тайги и гор и давно не встречались на нашем пути. И вдруг такая удача. Наконец-то я вновь услышу их неторопливый певуче-грустный говор.

Эвенки — народ древний, некогда заселявший огромную территорию от реки Оби до берегов Охотского моря. Их предки еще с каменного века были коренными обитателями Прибайкалья. Отсюда они позже расселились по Сибири. С незапамятных времен эти люди были охотниками. Постоянная борьба за жизнь, лишения, нечеловеческие трудности сделали эвенков наиболее приспособленными к жизни в лесах.

Отделенные от внешнего мира огромным пространством малодоступной тайги, они в течение очень длительного времени развивались вне влияния со стороны, сохранив самобытность древней культуры. Революция застала их в самых отдаленных и глухих районах тайги, вдали от цивилизации и уже малочисленной народностью. И хотя к этому времени эвенки считались православными, они продолжали верить в злых и добрых духов, в бессмертие, почитали медведя.

Наши современные пастухи, кочующие с колхозными стадами оленей по безбрежным пустырям нагорья, ведут свою династию от тех древних эвенков, что некогда пришли сюда из Забайкалья. Эти эвенки-пастухи не знают оседлости и после революции продолжают вести кочевой образ жизни.

Вот почему я и обрадовался встрече с ними. С радостью шагаю на их стоянку, надеясь открыть для себя что-то новое.

БИТЫК ВЫЗЫВАЕТ НА ПОЕДИНОК

Темень быстро заполняет просветы в лесу. Густой безбрежный туман расстилается по падям, цепляясь за лысые бугры и норовя подняться над ельником. Но тяжелый сумрак давит его к земле, к сырой болотной колыбели.

Шагаем молча, гуськом. В темноте какие разговоры! Долго шлепаем по черной маристой воде, густо утыканной кочками, пробираемся сквозь стланиковые заросли. Небо равнодушно и низко над притихшей тайгой. Какая-то неподвижность царит в темно-лиловой долине.

Вдруг живой огонек продырявил густой, настывший мрак. Доносится людской говор. Ноги теряют усталость. Олени, почуяв дым, прибавляют шаг. Наконец-то окончен сегодняшний путь! Наградой нам будут вечерний костер, кружка чаю с горячей лепешкой да встреча с пастухами.

Выходим на поляну... "Вот они, лесные люди, прошлое этой земли", -- подумал я, увидев остроконечные жилища кочевников, лес рогов отдыхающих оленей и вокруг

большого костра плосколицых загорелых людей, освещенных бликами яркого пламени.

У огня и наш новый знакомец Битык. Он с жаром рассказывает взрослым, все время показывая руками в нашу сторону, видимо, о встрече с нами — со странными для него "лючи". Все так захвачены рассказом, что не замечают, как мы подошли к стоянке.

Тишину разрывает дружный лай исполошившихся собак. Они высыпали нам навстречу из темных закоулков стойбища. Все люди поворачиваются в нашу сторону, и, пока мы подходим ближе к костру, я успеваю бегло оглядеть стоянку.

Несколько поодаль от огня, под густым ельником, стоят берестяные чумы. В вечернем сумраке они кажутся далекими снежными вершинами. Рядом с ними мешанина еще не разобранных выюков: постели, потки, люльки, седла, олени шкуры, домашняя утварь. Почти на середине маленькой поляны, у жаркого костра пестрела толпа женщин и детей. Пламя, вырываясь из-под толстых головешек, освещает их спокойные бронзовые лица и бросает мигающий свет на отдыхающее стадо оленей. Животные лежат плотным серым пластом, пережевывая корм.

Здесь, в глуши далеких лесов, пастухи сберегли чистоту эвенкийского типа. Лица взрослых круглые, чуточку плоские, с узким разрезом глаз. Все ребята удивительно похожи друг на друга — явно одного племени.

Мы оказались у пастухов из Омахтинского стойбища, что на речке Учур. Они перегоняют колхозное стадо оленей на новое стойбище. И хотя никто из них не приветствует нас, все стоят, словно припаянные к земле, доброжелательные взгляды говорят, что мы желанные гости.

Больше всех удивлены нашим появлением дети. Они с криком бросились к чумам, но, заметив, что с нами идет Сулакикан, скучились и замерли в какой-то нерешительности. Они рассматривают нас с любопытством, как призраков, пришедших к ним на стоянку из другого мира.

Мимо нас со злобным лаем промчалась огромная стая разношерстных собак. Впереди взрослые, за ними калеки, скачущие на трех ногах, и щенки. Все с ходу навалились на бежавшего сзади каравана Загрю. Закипела свалка. Все смешалось, взвыло и стало отдаляться к лесу и там вдруг оборвалось, смолкло, точно сквозь землю провалилось...

Из мрака появляется Загря. Идет геройски. Медленно ворочает головою и, скаля зубы, показывает смолкшим противникам острые клыки. Вся стая плотным полукругом сопровождает его. Когда Загря, опередив караван, вышел на поляну, какая-то плюгавенькая собачонка схватила его за заднюю ногу и тут же постыдно бежала. Загря даже не оглянулся на нее. Не прибавляя шагу, все так же уверенно, спокойно прошел дальше к чумам. Подошел к свежесрубленному пню, обнюхал его, сделал пометку и, повернувшись, стал сильными лапами разгребать пухлую землю. Внешне он казался спокойным и даже безразличным к притихшей стае, но долго еще у него стояла дыбом шерсть на спине и на загривке: видно, это спокойствие досталось ему нелегко.

— Смелый в драке всегда во много раз сильнее, — слышу голос старухи со шрамом через всю левую щеку. — У-у... проклятущие, сробели! — гневно грозит она на своих собак кривым посохом и, повернув ко мне широкое лицо с крупными чертами, бойко предлагает: — Бери за своего кобеля, по выбору, половину наших... Чего думаешь, хорошо даю.

— Корма на них много надо! — отшучиваюсь я.

— Они в тайге сами себя прокормят!

— Себя-то прокормят, — соглашаюсь я. — А нас?

— Оленя жирного давать будем в придачу. Не отказывайся, потом захочешь меняться — столько не дам.

— Так много Загря не стоит. К тому же он страшно злой кобель, людей кусает, горя с ним наберетесь, — пытаюсь разочаровать эвенку.

— Пошто дурной такой? — И старуха что-то кричит строгим голосом детворе, окружившей Загрю.

Те вмиг рассыпаются кто куда. А Загря важной, львиной походкой направляется к костру. Все собаки покорно уступают ему дорогу, провожают остывшими глазами, а он ложится на притоптанную землю, начинает рыться мордой в своей лохматой шубе.

— Кобель красивый и, видать, сильный, а, вишь, блохи и его кусают, -- говорит старуха.

Наконец-то мы здороваемся, приветствуем друг друга пожатием руки. И даже теперь на лицах женщин каменное спокойствие, точно такие, как мы, гости у них бывают каждый день.

Мы находим место для палатки, недалеко от чумов, развьючиваем оленей и начинаем разбирать багаж. Нас окружают все жители стоянки. Дети, немного осмелев, подступают поближе, усаживаются на землю и, сгорая от любопытства, следят за нами. Одна девочка лет пяти, с белыми раскосыми глазенками и черной косичкой, приблизилась ко мне у всех на виду и, боязливо протягивая ручонку, дотронулась до моей одежды.

Среди детворы раздался взрыв одобрения и восторга.

Женщины помогают Павлу ставить палатку. Долбачи привязывает на шею оленям чанхай — длинные поленья, чтобы они далеко не уходили, и отпускает на корм. На огне два больших котла с варевом. От них доносится запах отварного оленьего мяса. Этим запахом пропитан весь воздух. Я непрерывно глотаю слюну, так чертовски проголодался!

Смотрю на вороха еще не разобранных пастухами вьюков. Чего только они не возят с собою, и — ничего лишнего.

Много ли нужно для существования жителю тропических стран? Набедренная повязка, горсть риса и несколько плодов, почти ничего не стоящих. Постель, кров, тепло дарит природа. Жители северного края, где больше холода, чем на юге тепла, должны всегда иметь при себе летнюю и зимнюю одежду и обувь, меховые спальные мешки, палатку, печь, большой запас продуктов. Это не только обременительно, но и очень дорого, средства же к жизни эвенк добывает великим трудом, промышляя пушного зверя в снегах глухих лесов, в тундре. Когда об этом думаешь, невольно хочется сказать, как несправедливо распределены богатства на земле.

Старуха со шрамом продолжает стоять около меня. Ее зовут Лангара. Ей много лет. Она молча осматривает наши вьюки, но на ее морщинистом лице ничего не отражается. Я тоже поглядываю на нее. Уж очень сухощавая и длинная. В ее взгляде житейская мудрость. Ее лицо казалось удивительно светлым, будто Лангара никогда не знала горя, унижения, слез. Оно было спокойно и неподвижно. Глаза смотрели так же спокойно, точно все они видели уже много-много раз, все пережили, со всем примирились. И теперь ничто уже в них не возбуждает любопытства. Годы трудной жизни, видимо, научили эту женщину ничему не удивляться, и сделали ее сердце добрым. Может быть, именно в этой доброте и есть человеческое счастье, его богатство!

— Куда тропу мнете? — спросила она, вызывая меня на разговор.

— Идем к гольцу Ямбуи. Знаешь такой?

— Ямбуи? — удивилась старуха и, отступив на шаг, еще раз оглядела меня с головы до ног, будто перед ней стоял люци, спятивший с ума.

— Случайно, вы не к Ямбуи гоните стадо?

— Оборони бог! — Она протестующе замахала руками.

— К Ямбуи у эвенков давно тропы нет.

— Почему?

— Ты что, не знаешь? Ямбуи — место шибко плохой! — Лицо ее, будто от боли, стянулось бесчисленными морщинками. — Люди пропали там!

— Люди пропали? — невольно удивился я. Откуда бы им знать о пропавших геодезистах? — Кто тебе говорил об этом?

— Сама знаю. Три листопада или больше назад близко гольц девка потерялась. Пошла от стоянки на озеро уток стрелять и не вернулась. Долго искали — не нашли. Без следа потерялась. Потом, две зимы, что ли, назад, мужик, шибко хороший охотник, пошел на Ямбуи сокжой (*Сокжой — дикий северный олень) промышлять и тоже пропал.

— Куда же они девались, как ты думаешь?

— Мой старик Карарбах говорит, будто там, на гольце Ямбуя живет злой дух. Он не любит, когда близко к горе приходят люди, беспокоят его своими делами.

— А ты веришь в духов? — спросил я. Она посмотрела на меня долгим, чуть насмешливым взглядом.

— На свете много чего есть, даже самый мудрый не все знает... Я, может, не стану верить в духов, если ты скажешь, куда могут деваться люди, пропасть без следа... Не знаешь?.. А я знаю — только к Харги! — закончила она убежденно, и у нее нервно задергались уголки рта.

— У нас на Ямбуе в этом году тоже пропали два человека: один весной, а второй недавно.

— Лючи? — удивилась она.

— Да, русские.

Лангара поражена не меньше меня. Задумывается. Потом шепчет:

— Видишь, духи шибко гневаются: сколько людей брали — и все мало. Ты искать будешь?

— Да. Мы должны найти их хотя бы даже мертвыми.

— Скажи, какой дурной проводник таскал твой люди на Ямбуи, в это худое место?!

— Маймаканские каюры.

— А-а, маймаканские могли не знать, что на Ямбуе стоит чум Харги. От них эта гора далеко.

— А вы хорошо искали пропавших?

— Как искать будешь, если нет следа?

— Вот уж зря свалили на злого духа. Надо было узнать, почему погибли люди.

— И ты не ходи к Ямбуи — пропадешь! — говорит она, пронизывая меня умными глазами.

Ну и дела! Я, кажется, готов поверить, что на этом далеком гольце, у границы Алданского нагорья, действительно властвует злой дух Харги. Но в образе кого? На двух или на четырех ногах?

Лангара, вплотную приблизившись ко мне, пытается отговорить меня.

— Послушай, кто пропал на Ямбуе, ты даже следа их не найдешь, да и зачем тебе мертвый? Не ходи. Зачем напрасно тропу топтать? Лучше пойдем с нами вершину Худоркана, дикий баран добудем, мясо жирное кушать будем. Э-э, какой это мясо! — Она сладко причмокнула пустым ртом. — Ел?

— Много раз ел, Лангара. Хорошее мясо. Но спасибо за приглашение. Ты мне сейчас такую задачу задала — не до баранов. Скоро к Ямбуи еще наши люди придут, как бы и с ними чего не случилось. Надо торопиться туда.

— Не хочешь?.. Подумай, атыркан (*Атыркан — старуха) хорошо тебе толмачит. Когда в потках нет мяса, невесело кочевать по тайге. — И она, видимо вспомнив о вечерних своих обязанностях на стоянке, отошла от костра, но вдруг вернулась, ткнула мне в грудь разлохмаченным концом посоха.

— Думаешь, ты сильнее Харги?

— Человек сильнее всего.

— Пустая думка! — бросила она с досадой и торопливыми шагами ушла к чуму.

Кто-то осторожно подкрадывается ко мне сзади. Это Биты.к, окруженный детворою всего стойбища. Он не сводит с меня глаз, шагает неслышно, поднимая высоко ноги. В руках у него небольшой, красиво изогнутый лук из тяжелого листовенничного дерева. Тонкая жильная тетива одним концом наглухо прикреплена к луку, другой же конец свободен, чтобы не держать дерево в постоянной напряженности.

У одного, видимо, самого старшего из ребят, дочерна смуглого парнишки, я увидел в руках стрелы, довольно-таки длинные, тоже из лиственничного, прямослойного дерева, с железными наконечниками. Они тщательно отделаны и гладко отполированы — от этого, должно быть, зависела их меткость.

На виду у затаившейся детворы Битык высовывается вперед, но колеблется. Черные глазенки лукаво искрятся, подбородок дрожит, он явно не в силах преодолеть страх. Не знаю, что ему надо, ободряю его улыбкой. Парнишка как будто смелеет, пытается тоже улыбнуться. Его взгляд опять приковывает рукоятка моего ножа. Заглядевшись на нее, он шагнул вперед, неожиданно ногою зацепился за кочку и, смешно подпрыгнув, падает на землю вместе с луком. Раздается взрыв детского смеха. Я тоже смеюсь.

А Битык уже на ногах. Плотнo сжав губы, мальчишка подходит ко мне твердой походкой, но не ближе чем на два шага, протягивает лук, а головой кивает в сторону, где лежат наши вьюки.

Я смотрю туда и ничего не понимаю. Зову проводника.

— Долбачи, спроси у Битыка, что он хочет?

На лице старика появляется многозначительная улыбка.

— Ему нравится твой карабин, — говорит Долбачи. — Он хочет менять его на свой лук.

Смотрю на парнишку в недоумении: шутит он или серьезно хочет обменять свой лук на мой карабин? Битык тоже не сводит с меня взгляда, ждет ответа, стоит убежденный, что этим обменом делает мне одолжение. А я не знаю, как отказать ему, чтобы не обидеть и не унижить себя в глазах детворы.

Они ждут, что будет дальше.

Выручает меня сам Битык. Повернувшись к ребятам, он передает одному из них лук, берет топор и, полный независимости, шагает мимо своих сверстников прямо в темноту.

Кто-то бросает в костер охапку сушняка, и сноп яркого пламени вырывает из мрака стволы белесых пихт. Мальчик подходит к самой толстой из них, топором делает широкий протес и на нем рисует что-то вроде зайца. Затем делает еще один протес, повыше первого, в середине его рисует точку.

Что он затевает?..

Вся детвора повернулась ко мне и замерла в ожидании, еще не зная, что я в ответ предприму. На их бронзовых лицах, в подвижных глазках торжество, смешанное с лукавством. Несомненно, Битык придумал какую-то хитрость, чтобы завладеть моим карабином.

Представляю, сколько будет у них радости, крику и писку, если Битык подстроит мне какую-то ловушку и я попадусь в нее.

Он подходит к Долбачи, осмелевший, сияющий, и что-то торопливо и долго объясняет ему.

— Битык говорит, что ты напрасно не меняешься с ним, — поясняет мне Долбачи. — Мальчишка хочет показать тебе, что его лук стреляет лучше твоего ружья. Ты будешь первым пускать пулю в пятно на дереве, потом он пустит стрелу в зайца. Понял?

Я утвердительно киваю. Беру в руки карабин. Детвора сбивается пестрой стайкой.

Битык просит Долбачи натянуть на лук свободный конец тетивы, это еще не под силу мальчишке. Затем он отбирает из пяти стрел одну. Долго рассматривает ее, проверяет на глаз, выгибает на прочность.

Мне никогда не приходилось участвовать в таком состязании, но я не раз восхищался умением детей кочевников пускать стрелы. Что говорить — мастера! Битык уверенно готовится к состязанию — он явно опытный противник. И хотя на моей стороне все преимущества, мальчишка надеется выйти победителем.

Наконец-то все готово. Женщины бросили работу, собрались у костра. Весело переговариваются. Все, конечно, на стороне Битыка. Я же был рад, что таким образом мне удастся сблизиться с этой чумазой детворой и в душе благодарил

Битыка за то, что он затеял такую игру. Я действительно был убежден, что это всего лишь игра, рассчитанная не больше как на потеху.

Парнишка заметно волнуется. Глазенки быстрые, как у мыши. Окончательно осмелев, он берет меня за руку, уводит к противоположному краю поляны, примерно на пятьдесят метров от мишени, и предлагает стрелять. Я решаю промазать и этим доставить удовольствие детворе. Прикладываю ложе карабина к плечу, долго целюсь, испытывая терпение присутствующих, затем подвожу мушку повыше пятна на дереве, и хлесткий выстрел лениво расплзся по глухим закоулкам уснувшего леса.

Отдыхающие у чумов олени вскочили и, сбивая друг друга, рванулись в темноту. Залаяли собаки. Издалека, как бы в ответ на выстрел, донесся человеческий крик...

Дети бросаются к пихте. Они быстро находят след пули в верхней кромке затеса, и, судя по их ликованиям, по их радостным взглядам, мой промах обнадеживает их.

Теперь очередь за моим противником. Он считает, что дистанция для стрельбы из лука должна быть наполовину короче дистанции для стрельбы из ружья.

Я не возражаю. Надо было действительно слишком верить в меткость стрелы, чтобы в сравнении с пулей выговорить столь незначительные уступки.

Битык тяжело вздыхает, глушит волнение. На стойбище стало тихо-тихо. Все — и взрослые и дети — напряженно следят за каждым движением парнишки. Он сбрасывает с себя рубашонку. Приятель помогает ему стянуть ремнем живот и, хитро улыбаясь, что-то заговорщически шепчет ему на ухо.

— Он его учит: когда будешь натягивать ил (*И л — тетива) — не дыши, иначе не туда пустишь стрелу, — говорит мне Долбачи.

Лицо Битыка становится серьезным. Мальчишка внимательно осматривает лук, отходит несколько дальше от костра. Вот он опускается на правое колено, а левую ногу, слегка согнутую, выставляет вперед, упирается ею в землю. В его движениях нет обычной детской торопливости. Он вытягивает на всю длину левую руку с луком, прикладывает стрелу и начинает медленно оттягивать тетиву. Все в нем напряжено: глаза, мышцы, каждый волосок. Лицо багровеет. Но что-то мешает ему. Мальчишка опускает тетиву, вскакивает, быстро подтягивает лосевые штаны и снова опускается на землю. Тверже ставит левую ногу и делает глубокий вдох. Снова напрягается, тянет из всех сил тетиву, и стрела с характерным свистом проносится между освещенных костром стволов, вонзается в "зайца"...

Крик восторга разрывает тишину уснувшего леса. Битык встает, вытирает рукавом потное лицо. Дети подпрыгивают, как мячики. Один падает на мох, но тотчас же вскакивает и в диком экстазе начинает бешеный танец охотника. Девочка с черными косичками ликует. Победа Битыка приносит кочевникам безграничную радость.

Радуетесь и мы с Павлом.

Когда прошли первые минуты восторга, к герою подошла Лангара и краем подола своей широченной юбки вытерла ему нос. Затем она что-то назидательно сказала ему по-эвенкийски, показала рукой на "зайца" и неожиданно дала подзатыльник.

— Пусть не гордится! — сказала старуха, обращаясь к нам. — Надо было в голову цу попасть.

— Он еще мал, научится, — ответил я.

— Если сейчас не умеет, потом не научится.

Но Битык, кажется, и не заметил подзатыльника, так велика была его радость. Мальчишка твердой походкой подошел ко мне и с гордостью протянул свой лук.

Я не знал, что делать: только сейчас понял, что это не игра, что парнишка совершенно серьезно рассчитывает получить карабин. Он стоит с протянутым луком и не может понять моего замешательства. Я же действительно ничего не могу придумать и стою как истукан. А все смотрят на меня и ждут.

— Долбачи, — обращаюсь я к проводнику, — скажи Битыку, что карабин не мой, казенный, его нельзя никому дарить или менять, Пусть он скажет, что другое хотел бы получить за свой лук.

У парнишки смыкаются черные брови, виснут плечи. Лицо морщится от обиды, но от волнения он не может раскрыть рта. Вопросительно смотрит на меня детскими доверчивыми глазами и еще надеется. Затем отходит к ребятам, и они все, сбившись в кучу, глядят на меня с явным осуждением.

Мне, признаться, стало жаль их и в то же время неловко перед всеми присутствующими.

И тут я вспомнил про нож. Ведь он при первом знакомстве поразил Битыка своей цветной, наборной ручкой. "Вот и выход!"

Не задумываясь, вынимаю его из ножен, беру за лезвие и протягиваю парнишке.

У него загораются глаза. Он хватает нож, вертит его перед собой, пробует острие большим пальцем, не может налюбоваться. Вся детвора с завистью следит за ним.

Но вдруг Битык как бы спохватывается. На лице снова появляется досада.

— Ачин! (*Ачин — нет) — неожиданно произносит он с детской непосредственностью и, не взглянув на меня, возвращает нож.

Я растерялся.

Мы стоим молча друг против друга. Он с луком в руках, я с ножом. Не знаю, куда девать его. Стою буквально уничтоженный поступком мальчишки.

— Послушай, лючи, у детей долго не живет обида, потом помиришься, -- слышался голос старухи. — Ты думал он не попадет в зайца?

— Я не думал, что это серьезно, — неуклюже оправдываюсь я.

Всеми забытый костер почти погас. Долбачи осторожно подсунул в огонь концы поленьев и ушел в палатку. Женщины принялись за работу.

А Битык не сдвинулся с места. Безвольно уронив руку с луком, он продолжал стоять в окружении сочувствующих ему ребят. Его рот был открыт, глаза увяли, погас в них озорной огонек. Как плохо он должен думать о лючи! Стало непростительно стыдно за себя перед этим еще не искушенным ребенком. Обман у эвенков — самый тяжкий грех.

Битык еще раз пристально глянул мне в глаза, задержал свой взгляд на карабине и медленно поплелся к чуму. Не оглянувшись, ни у кого не искал сочувствия, уходил тяжелой походкой. А я смотрел парнишке вслед и думал: отдай ему сейчас ружье — он так же гордо скажет: "Ачин!"

Ко мне подошла Сулакикан, успокоительно улыбаясь, и, ничего не сказав, ушла следом за Битыком. Еще горше стало у меня на душе. Кому нужна была эта шутка? Вряд ли мне теперь удастся вернуть расположение к себе малышей.

Разбрелась по чумам и остальная детвора. Они не искали для меня снисхождения, ушли удивленные, с полным сознанием своей правоты.

"Вот эти уже не будут похожи на своих предков, хотя тоже родились в первобытной тайге. Они наследуют новую жизнь, не будут унижаться или выпрашивать у Харги подачки, и прошлое своего народа станет для них дурным сном".

Затихла стоянка.

В прогалине высокоствольных лиственниц появилась полная луна, разливая холодный голубоватый свет на поляне. Посветлели холмы за болотами. Надвинулись черные стены провалов, едва различимые вдали. И тишина глубокая, ничем не нарушаемая, проникла и в мою душу.

К ночи посвежел воздух. Набрасываю на плечи телогрейку, поправляю костер. Снова возвращаются думы о Ямбуе, о бесследно исчезнувших людях. С еще большей силой нахлынуло недоброе предчувствие какой-то беды, ожидающей нас у Ямбуя. Вдруг подумалось, что мы непростительно медленно идем, упускаем время. Хотелось собрать оленей, накинуть на спины выюки и гнать их день и ночь, день и ночь...

Подошел Долбачи. Он подбросил в огонь дров, воткнул заостренный конец тагана в землю, повесил чайник.

— Ты слышал, Долбачи, что говорила старуха про Ямбуя?

Проводник не отвечал. Ему явно не нравился этот разговор.

— Что же ты молчишь? Тоже боишься Харги?

— Харги мне плохо не делал, — уклончиво заговорил Долбачи. -- Наверное, близко Ямбуи есть худой место,zybун, может, человек там пропади, утонул, и совсем не осталось следа, или ушел далеко, заблудился.

Слова проводника не утешили меня. Я уже думал о том, что люди могли попасть в зыбуны и погибнуть. Но от этого еще тягостнее на душе. Представлялось ровное, точно приутюженное моховое поле и неопытный путник, вступивший на бархатистый покров зыбуна. Один неосторожный шаг — и вот уже нет опоры. Под ногами у человека трясина, жадно всасывающая добычу в свою холодную утробу. Никто не услышит среди безмолвных болот одинокий крик и мольбу о помощи.

Как бы в ответ на эти мысли из ночной глубины леса до слуха доносится приглушенный детский стон. Донесся и не смолк, повис над стоянкой.

Я вскакиваю.

— Не Битык ли плачет? — спрашиваю у Долбачи.

— Девочка, сестра его в чуме пропадает, — отвечает проводник спокойно, точно ничего особенного не происходит.

— Как то есть пропадает?

— Шибко болеет.

— Что с нею?

— Никто не знает.

Забывая обо всем, бегу к чуму. Распахиваю вход, заглядываю внутрь.

Тусклый свет от костерка, разложенного посреди чума, еле освещает его. Внутри никакого убранства, пустые стены из берестяных полотнищ, положенных на конусообразно поставленные шесты. Слева ворох еще не разобранных постелей. В глубине чума сидят, прижавшись друг к другу, молча, как птицы у разоренного гнезда, Лангара и Сулакикан. Рядом, ближе к входу, за бревном, на оленьей шкуре какое-то странное существо, полуприкрытое стареньким одеяльцем. Включив свет карманного фонаря, приподнимаю одеяло.

Передо мною лежит девочка лет трех, совершенно изнуренная болезнью. Ее широкое лицо как бы провалилось внутрь, сморщилось и стало совсем плоским. Вместо губ — синие полоски. Руки и ноги как плети, обтянутые кожей.

Тяжелый запах отсыревшей постели наполняет чум.

Девочка без сознания, бредит. В свете фонаря ее глаза кажутся стеклянными.

Присаживаюсь на бревне возле больной. Беру безвольную ручонку, напрасно пытаюсь нащупать пульс. Худенькое тельце девочки в огне. От чуть заметного дыхания у нее шевелятся крылышки носа. В ней еще теплится жизнь... А смерть как будто рядом, в темном углу чума ждет своего часа, ждет спокойно, терпеливо.

Я смотрю на больную, и меня охватывает отчаяние при мысли, что девочка умирает, а мои познания в медицине слишком скудны, чтобы спасти ей жизнь.

Старуха тяжело поднимает голову.

— Опять худо Аннушке. Днем стало легче, а сейчас опять...

— Чем лечите?

— От этой болезни нет лекарства...

— Опять Харги?

— Не кричи! — перебивает меня шепотом старуха и грозит пальцем. -- Зачем зовешь, если услышит, может и в твой чум послать беду. Берегись его в тайге... Они, молодые, — она кивает в сторону Сулакикан, — забыли про него. Вот он и хочет Аннушку брать.

— Повстречайся мы с вами раньше, черта бы я ему дал, а не Аннушку! А теперь слишком далеко болезнь зашла.

Старуха замахала руками на меня.

— Тихо говори!.. Если ты такой сильный, не дай ей нынче умереть, и я поверю... —

Она умолкает.

— Что духов нет? Так, что ли?!

Лангара пугливо оглядывается и жестом головы дает мне понять прекратить разговор.

Тихо плачет Сулакикан; и кажется, вот сейчас она разрыдается, и безутешным материнским горем захлебнется чум, тайга, ночь.

Нет, она затихла, подняла на меня страдальческие глаза; в них боль и безропотная покорность судьбе.

Я не верю в чудеса, но надо немедленно что-то предпринять, хотя бы для того, чтобы не оставаться безучастным к горю этих людей.

Выхожу из чума и натываюсь на Битыка. Он стоит у входа, прислонившись к скошенной берестяной стене и прислушиваясь к стону умирающей сестренки. Мальчишка поймал мой взгляд печальными глазами. В них и мольба и надежда. От прежней обиды на меня не осталось и следа.

Я обнял его, прижал к себе. Мне хотелось утешить мальчика, но не нашлось слов, понятных ему, да и не было надежды на спасение Аннушки.

Давно догорела вечерняя заря. Лес вокруг чумов стоит редкий, одинокий, пронизанный полосами лунного света. Тишина полна бодрости. В воздухе ощущение нескончаемой жизни. Так зачем же смерть на земле!

Не знаю, что бы я отдал за спасение девочки, за материнскую улыбку Сулакикан, за радость Битыка. Но как это сделать, как спасти Аннушку всем Харги назло?

— Павел! — кричу я, забираясь в палатку к радисту. — На стойбище умирает девочка. Устанавливай рацию и любыми средствами свяжись со штабом экспедиции, пусть немедленно вызовут к микрофону врача для консультации.

— Штабная рация уже закрыта до утра, — отвечает радист, удивленный моим приказом.

— Выходи на волну Министерства связи, объясни радистам, в чем дело, попроси сообщить нашим, что мы в двадцать три часа ждем для переговоров врача.

— Вы же знаете, что работать на чужой волне строго запрещено.

— Еще строже запрещено равнодушие. Не теряй времени!

Неожиданно раскрывается вход в палатку, появляется заплаканная Сулакикан. Она держит что-то спрятанное в подоле юбки, пугливо оглядывается и бесшумно опускается рядом со мной, точно вращая в землю.

— Ты не обижайся, Лангара хороший человек и не ругай ее, что она верит в духов и всякие приметы. Старые люди другого не знали, — и, переводя дыхание, она подает мне аптечку. — Тут много лекарств от всяких разных болезней, но мы не понимаем их язык, что к чему. Ты помоги спасти моего ребенка. — Ее голос обрывается.

Она ловит мою руку и дрожащими губами шепчет:

— Спаси Аннушку!

Я открываю ящичек. В нем все перемешано, названия лекарств стерты от долгого пути во вьюках.

— Я сделаю все, что от меня зависит, Сулакикан. Павел вызовет к аппарату доктора, я ему расскажу про болезнь Аннушки, и он посоветует нам, как и чем ее надо лечить. А пока посмотрю в своей аптечке лекарства и что-нибудь дам девочке, чтобы ей стало легче.

— Ты сейчас позовешь доктора? — поразилась она.

— Да. Слышишь, Павел уже зовет.

— Доктор — шибко хорошо. — Сулакикан оживает, в ее глазах вспыхивает и уже не гаснет надежда. Она уходит к больной.

Достав из потки аптечку, нахожу аспирин, растворяю одну таблетку в ложке воды, несу в чум и с помощью Сулакикан, тайно от Лангары, вливаю в рот больной. Она все так же лежит бездыханным комочком, и мне становится ясным, что Аннушку не спасти.

ЭВЕНКИЙСКИЙ ЗАКОН ДОЛГОЛЕТИЯ

Из леса выходят двое мужчин с бревнами на плечах. Передний, тонкий, длинный, идет под тяжестью легко, не сгибая спины и быстро, как сокжой. Второй, поменьше, еле поспевает. За ними показывается старик с хромым оленем в поводу. Он идет

налегке, но, видно, прожитые годы лежат на плечах грузом потяжелее бревна. Одет он во все самодельное, бедно даже для кочевника.

— Откуда люди? — спрашивает передний, но вдруг замечает под ногами Загрю, отскакивает в сторону, чуть не уронив бревна. — У-у-у... здоровущий кобель! Поди укусит?..

А старик проходит мимо, не проявляя любопытства. Молодые мужчины радушно жмут нам руки и завязывают с Долбачи разговор на своем языке. Им хочется знать, что мы за люди, какое дело привело нас в эти пустыри и как долго мы будем их гостями.

— Напрасно идете на Ямбуи, — говорит высокий мужчина, муж Сулакикан, обращаясь ко мне.

— А что, по-твоему, там Харги?

— Нет, — убежденно говорит он, — но тот, кто забрал людей без следа, шибко хитрый.

— А могли люди погибнуть в зыбунах? Он неопределенно повел плечами.

— Только слепой да дурной полезет в зыбун. Чего делать там?

— Где же искать пропавших?

— Однако близко Ямбуи худой люди живи, чужого не любят.

— Думаешь, там беглые скрываются?

— Так многие говорят, — уклончиво ответил он. — И вы не ходите одни, тоже пропадете. Ямбуи надо сразу много люди. — И он ушел в чум к больной дочери.

Час от часу не легче! Если там действительно скрываются преступники...

Мое внимание приковывает старик. Он держится обособленно, будто у него тут свои дела, не связанные с остальными. На его желтовато-смуглом лице, в устало сжатых губах какая-то безысходность, навсегда застывшее выражение горечи. Мне кажется, что когда-то я видел это окаменелое лицо, сильно приплюснутый нос, скрюченную спину и эти худые руки, заканчивающиеся широкими кистями с кривыми, изувеченными подагрой пальцами. Но где и при каких обстоятельствах?.. Вспомнить не могу.

Старик привязывает хромого оленя к березке. Ощупывает его больную ногу. Достает нож и начинает расчищать рану у верхнего края копыта. Олень бьется, но руки у старика как клещи. Никто не помогает ему, хотя все видят, что он еле сдерживает взбунтовавшееся животное.

Хочу пойти помочь Карарбаху (так звали старика), но Лангара удерживает меня за рукав телогрейки.

— Не ходи, — говорит она властно.

— Почему? — удивился я.

— Старика не надо помогать.

— Да ты посмотри, ему не удержать оленя!

— Удержит. Для старого чем труднее, тем лучше, — утверждает она.

Карарбах никого не позвал помочь ему, сам справился с животным. Отпустив его, подходит к костру, устало, опускается на землю, осторожно подвернув под себя ноги. Длинные волосы липнут к мокрому лбу. Голова клонится к теплу. Он кажется тут случайным человеком, из другого племени.

Старик только теперь замечает меня с Павлом. Он смотрит на нас равнодушно, погруженный в свои думы.

— Долбачи, ты не скажешь, почему Карарбах такой одинокий? Не болен ли он чем? — обратился я к проводнику.

— Он глухой, давно не слышит, а охотник — куда с добром! Недавно сокжоя свалил, видишь, как много мяса варили. У него доброе сердце, это хорошо знают все стойбища и все люди, которые ходили его тропой. Вся жизнь он кочует тут по нагорью с оленями. Шибко хороший человек!

Узенькая, будто не его, латаная дошка не сходится на груди Карарбаха, она связана лосевыми тесемками и перехвачена на животе сыромятным ремнем. На ногах донельзя истрепанные унты, аккуратно перевязанные ремешками пониже колен и

выше щиколоток. И уж совсем необычное лицо, неподвижно печальное, без тени улыбки, утомленное заботами трудной жизни. Лоб широкий, в морщинах. Верхняя губа слегка прикрыта жиденькими волосами, напоминающими усы. Бородка тоже реденькая, свисает двумя пучочками. Ладони рук, потрескавшиеся от работы, грубые, быть может, никогда никого не ласкавшие. Кажется, давно в этом старике все погасло, не осталось даже воспоминаний. И только глаза, утонувшие в глубоких сухих впадинах, еще жили и поблескивали, как утренние капли росы на листьях рододендрона.

Карарбах достает из-за пазухи трубку, набивает ее табаком, прикуривает от уголька, делает две-три затяжки. Возле него появляется Лангара. Она бесцеремонно отбирает трубку, засовывает мокрый конец чубука в рот. Потом трубку я вижу в зубах Сулакикан. К Карарбаху она вернулась потухшей, пустой, обсосанной чужими губами. Так было принято у кочевников. Не всегда был табак под рукою и не у каждого, потому и не считалось зазорным пускать трубку по кругу. Курили ведь почти все мужчины и женщины. Не запрещалось курить и детям.

В чумах загремела посуда — сигнал к вечерней трапезе. Появляются женщины. Они несут потки с продуктами, туески и камаланы — маленькие меховые коврики, сшитые из шкур, содранных с голов сохатых и оленей. Матерям охотно помогают проголодавшиеся дети. Они выстилают свежим лапником "стол", на котором будет трапеза.

Ожила стоянка. Все подступили к костру. Меня не покидает любопытство, желание увидеть что-то из прежних обычаев лесных кочевников.

Тут старое и новое вперемешку. Сукна, ситцы, пестрые платки, фабричная обувь уживаются с национальной одеждой и обувью, сшитой из самодельной замши, очень удобной в тайге. Эмалированная посуда и берестяные чуманы — посуда древних времен. Цветные ватные одеяла в одних свертках с медвежьими шкурами. Аппетитные, подрумяненные и пышные лепешки, искусно выпеченные по способу предков на деревянных прутьях. Они гораздо вкуснее испеченных на сковородках; За "столом" распорядится старуха. Сулакикан и Сетья хлопчут у котлов, вытаскивая огромные куски ароматного мяса, рассекают их на части, раскладывают по чуманам и тут же успевают отпустить звонкие подзатыльники нетерпеливой детворе.

Сетья — женщина небольшого роста, немного моложе Сулакикан, очень смуглая, дышащая свежестью и здоровьем, с резкими чертами лица и влажными, чуточку пухлыми губами.

Все женщины выглядят опрятными. На них широченные, как у цыганок, юбки и светлые кофточки. Все в длинных шароварах. Обуты они в легкие летние олочи, сшитые из лосевой или оленьей замши, расшитые красивым орнаментом, искусство которого идет, несомненно, из глубокой старины.

У Сетьи медное кольцо на указательном пальце правой руки; кажется, только что надела и довольна, что я заметил его. Распустив юбку, она плавно опускается возле своих детей, подтаскивает к себе чуман с горячим мясом.

Сзади послышались легкие шаги. К костру шла молодая беременная женщина. Мы ее видим впервые. Это Инга. Она выглядит совсем девчонкой, хорошо сложена, крепкая, гибкая, с походкой серны. Под тонкой потертой кофточкой вздрагивают ничем не стесненные тугие груди. Круглый живот затянут черным ситцевым лоскутом. Подойдя к "столу", женщина в нерешительности остановилась.

Мы с Павлом не сводили с нее глаз. У Инги прелестное, свежее лицо. На бронзовых щеках, освещенных мерцающим светом костра, густой брусничный румянец. На шее у нее ожерелье из старинных серебряных монет и какая-то брошка на груди, тоже, видимо, сейчас приколота. Она молчалива и грустна.

Женщины заканчивают дележку мяса. Мужчины собрались у костра, ждут приглашения. С первого взгляда все эти пастухи-кочевники кажутся необщительными, даже замкнутыми людьми, но когда узнаешь их ближе, то чувствуешь, что в каждом из них бьется доброе сердце.

Из темных убежищ стоянки к костру подступают голодные собаки. Их очень много, все разношерстные, худые.

Круглая луна серебрит поляну. Небо слабо светится от редких звезд. В тишине ночи сказочными кажутся остроглавые жилища пастухов, мешанина все еще не разобранных выюков и скопище плосколицых людей, окруженных собаками, оленями и освещенных дрожащими бликами огня. Мы как будто очутились в далеко-далеко ушедших временах.

Лангара садится на шкуру, поджимает под себя ноги. Она показывает мне место слева, и я покорно опускаюсь на землю. Рядом со мною усаживает Павла и Долбачи. Справа — своего глухого старика. Молча, движением головы, подает знак остальным садиться. Она не расточает слова. Ее власть безгранична. Здесь, видимо, царит матриархат. Остальные рассаживаются семьями, плотным полукругом к костру, одни на принесенных камаланах, другие на листовничной подстилке, брошенной на землю, или на чурбаках.

Смолкает говор. Стихает детвора. Начинается трапеза.

Перед каждой семьей стоит берестяной чуман, наполненный аппетитно пахнущим горячим оленьим мясом. Лангара долго роется заскорузлыми пальцами в своем чумане, кладет перед собой кусок грудины — жирный и сочный. Мне дает большую кость и ребровину. Карарбаху кладет совсем немного мякоти, меньше того, что получили дети.

Я замечаю это, и мне становится неловко перед стариком. Не из-за нас ли он не получил положенную ему долю? Пастухи ведь не ждали гостей. Отрезаю от своей порции кусок мякоти, хочу передать его старику. Но мою руку отводит Лангара. Она отбирает мясо и кладет его мне обратно. Это проделывается так властно, что я не осмеливаюсь настаивать на своем. Недоуменно смотрю на Лангару, но она не собирается давать объяснений.

Все дружно едят. Слышатся удовлетворенные вздохи, сладостное чмокание и хруст костей. Дети во всем подражают взрослым. Тут их не упрашивают есть, никто не кладет игл лепешку в рот. Они прекрасно знают, что за столом мешкать нельзя — останешься голодным. Потом лей слезы, реви сколько угодно, ничто не поможет. С ранних лет эти дети начинают ценить пищу, относятся к ней с величайшей бережливостью.

Рыхлый туман встает в сырых ложбинах. От него веет такой же древностью, как и от всего стойбища.

Я слежу за Битыком. Он подбирает под себя ноги, развязывает на груди ремешки, стягивает дошку: так, видно, ему вольготнее. В одной руке мясо, в другой ломоть пшеничной лепешки. Острыми зубами он рвет мясо, глотает кусок за куском, заедая лепешкой, а черные глаза уже высматривают в чумане очередную порцию. Вижу: нацеливается на мозговую кость, торчащую из груды мяса — самый лакомый кусочек, и воровски косит глаза на старшего братишку, сидящего рядом. Кажется, и тот заметил кость, насторожился, тоже не сводит с нее глаз.

Битык перестает жевать и стремительно, по-ястребиному, набрасывается на кость. Тут же его руку ловит братишка. Начинается возня. Но никто из взрослых не обращает на них внимания. Битык вырывается из объятий брата, отталкивает его плечом и крепко держит кость в своих руках. Только теперь мать поворачивается, хватая старшего и награждает звонкой оплеухой.

— Почему же ты одного наказываешь? Виноваты оба! — обращаюсь я к Сулакикан. Она недоуменно смотрит на меня.

— Пусть знает, — пища сама в рот не ходит. — И одобрительно кивает Битыку, занятому костью.

В разговор вмешивается старуха. Не отрываясь от еды, говорит:

— Сейчас мать его наказывает, да мало, надо больше, раз не может добыть себе пищу, а потом тайга будет наказывать, она не пожалеет.

Детвора смеется... Старший братишка Битыка — Илько — посрамлен, даже за столом он не может добыть себе лакомый кусок!

Из глубины ночи доносится перезвон колокольчиков. Он наполняет воздух хрустальной россыпью причудливых звуков, затихающими вдали певучими аккордами.

Трапеза продолжается.

Мясо дикого оленя осенью особенно вкусно. В нем и сладость ягеля, и тончайший аромат альпийских лугов, и еще что-то, идущее от леса и присущее только свежей оленине. Эти удивительные качества еще больше ощутимы, когда мясо подается в отварном виде, как сейчас. И варят его таежным способом, в прозрачной ключевой воде, на листовенничном костре, без каких-либо специй.

Самым вкусным считается у эвенков оленин язык, грудинка и ребра, когда на них тонкие слои жира чередуются с мясом. Знатоки предпочитают свежую теплую печенку. В большом почете у кочевников и оленья голова. Непосвященному человеку трудно представить, какое это лакомство. Тут и хрящи, и жирные "щеки", и мозги, и мягкий, маслянистый язык. Чего только нет! А сладкие, сочные оленины губы!..

Все взрослые, и мужчины и женщины, во время еды ловко работают ножами, отсекают мясо кусок за куском прямо у рта. Что и говорить, мастера! Лишь Лангара, чтобы продлить удовольствие, не торопится. Ест без ножа, медленно, аппетитно причмокивая. По губам и по рукам, по подбородку у нее стекает жир. Лицо старухи сытое, довольное.

Заметив возле меня кусочек оброненного мяса, Лангара подбирает его, протягивает мне.

— Если сыт, пищу не бросай, для нее настанет завтрашний день.

— Ты права, Лангара, я не заметил, как уронил.

— То-то! А это не будешь? — спрашивает она, показывая на кость, которую я только что грыз, и, не дожидаясь ответа, подбирает ее. Как хороший мастер, она внимательно осматривает кость со всех сторон и начинает обстукивать обушком ножа, определяя по звуку, не осталось ли где в складках или в стволе кости лакомства. И, не найдя ничего съедобного, передает кость глухому старику, кивнув в мою сторону. А около него уже горка набросанных костей.

Карарбах тоже осматривает ее, достает длинный, узкий, как шило, нож, точно зонд вводит его внутрь кости и что-то выскребает.

Тут я вижу, как Битык, воспользовавшись тем, что все поглощены едой, незаметно подползает к старику, толкает его ручонкой в бок, кладет перед ним не совсем еще обглоданную кость. На лице Карарбаха появляется подобие улыбки. Их взгляды встречаются. Старик и ребенок довольны. Но все это не ускользает от Лангары. Она сердито отбирает у старика кость. Битык еле успевает увернуться от ее шлепка.

Лицо Карарбаха мрачнеет. Но он не смеет протестовать.

— Лангара, почему ты не позволяешь давать Карарбаху даже кости? Разве он не заслуживает получить такую же долю мяса, как и все мы? — спрашиваю я.

— Так лучше ему, — отвечает она спокойно. — Сытый становится ленивым.

— Но он же совсем голодный; Ты ему даже лепешки не дала.

— Не все меряй брюхом, — отвечает она. — Амакан (*Амакан — медведь) всю зиму ничего не ест, однако все его боятся... Тебе надо знать: у кого есть все, тот не научится скрадывать зверя, делать ловушки, разбираться в следах. Он даже огня себе не разведет. А без этого в тайге человек что дупляная листовенница, валит ее ветер куда хочет. — Немного помедлив, она продолжает: — Если Карарбаха кормить досыта, он скоро уйдет к предкам.

— Старик болен? — встревожился я. На лице Лангары досада. Она дожевывает мясо, торопливо вытирает рукавом губы.

— Нет, он не болен. Но послушай меня, его отец, — она тычет пальцем в старика, обсасывающего кость, — когда имел столько лет, как Карарбах, еще меньше получал пищи на стойбище и досыта ел только, когда сам добывал зверя. Он все время охотился, много ходил, искал пищу и долго жил, как десять раз олень.

— Десять поколений! Это сто лет.

— Может, и больше.

— Так что же, по-твоему, помогло ему прожить столько лет?

— Ты, как няня (*Няня — теленок), глупый, — сердится старуха. -- Потому, что голод не давал ему сидеть в чуме, велел ходить по тайге, искать зверя, птицу. Он таскал тяжелую поняжку, спал на морозе, не ленился, много работал. Человек и в старости должен уважать труд, как и пищу. Такой долго живет. Это ты хорошо помни.

— Значит, ты не кормишь Карарбаха, чтобы он не ленился, ходил на охоту?

— Вот теперь ты правильно говоришь, Не думай, что мы жадные, мяса ему не даем. Нет, оборони бог! Так лучше, чтобы его не скоро забрала смерть. Раньше было: если старик лишний в чуме, понимаешь, без пользы жил, его хорошо кормили, не давали работать, и он скоро пропадал. А Карарбаху нельзя уходить к предкам. Он лучше всех знает, где есть хорошее пастбище, как лечить оленей, где добыть зверя. Без него нам всем худо будет кочевать в тайге, Лучше половину стада потерять, чем Карарбаха. Но будет сытый -- непременно обленится, забудет тропы, ноги потеряют силу, не станет охотиться, скоро пропадет.

— А так вы его заморите голодом, — перебиваю я старуху.

— Что ты! — протестующе замахала она руками. — Если старик шибко хочет мяса, он идет на охоту. Когда ему есть фарт и он добудет зверя, там он один раз кушает, сколько хочет брюхо, и свежей печенки, и губы, и теплой крови...

Лангара достает из чумана кусочек мяса и кладет в рот, долго сосредоточенно жует.

— Кому никто не помогает жить — того старость боится, — продолжает она. — Ты был на стойбище Альгома? Нет. И не знал старика Тешку? Он намного старше Карарбаха, а еще не ел печенку от чужой пули, ни у кого не просил, пищи. Сам кормит все стойбище. Больше его никто не убивал зверя. Таких стариков уже не будет.

— Почему?

— С детства он был сирота, никто не жалел его, постоянно говорил: "Если хочешь сытым быть — иди тайга". И тайга сделала его сильным... Карарбах тоже так жил. Когда маленький был, отца на берлоге амакан задрал, мать померла, его взяли в чужой чум. Потом на стойбище злой дух пустил мор, все умерли, только Карарбах остался маленький, как Битык. Все лето в тайге один жил, все равно что медведь. Не пропал, выжил. А осенью бедный эвенк нашел его, но кормить было нечем. Карарбах сам добывал себе мясо, рыбу и даже мало-мало помогал бедному эвенку. Потом он стал большой охотник. Много людям давал пищи, шкур, у костра всегда было тепло. Но не думай, что ему легко жилось. Он замерзал в снегу, тонул. Постоянно смерть ходила его следом. Видишь, у него нет ушей, — Лангара срывает с головы Карарбаха шапку — вместо ушей были видны слуховые отверстия, густо заросшие волосами. — Он пропадал голодный, отрезал их, съел и остался жить. Ты бы разве догадался?

— Конечно, Карарбах и Тешка из Альгомы — опытные люди, прошли трудную жизнь, но сколько таких, как они, не пережили, погибли! Может быть, в те времена, когда человек был предоставлен сам себе и надо было воспитывать его в духе невероятных испытаний, иначе действительно ему бы не выжить, но теперь к чему это?

Лицо Лангары вытягивается, в глазах вспыхивают недобрые огоньки. Она тычет пальцем в сторону детей, говорит резко:

— Этим худо будет жить, шибко худо! Они пойдут в интернат; все будут учиться, за это большое спасибо Советской власти, раньше такого не могло быть. Но им в интернате будут показывать легкую тропу, не будут учить, как жить и добывать пищу, пушнину в тайге, пасти оленей. Разве это хорошо? Потом придет день, дети пожалеют, не скажут спасибо.

— Это все, Лангара, наладится, — пытаюсь успокоить старуху. — Да и в будущем им вряд ли придется столкнуться с теми трудностями, какие пережили вы. Главное другое — в интернате дети живут в нормальных человеческих условиях, одеты, сыты, учатся.

— Э-э-э... — Она безнадежно машет рукою. — Говорю, не жалею тех, кому худо живется с детства. Голод сделает их хорошими охотниками, один станет два-три

стойбища кормить.

— Но согласишься, Лангара, новое время своего требует. Детям надо учиться не только в интернатах, но и в институтах, чтобы делать жизнь лучше. Ты сейчас не станешь добывать огонь, как твой дед, у тебя есть спички. Ты давно не охотишься с самострелами. А радио в чуме?! Такое твоей бабушке и не снилось! А твои внуки, может, молнией повелевать будут и станут ездить на нартах-самокатах. Чего доброго, и на луну полетят!

— Ты правду говоришь. Может, и эвенки полетят на луну, да не там их родина. Кому бросишь тайгу, оленя, зверя? Амакану отдашь? Помни: лесная птица не сделает гнезда на болоте. Место эвенка тут, где лес, сокжой, белка. Пусть эвенков хорошо учат, как лючи, однако и в интернате им надо постоянно говорить, как следить соболя, делать ловушки, бороться с пургою, голодом. Детям будет хорошо от этого, и тогда пускай ходят на луну, да все равно в тайгу вернуться жить. Вот и подумай, что тебе толмачит старая Лангара.

Старуха умолкла, отвернулась от меня, и я понял, что разговор окончен. Слабые отблески пламени трепетали на ее морщинистом лице.

Лангара родилась и прожила всю свою жизнь в зарослях заболоченной тайги, ее представление о мире ограничивается видимыми горными кряжами да топкими марями, по которым эвенки кочевали с оленями. Она верна старому, обычаям предков, но новое, что пришло к лесным кочевникам после революции, не отвергается ею. Нет. Однако непривычные, никогда раньше не возникавшие мысли пугают ее новизною. Она хочет разобраться, докопаться до истины, переживая смутную тревогу за судьбу детей.

Мне почему-то показалось, что я давно знаю ее — бесхитростную, открытую и чистую в своих помыслах. Сколько она пережила горя в этой лесной глуши, сколько накопила за прожитые годы житейского опыта и теперь щедро раздает его своему потомству, пытается утвердить в нем любовь к родной тайге. Она подкупила меня материнской тревогой за завтрашний день и своею доброю. Эвенки вообще добры и доверчивы, как дети. В этом убеждаешься с первого дня встречи. И не найдешь преданнее друзей, чем эвенки, когда они видят доброжелательное отношение к ним. В черных тучах утонула луна, и небо дохнуло холодом. Исчезли лиловые тени деревьев. Из ближних перелесков к стоянке подступил ночной тяжелый мрак. Где-то за ним слышался еле уловимый перезвон бубенцов.

Сулакикан налила мне и Лангаре по большой кружке чаю.

Налетевший ветер, злой и холодный, качнул ночной покой, тоскливо завыл по перелескам. Старик перестал скоблить кость, поднял голову, обвел глазами беззвездное небо, что-то пробормотал, ни к кому не обращаясь, глухим, хриплым голосом. И сразу все почему-то заспешили. Женщины отбирали у детей кружки с недопитым чаем, собирали посуду и расходились по чумам. Мужчины тоже поднялись и стали складывать горкой неразобранные выюки. Над стоянкой послышался хищный крик ночной птицы.

— Дождь будет, убирай потку, — сказала Лангара.

Мы с Павлом встали. Вокруг действительно произошла какая-то перемена. Исчез туман. Воздух отяжелел. Черное небо слилось с черной землей, поглотило горизонт, скрыло вершины огромных лиственниц, окруживших стоянку. Только чумы еще виднелись в отдалении и при свете костра казались насыпанными курганами.

Лангара тяжело поднялась, отряхнула подол юбки, взглянула на небо и, никому ничего не сказав, чем-то растревоженная, медленно поплелась в свой чум.

Опустела стоянка. Смолкли людские голоса в чумах.

У костра остались мы с Карарбахом. Он сидит на прежнем месте, сгорбившись, как лиственничный пенек, вытянув к огню босые ноги. В складках его сухих, серых губ, в тупом подбородке есть что-то мужественное, не тронутое старостью. Над ним, как и над Лангарой, властны законы тайги, злых и добрых духов, законы обычаев предков. Но и этот семидесятилетний старик тоже живет не только прошлым, а и заботами сегодняшнего дня.

Одежда на нем мне уже не кажется лохмотьями. Скорее она свидетельство его долгих походов. Дошка действительно старая-престарая. Ее нещадно мочили дожди, сушили морозы, рвали сучья, много раз она была прострелена угольками костра, и большие латки на груди старика выглядят, как медали за подвиги. Много зверя добыл старик, мог бы уже давно сменить эту сильно поношенную дошку на новую, но она, видимо, дорога ему, в ней Карарбаху и теплее и привычнее.

Старик все еще занят костью. Он долго ковыряется острием ножа внутри ее и, вытащив нож, облизывает влажный конец, жует пустым ртом. Опять долго скоблит, вертит перед глазами и наконец без сожаления бросает в сторону.

Лежащий вблизи Загря кидается за костью, оглянувшись на собак, готовится к защите. Но ни одна из них даже не пошевелилась. Все они смотрят на оцетинившегося Загрю и, вероятно, недоумевают: какой глупый кобель, не знает, что после старика на кости ничего не остается!

Загря, кажется, догадывается, что попал впросак, постыдно опускает хвост и уходит с костью на свое место. Но не грызет ее, а кладет рядом.

Откуда-то из вороха вещей появляется заспанный щенок. Он сладко и громко зевает, но вдруг видит Загрю. На морде щенка явное удивление. Он весь вытягивается, пытается лучше рассмотреть собрата, и от щенячьего восторга у него дрожит конец хвостика. Осмелев, он подскакивает к Загре, лижет его в нос, радостный и довольный новым знакомством. Но тому не очень-то нравится эта ласка, он отстраняется, даже скалит зубы, а щенку, вероятно, кажется, что Загря смеется. Он еще больше липнет к кобелю. Тот не выдерживает, спасается бегством. Щенок хватая кость и услужливо несет ее следом за Загрей.

Меня все это смешит и рассеивает мрачное настроение.

С болот доносятся тяжкие вздохи. То ветер шарит по дуплам старых лиственниц. Заморосил дождь, густой и мелкий. Колючие капли крапят лицо.

— У микрофона врач! — кричит мне Павел, выглядывая из палатки. Он после долгих усилий, через ведомственные станции, все же добился связи со штабом.

Одиннадцать часов ночи...

Забираюсь к радисту, приникаю к микрофону. Слышимость отличная; кажется, врач стоит рядом.

— Здравствуйте, Вера Ивановна! Нахожусь на стоянке пастухов-эвенков. У них умирает трехлетняя девочка. Поблизости нет врача. Помогите спасти ее.

— Что с ней?

— Высокая температура, кашель, тяжелое дыхание. Ребенок сильно истощен. Нос и губы синие.

Вера Ивановна долго молчит.

— Очень трудно что-либо определить. Скорее всего у девочки... воспаление легких. Что давали ей из лекарств?

— Аспирин два раза.

— Через некоторое время дайте еще аспирин с пирамидоном. Затем через каждые три часа впрыскивайте пенициллин. Вы знаете, как это надо делать?

— Нет, не знаю, да и пенициллина у нас нет.

— Если у ребенка воспаление легких, его спасет только пенициллин.

— Значит, безнадежно... Опять молчание.

— А у вас есть пенициллин? — наконец спрашиваю я.

— Конечно, есть.

— Тогда позовите к микрофону Плоткина, — прошу я. — Здравствуйте, Рафаил Маркович! Надо завтра утром, и как можно раньше, доставить нам на самолете пенициллин. Разрешаю снять машину с любого объекта. Наше местонахождение и условные сигналы вам передаст радист.

— Я вас понял. Но у нас идет дождь. Боюсь обнадежить. Будем надеяться на утро.

Возвращаюсь к догорающему костру. Старик в одиночестве пьет чай. Лицо его застыло, и только брови шевелятся, то сомкнутся, то поднимутся, тревожа морщины

на лбу. Мне хочется узнать, где бродит сейчас Карарбах в своих думах, что видит: сегодняшний день или далекое прошлое?

Как много мог бы он рассказать!

Но старик молчит. Он подносит к губам блюдце с горячим чаем, дует на него, отхлебывает... Вдруг настораживается, руки застывают с блюдцем у открытого рта, веки приоткрываются, он весь обращен к лесу. Неужели до его уже давно утраченного слуха долетел какой-то звук? Да, старик поворачивает голову то в одну, то в другую сторону и, кажется, сейчас радостно воскликнет. Но нет. Вот уже снова на его лице полная безмятежность, и он уходит в себя. Человеческие голоса, шум леса, песни птиц, гроззовые разряды, шелест падающих листьев, рев зверя, грохот горных обвалов — все звуки живого мира недоступны ему давно.

Дождь продолжает моросить. Гонит его с гор ветер. Вместе с туманом уходит он в глубь равнины. В мокрой ночи сникли деревья, прилегла трава. Все уснуло, только ручей тяжело вздыхает в камнях, да иногда доносится стон падающей лесины.

Старик кашляет отрывисто, надрывно, ежится от холода под старенькой латаной дошкой.

Бесшумными шагами подходит Лангара, накидывает на плечи старика плащ.

— Чего мокнешь? — спрашивает она, присаживаясь на корточки возле меня. — Старика не пересидишь.

— Жду, когда заговорит. Хочу попросить его рассказать о своей жизни.

— Э-э-э... — качает головою старуха. — Напрасно ждешь. Говорю, давно он глухой, от этого потерял слова, а без них как расскажешь про жизнь?

— Так он и немой? — удивился я.

— Без слуха язык заблудился, старик забыл слова, а те, что он говорит, понятны только нам, пастухам. Так что не жди, уходи спать.

Лангара затягивается долгим, ленивым зевком, затем подбрасывает в костер дров, поправляет плащ на плечах старика и, достав самодельную трубку, набивает ее табаком.

— Лангара, сколько тебе лет? — полюбопытствовал я.

Старуха выхватила из жара горящий уголек, прикурила.

— Кто их считал?.. Давно бы надо умереть, да никак не соберусь. Сам видишь, Инга должна рожать, она еще не была матерью, как оставишь ее? Аннушка умирает, хоронить ее надо по нашим обрядам, а кто их знает, кроме меня?! И стадо не бросишь... Да и раньше тоже некогда было годы считать.

Как горьки были ее воспоминания! Она ушла спать растревоженная, даже не пожелав спокойной ночи.

На мне отяжелела мокрая телогрейка. Неохотно покидаю нагретое место и, махнув старику рукою, — дескать, спокойной ночи! — отхожу от костра.

Но прежде чем забраться в спальный мешок, иду проведать больную.

В чуме тишина. Свет фонаря выхватывает из темного угла дремлющую у изголовья ребенка Сулаккан. Она, вздрогнув, открывает глаза, всплескивает руками и заслоняет ими дочурку, будто защищая ее от Харги. Но, узнав меня, мать припадает к груди больной. С лица ее медленно сходит испуг.

На оленьей шкуре безвольно распласталось щупленькое тельце девочки. Жар у нее как будто уменьшился, но дышит она тяжело, отрывисто, ей не хватает кислорода. Глаза закрыты. Пульс и теперь не прощупывается. Жизнь ее на волоске, вряд ли поможет и пенициллин.

Ничего не сказав Сулаккан, выхожу из чума.

Карарбах все еще сидит у костра один, что-то бережно держит на ладони левой руки. Подхожу ближе. Это деревянный божок, вырезанный из лиственничного дерева. У него плоское лицо, длинное туловище и совсем короткие ноги. Старик щедро смазывает его горячим растопленным жиром. Долго растирает, что-то горячо вымаливает у своего идола.

Древностью повеяло от этой сцены.

Я ушел, не замеченный стариком.

Ни звука, ни шороха, кроме морозящего дождя. Осторожно, не нарушая всеобщего покоя ночи, пробираюсь к себе в палатку. Зажигаю свечу. По привычке достаю дневник. Хочется, не откладывая, записать в него события этого необыкновенного дня.

"...Из разговора с кочевниками я понял, что нам на Ямбуе предстоит вступить в мир каких-то непонятных явлений, полный опасности. И прежде всего надо решить, способны ли мы на поединок с неведомой силой, даже если она предстанет перед нами в образе злого духа — Харги? Может быть, благоразумнее немедля повернуть назад и, не теряя времени, собрать более подготовленный отряд?

Назад... Нет, это невозможно!

Как хорошо, что мы повстречались с пастухами-эвенками! Нам не хватает их опыта, знания тайги. Какими беспомощными мы кажемся в сравнении с этими "дикарями", затерявшимися в заболоченных безлюдных пустырях! Мы это, безусловно, почувствуем в первый же день, как только окажемся возле Ямбуя. С ними бы идти туда!.. Как жаль, что наша встреча коротка!

Я впервые узнаю об эвенкийском законе долголетия. Можно соглашаться и не соглашаться с Лангарой по поводу ее "теории", можно даже утверждать, что отношение к старикам не очень-то доброжелательное — такое впечатление создается. Однако "теория" не выдумана Лангарой, а подсказана самой жизнью и, вероятно, проверена не на одном поколении эвенков".

"Истинную мудрость можно постигнуть лишь путем страданий. Только нужда и страдания могут открыть человеку то, что скрыто от других" — так считалось с древних времен у северян. Что ж, эвенки слишком долго страдали, чтобы законы их жизни были мудрыми. Разве не верно, что сытый человек -- ленивый? И, чтобы продлить жизнь, надо действительно не баловать себя и в преклонном возрасте не отказываться от привычной физической, нагрузки, тем более в условиях жизни в тайге, где все трудно дается.

В этом, может быть, мудрость долголетия.

Пишу в своей тетради:

"Невольно думаешь и о другом. Ведь сама-то Лангара совсем не похожа на своих предшественников, бесправных людей, покорных судьбе. Живет в новом мире, пытается его понять, найти место в нем для себя и своего потомства. И не это ли главное, что дала ей Советская власть. В то же время она не представляет жизни вне тайги для эвенков, и потому понятно ее желание сохранить опыт своего народа, облегчающий жизнь человека в лесах. И это, мне кажется, очень хорошо!"

Я кончил писать и задумался. Неожиданно в чаще, рядом с жильем громко просвиристела пичуга. Неужели уже утро? Выхожу из палатки. Тот же мрак, та же тишина. На востоке еще стоит синяя тьма. Дождик давно перестал. В лиловой мгле дремлют перелески, и одинокая зеленовато-бледная звездочка глядит сквозь редкую ткань туч. На соседних неведомых болотах опять встает туман -- вестник приближающегося холода.

У огня, прикрытого пеплом, лежит на оленьей подстилке старик, скрюченный предутренней стужей. Голова и плечи чем-то укрыты, а голые его ноги, костлявые, мозолистые, со сбитыми пятками, лежат прямо на земле, опухшие изморозью. "Не умер ли старик?" Бросаюсь к нему...

Нет, Карарбах спит, дышит ровно.

Разжигаю костер. От тлеющих головешек он быстро разгорается, вокруг теплеет воздух, иней на голых пятках старика исчезает. Шевелятся оттаявшие шишковатые пальцы, медленно, натужно разгибается спина. Карарбах потягивается и, не просыпаясь, поворачивается грудью к огню, сладко вздыхает.

Один сажу у тлеющих угольков костра, Тишина такая, что ручьиглохнут и береговая осока не смеет пошевелиться.

ТРЕВОГИ ЛАНГАРЫ

Сквозь ситцевую стенку полога сочится свежесть хвойного леса и терпкий запах багульника. Чувствуется, как сыро в перелеске после ночного дождя, страшновато высунуться наружу, сразу окатит холодом. Но что поделаешь, надо выбираться.

За чумами еще сумрачно, еще ничто не различимо, кроме вздыбленных гор в синей дали и хрупких огоньков в небе. В этот переломный час между ночью и днем голоса и шумы приглушены, белое и черное еще слито воедино. Всюду покой и сон. Однако обитатели тайги давно уже проснулись, но маются, ждут, когда тронется мрак и уйдут из перелеска подозрительные тени.

Старика уже нет у затухшего костра, куда-то исчез. Пастухи ушли собирать стадо.

Захожу в чум к Аннушке. Ей не стало легче, хотя температура немного спала. Девочка по-прежнему никого не узнает, ничего не ест. Стеклянные глаза ничего не выражают. Вряд ли она выживет. Без всякой надежды даю ей лекарство и выхожу, смотрю на небо. Как назло, у горизонта появились дождевые тучи. Они низко плывут над сонной землей. Уже постукивает гром.

Павел раздувает костер. Пробуждаясь, задымились чумы. Светлой полоской обозначился восток. Нагорье раскрывалось темно-лиловыми болотами, пурпуром холмов и полосами заиндеветших марей.

"Курлы... курлы..." — прощаются с клюквенными марями журавли.

Белые лебеди — властители неба молча плывут в предгрозовой синеве. В тяжелых взмахах их крыльев — царственное величие. Они несут земле рассвет.

Пастухи, узнав, что должен быть самолет с лекарствами для Аннушки, всполошились. Им трудно представить, как он сядет на болото или на топкую марь.

Ко мне подошла Лангара, доверчиво дотронулась до моей руки:

— Лючи, спаси Аннушку! — Ее голос дрогнул, сухие губы сжались.

— Этого я и хочу. Вся надежда на самолет, Лангара. Лишь бы он не опоздал...

Подхожу к костру, у которого возится Павел.

— Наши ребята уже шанежки едят со сметаной. Вечером к девчатам пойдут, а мы...

— ворчит мой спутник, наваливая конец бревна на огонь.

— Не горюй, на Ямбуе долго не задержимся.

— Вы думаете? — Он вопросительно смотрит на меня. — Хорошо, если на гольце какие-то злые духи, с ними-то быстро справимся. А вот если там бандиты?..

— Как-нибудь и с ними справимся. Вот увидишь, Павел, скоро у тебя будет свидание со Светланой.

— С такой программой согласен, — с улыбкой говорит он и задает мне деловой вопрос: — Что варить на завтрак? Нынче мы на своих харчах.

— Кашу бы пшеничную, а?

— Опять кашу... От такой пищи ноги уже не ходят.

— Ничего, дойдем до места, там непременно охотой займемся.

— Вы думаете, духи подарят нам зверя!

— Там, где зло живет, есть и добру место. Авось не пропадем!

— Чем на авось надеяться да гадать, лучше нам взять с собой глухого старика, с ним надежнее будет по всем статьям. В тайге он как дома. Неизвестно, как долго мы там пробудем, на этом самом Ямбуе...

— Пожалуй, ты прав, — перебиваю я Павла. — Карарбах, видать, хороший охотник, большой следопыт. Но, боюсь, старик человек суеверный, вряд ли согласится пойти с нами.

— А вы попробуйте его уговорить.

Утро в полном разливе. Морозит. Нежнее и чище становится голубизна далекого неба. Редуют перелески, пронизанные светом зари, все более четко вырисовываются на густо-красном фоне деревья.

Из чума показывается Лангара. Она идет к нам мелкими неторопливыми шагами. Что-то несет.

— Действуйте насчет старика через нее, — советует Павел, кивая головой на старуху.

— Она ведь тут за главного командующего.

— Это вам! — кричит старуха, протягивая куски вяленой оленины как бы в знак примирения.

— Спасибо, Лангара, но нам нечем отблагодарить тебя. Деньги возьмешь?

— Когда люди живут в одном стойбище, разве мясо продают?

— Но ведь гость не нахлебник!

— Э-э, лючи, надо знать, что без пищи никто жить не может, но не у каждого она есть в котомке. Убил зверя — твой фарт, тебе спасибо, а мясо всему стойбищу. Закон наших предков не позволяет одному брать себе воду и пищу, — и старуха сует мне в руки куски сушеного, приятно пахнущего дымком, мяса.

— Спасибо тебе, Лангара, и за мясо, и за мудрое наставление. Твои предки, завещавшие эту истину, были достойными людьми.

— Надо бы свежего мяса вам дать, да оно кончилось вчера, — говорит старуха, поднимая с земли упавший кусочек оленины. — Старик рано утром ушел с ружьем, тут близко сохатый постоянно жирует; может, удача будет, вернется вечером и еще вас угощать будем.

— Ему, глухому, видимо, трудно дается охота. Разве только скрадом он и может убить зверя?

— Что ты! — замахала руками старуха. — Скрадом сейчас не добыть сохатого. Это время лист на полу, тихо ходить нельзя, да и зверь — сохатый, сокжой — на месте не стоит, шибко ходит, грибы ищет, ни за что не догонишь! Карарбах промышляет зверя с собаками.

— Как с собаками, он же глухой?! Собаки в поисках зверя далеко уходят с глаз, а лая их старик и близко не услышит. Ты шутишь, Лангара.

Она рассмеялась.

— Ты совсем как муннукан (*Муннукан — заяц), думать не хочешь. Говорю, нужда многому учила людей. — Она достала из-за пазухи трубку, прикурила от лучинки и продолжала: — Когда Карарбах оглох, его все жалели, не давали ему мяса от другого охотника. Он голодал, долго думал, как жить. Потом догадался. Теперь берет на охоту две собаки. Одну привязывает к поясу, никуда не пускает, а другая бегаёт кругом, далеко по тайге, ищет зверя. Когда найдет и остановит его — лаёт. Другая собака, на поводке у старика, тащит его на лай, приводит к зверю.

— У Меня к тебе большая просьба, Ланга-ра. Не сможете ли вы кочевать со своим стадом вместе с нами к Ямбуу, пусть старик поможет нам найти следы пропавших людей.

Она выпрямилась и ткнула пальцем в мою голову:

— Кто поверит, что в таком большом котле нет ума! Или ты сдурел, что ли? Даже худойчеловек не захочет сам идти к злему духу! — Старуха резко повернулась, пошла от меня.

— Не уходи, Лангара, еще есть разговор. Старуха недоверчиво приостановилась.

— Говори, да не трать по-пустому слова. Ка-рарбах на Ямбуу не пойдет, — отчеканила она.

— А если я отдам тебе Загрю?

— Загрю?! — обрадовалась Лангара, делая шаг в мою сторону. — Отдашь Загрю?..

— Но вдруг осеклась и ушла тихими, неуверенными шагами.

Павел поджаривал на углях вяленое мясо.

— Слышал? — спросил я у него. — Их на Ямбуу и калачом не заманишь.

— Пожалуй, и не стоит уговаривать. Не дай бог что случится, тогда вина на нас ляжет, — ответил он.

Лучи яркого света золотят крылья беркутов, парящий в небесной вышине, обнимают землю и нежным прикосновением будят горы, леса, прогоняют туман, скопившийся на дне широких падей.

Легкий, почти прозрачный дым окутывает чумы. Доносятся крики детей, стук посуды и говор.

Из перелеска подходят олени. Животные шарят по стоянке в поисках солонцов и ложатся на землю.

А ручей под притихшим осинником шумит, плещется, зовет. От него тянет прохладой и запахом свежей травы, смешанным с запахом увядающих листьев.

— Через пять минут связь со штабом, будете что передавать? -- спрашивает Павел, присаживаясь рядом со мною.

— Я вот о чем думаю: нас двоих мало, чтобы серьезно заняться расследованием на Ямбуе. Надо вызвать еще кого-нибудь из надежных ребят. Может, ты посоветуешь?

— Если техник Гриша Коротков близко работает, надо просить у него Елизара Быкова. Уж этот не подведет. Да и охота повидаться с ним. Мы ведь из одного села.

— Хорошо, запиши радиogramму: "Штаб Плоткину. Помимо Петрика и Евтушенко, районе Ямбуя бесследно исчезли два эвенка при тех же загадочных обстоятельствах. Положение серьезнее, чем предполагали. Желательно отправить в мое распоряжение десятника Елизара Быкова с проводником-охотником, знающим район Ямбуя. В крайнем случае вместе с Быковым кого-нибудь другого, опытного. Еще раз предупреждаю: всем подразделениям оставаться до полного завершения работ. Возможно, все будут привлечены к розыску исчезнувших людей".

Иду к ручью умываться. Из-за лохматых вершин лиственниц выползло красное, как от натуги, солнце. Слепит глаза. Как приятно тепло первых солнечных лучей!

Горстями бросаю в лицо, на грудь хрусталь студеной воды. До чего же она колючая, обжигающая, сразу снимает сонливость.

Меня встретила Лангара.

— Мы сегодня ходить будем вашей тропой, потом завтра свернем на свою.

— Очень хорошо! — обрадовался я. — А старик знает, где будем ночевать?

— На земле останется след наших оленей, он приведет его к старому чумишу пастухов, куда мы идем.

— Не заблудится?

— Старик не знает такого слова — заблудиться!

— Но почему ты сразу не сказала ему, где ночевать будем?

Лангара поморщилась.

— Я ему не дала чайника, без чая он нигде ночевать не останется, не беспокойся. А есть захочет — скорее найдет прямую тропу к чуму. Голод укоротит дорогу.

— Тогда зачем же ты так мучаешь Карарбаха?

— Не мучаю. Так он сильнее беды, сильнее голода, другим от него польза и долго проживет. А его не будет — кто с оленями останется? Дети в интернате учились, книжки читают, много всякого разного знают. А вот чтобы сердце болело за стадо — этому не научили их. Как они останутся с оленями, куда потянут тропу без старика? Не знаешь? То-то!..

— Но вы не вечны. Да и сколько же можно вам работать? Вы с Карарбахом заслужили более спокойную старость.

— Нам тут лучше.

— Но это не жизнь, а мука! В твои ли годы брать на себя столько забот. Да и нельзя все делать по старинке, жить надо иначе и тебе и детям.

— Время другое, ты правду говоришь, — соглашается Лангара. — Однако новое надо с умом делать, иначе оно совсем эвенков от насиженных мест уведет. А тайга, сам понимаешь, не должна пустовать. Много в ней добра, ой как много! Кто-то тут должен жить.

— Ваши дети, — перебил я ее. — Они все грамотные, пусть и хозяйничают.

— Говорю, их не приучают жить в тайге, другую пищу дают, и они след волка путают со следом собаки, своего оленя не могут найти в стаде, нарты не умеют делать. А без этой мудрости наших предков они не станут сильными, ветер будет носить их куда захочет. Они не справятся с тайгой. Да и зачем тут такие люди! — И вдруг старуха заторопилась, взяла у меня из рук полотенце, мыло и направилась быстрыми шагами к ручью.

Я много лет кочевал с эвенками. Но не помню, чтобы они жаловались на свою жизнь, высказывали обиды, и мне казалось, что эти люди хорошо устроены, довольны тем,

что теперь у них всегда есть пища, одежда, свой постоянный угол. Но нет, человек не только этим живет.

— Вам надо жить в тайге, но уйдите с этих бесплодных болот в другие места, где богаче природа, много ягеля и земля хорошо родит.

— Не говори так! И в этой тайге много богатства, надо его видеть.

В это время кто-то окликнул ее, и она поспешно ушла, оставив меня озадаченным своим рассказом.

"Нет, не уйти старой Лангаре из тайги, — думаю я, провожая ее взглядом. — Не бросить ей аргиш. Она сохранит до могилы то, что завещали ей с колыбели. А ведь ничего хорошего не видела пастушка за свою большую и трудную жизнь на этих зыбких марях и голых холмах, опекаемых лютой стужей и проклятущей мошкаррой. И все же это родные места. Вот и пытается она задержаться в этих пустырях, сохранить опыт предков и сделать новую жизнь эвенков счастливой, но в родной тайге. Не дать им уйти на жительство в другие места. Как же больно думать ей, что тайга может опустеть, что исчезнут тропы отцов, не останется их опыта, если детям не будут прививать в интернатах, институтах любовь к природе, учить их жизни в лесах, развивать в них врожденные способности охотника! Я по-человечески понимаю ее Тревогу за судьбу подрастающего поколения эвенков".

Тучи, не донеся до нас дождя, ушли к горизонту, и опять над нами густо-синее небо. Пока Павел печет лепешки к завтраку, я снимаю нашу палатку и в то же время посматриваю, как женщины готовятся в путь. Они ловко расправляются с чумами, скатывают бересту в тугие свитки, набивают потки продуктами, посудой. Хаос вокруг быстро исчезает, все ложится на свои места.

К костру подходит только что проснувшийся Битык. На его лице и следа не осталось от вчерашней обиды. Он слюнит указательный палец, макает его в теплую золу и начинает энергично чистить белые, как перламутр, зубы, потом мчится к ручью и, вернувшись, сушит у огня мокрое лицо и руки.

Из разобранных чумов появляются полуголые ребята. Налетают на костер и, сбившись у огня в плотную кучу, следят за нами. Это совсем еще карапузы, загорелые, будто вымазанные в шоколаде. Лица у них заспанные, но глаза чистые, взгляд острый, соболиный. Все вместе малыши чувствуют себя смелее. С раннего возраста они уже умеют наблюдать и скрывать любопытство. Они родились в тайге и, впервые в жизни открыв глаза, увидели чумы, оленей, костер, услышали лай собак. Позже их любимой забавой стала езда на оленях. А вот сейчас они впервые видят лючи "с птичьими носами", чьи тяжелые сапоги оставляют необычный след на земле, чья речь состоит из каких-то непонятных звуков.

Павел берет в руки горячую, докрасна поджаренную лепешку, постукивает по ней пальцами, как гончар по своему изделию, и начинает ломать. Пахучий пар обдаёт лицо. Детвора напряженно следит за каждым его движением. Губы их невольно шевелятся в предвкушении лакомства.

Первым получает лепешку стоящий впереди Битык. Он и сегодня у ребят за главного. Затем Павел наделяет и остальных. Никто из малышей не просит, этого им не позволяет врожденная гордость. С кусками в руках все присаживаются поближе к огню, не торопясь, с удивительной бережливостью, откусывают маленькие дольки, неторопливо жуют, явно наслаждаясь. Они сизмальства знают, что из пищи и крошки не должно пропасть.

Нам с Павлом доставляет радость смотреть на детвору.

От жаркого пламени смуглые лица ребят пылают густым румянцем и кажутся вылитыми из красной меди. Дети беззаботно жуют, изредка поднимают на Павла блестящие черные глаза, полные благодарности. Тот добродушно улыбается им и тоже жует.

Я связываю палатку, а сам все думаю об этих детях.

Сейчас они хотят научиться у старших пасти стадо, арканить диких оленей, ходить на лыжах, распутывать следы зверей, подзывать на пикульку рябчиков, кабарочек — стать такими же охотниками, как Карарбах. Для них он предел мечты. Вернутся ли

они после учебы в родные леса, как этого хочет Лангара, чтобы по-новому строить тут жизнь, чтобы сохранить национальные достоинства своего народа? И тогда на долю черноглазых ребят выпадет самая интересная миссия — превратить вечно стылый край в пушной заповедник, заставить бесплодную землю служить человеку, и в холодном безмолвии нагорья будет звучать веселая песня эвенков.

Со всех сторон к стоянке стекаются разрозненные гурты оленей. Они заполняют просветы в перелеске и всю поляну. Дети, как по команде, перестают жевать, запихивают за пазухи недоеденные куски лепешки, вскакивают. Битык бежит к вьюкам, хватает маут (*Маут — ременный аркан). Они будут ловить своих учагов, на которых путешествуют по тайге. Но мне с Павлом совершенно непонятно, как можно среди этого огромного стада оленей, удивительно похожих друг на друга, найти одного, своего? Однако так кажется только нашему неопытному глазу. Даже дети пастухов прекрасно узнают своих животных, для них каждый олень имеет свои приметы, непостижимые для нас. Но вряд ли они могут объяснить их. Это не всегда могут сделать и взрослые пастухи.

Битык встает на пень, так ему виднее, окидывает быстрым взглядом стадо. Вертит головою вправо, влево, то приседает, то вытягивается. И вдруг радостный крик — увидел! Мальчишка, не выпуская из виду опознанного учага, начинает набирать на правую руку мелкими кругами маут. Сходит на землю и по-кошачьи крадется к краю перелеска, где, плотно сбившись в кучу, отдыхают олени. Вдруг один из оленей вскакивает, точно ждал этого момента, поворачивает настороженную голову в нашу сторону. Мальчишка явно не успевает, и учаг огромными прыжками вырывается из стада.

Двое шустрых парнишек бросаются за ним, заворачивают его обратно к поляне. Учаг дичится, раздувая ноздри, ищет пугливыми глазами опасность. Носится как оглашенный. А Битык уже в перелеске. Прильнув к стволу лиственницы, ждет, готовый метнуть маут...

Слева тоже двое ребят пытаются обхитрить крупного учага. Слышатся крик, визг, шорох погони.

Так, видимо, каждое утро мальчишки азартно состязаются с оленями.

Но вот они, как по команде, прекращают гоняться за учагами, с радостными воплями бегут к матерям, показывают ручонками на запад. До нашего слуха доносится гул моторов.

Лица всех обращены навстречу звуку. Из густой синевы неба выплывает самолет.

Павел бросает на костер заранее приготовленную охапку сырых веток с листьями. Над стоянкой столбом встает густой дым.

Дети неистовствуют от восторга. Машина теряет высоту, сбавляет скорость, с ревом идет на нас. Она разворачивается низко над лесом, делает один круг, второй. Всполошились олени, залаяли перепуганные собаки. В третьем заходе, когда самолет был над нами, от него отрывается белая лента с грузом на конце, падает на деревья, зависает на верхушке одного из них. Летчик делает еще один круг, прощаясь, качает крылом и уплывает в голубую даль неба. Мы машем руками. А Битык и с ним еще парнишка уже карабкаются по гладкому стволу лиственницы.

— Ну и ловкачи! — восторгается Павел.

В посылке, сброшенной с самолета, были лекарства и инструменты, отправленные нам Верой Ивановной. Не забыла она вложить и подробную инструкцию. Мне никогда не приходилось держать в руках шприц. Вначале я даже растерялся. Ведь все — и лекарства, и шприц, и руки — должно быть стерильным. А что можно сделать в такой обстановке? Как бы хуже не получилось... Но выхода нет.

— Ты внимательно смотри, — обращаюсь я к Сулакикан, — что и как я буду делать. Завтра наши тропы разойдутся, и ты будешь сама лечить Аннушку...

Нас окружает детвора. Все-то им надо, никуда от них не скроешься. Я тщательно мою руки, кипячу шприц.

Мой уверенный вид, кажется, обнадеживает жителей стойбища.

На таборе наступает тягостное ожидание. Аннушка лежит на шкуре, под остовом раздетого чума. Глаза ее бессмысленно смотрят в небо. Лицо еще больше осунулось. — Ей хуже после лекарства, — безнадежно произносит Сулакикан.

Да, девочке хуже. Если после укола Аннушка умрет, могут обвинить меня... Но отступить поздно.

Протираю спиртом тощую ягодицу девочки и с уверенностью опытного врача запускаю иглу. Со лба у меня падают холодные капли пота.

Из открытого рта у больной вырвался еле слышный стон.

— Аннушка будет жить! — шепчет взволнованная Сулакикан, услышав этот протяжный звук.

— Непременно будет, — подтверждаю я. — Надо только хорошо лечить. А пока пусть полежит спокойно.

Неожиданно из перелеска донесся подозрительный шум и стал быстро надвигаться на нас. Все насторожились и замерли, не понимая, кто это так беспечно ходит по лесу.

А шум становился все яснее и ближе, слышался треск веток и грохот падающего сухостоя. Павел бросился искать Загрю, но тот уже неся к перелеску, пересекая поляну. И тут все увидели, как у закрайки леса он наскочил на сохатого, выбежавшего из чащи. Огромный зверь, чем-то взбудораженный, тут же повернул вправо и стал удирать через марь, поднимая столбы водяных брызг. Загря неся большими прыжками, пытаясь пересечь ему путь.

Не успели оба они скрыться с глаз, как на следу сохатого из перелеска появился бурый медведь. Он так был занят преследованием сохатого, что и не заметил ни нашей стоянки, ни дыма, ни оленей, промчался мимо.

— Видел?! — крикнула Лангара. — Медведь шибко плохой зверь, один, два дня будет ходить следом, все равно задерет сохатого, еще и кобеля твоего подомнет...

— Загре не впервой, — ответил я, а сам не на шутку встревожился. Надо было с утра привязать его, да кто же мог предугадать такое.

К стоянке стекаются подгоняемые пастухами последние одиночки-олени. Воздух наполняется криком тугуток (*Тугутка — олененок) и перезвоном бубенцов.

Наскоро завтракаем, и стойбище приходит в движение. Вся подготовка к аргишу лежит на женщинах. У них уже готовы вьюки, разложены седла, подпруги. Они ловят рабочих оленей, связывают их одного за другим, начинают вьючить. Я с восхищением слежу за работой пастушек. Какие они великие труженицы, мужественные и безропотные!

Голос Лангары висит над стоянкой. Все послушны ей. За долгие годы ее руки, ее слова и жесты приобрели ту скупую точность, которая присуща только людям сильной воли, убежденным в своей правоте.

Как только мы начали укладывать по пот-кам наши вещи, детвора мигом сбежалась к нам. Интересно, что лючи возят с собой по тайге? Они следили за нами так пристально, словно мы прятали от них какие-то волшебные игрушки. Нередко у кого-то из них появлялось на лице удивление или вырывался звук восторга.

Вижу, Инга ведет рабочих оленей к поткам, но вдруг останавливается, выпускает из рук по-водной ремень, хватается за живот, ищет глазами опоры. На красноватом лице ее страх.

Спешу к ней. Подбегает и Павел. Устраиваем ее на ворохе постелей, сами начинаем вьючить оленей. Муж Инги уехал на Учур за продуктами. Ей приходится самой управляться со сборами в дорогу. Конечно, кочевать ей нелегко, но она держится стойко, только в глазах ее грусть и тревога. Наконец все готово. Груз из кожаных и берестяных поток крепко притянут подпругами к бокам оленей. Старшие дети привязаны ремнями к седлам. Двое самых маленьких, мальчик и девочка, рассажены по люлькам. Люльки связаны сыромятной подпругой.

Какие довольные мордашки у всех маленьких "наездников"! Вот уж кому одно удовольствие кочевать по тайге!

Остается незавьюченным самый сильный и крупный бык с седлом на спине. Лангара подводит его к больной Аннушке. Та лежит на прежнем месте. Рядом с нею пустая люлька и тяжелая, плотно набитая потка.

Люлька внутри выстлана душистым лапником. Лангара снимает с больной одеяло, расстилает его поверх лапника, а я беру на руки безжизненное тельце ребенка.

На меня смотрят все те же пустые глаза. Но мне кажется, что они немного потептели. — От!.. От!.. От!.. — будят пастухи дремлющее в прохладе стадо.

Вздрагивает лес ветвистых рогов, разрывается войлок оленьих спин. Животные перестают жевать, лениво поднимаются, потягиваются. Три пастуха, двое мужчин и одна женщина, должны гнать стадо следом за караваном.

В караване три длинные связки оленей, кроме нашей. Лангара по-хозяйски оглядывает опустевшую стоянку, прощупывает вьюки на спинах животных, ладно ли завьючены, внимательно осматривает стадо.

Все ждут ее команды.

— Вы след наш притаптывать будете! — кричит она нам и, ловко оседлав толстого учага, тронула караван.

Сулакикан ведет свою связку предпоследней. Битык едет на втором олене, привязанный к мягкому вьюку.

— Лючи!.. Лючи! — кричит он, проезжая мимо нас.

Он и дети смеются.

Следом за Сулакикан идет Долбачи. Мы с Павлом завершаем шествие.

Заиграли бубенцы на шеях оленей. Потянулась по глухим перелескам кочевая тропа.

На месте стоянки остался утопанный мох, кучи свежего помета, потухшее огнище и высокие скелеты чумов, много лет служившие кочевникам приютом.

ТРОПОЮ КОЧЕВНИКОВ

За караваном идет огромное стадо оленей. Среди самок и молодняка выделяются несколько племенных быков — тучных рогачей, сохранивших в своем внешнем облике черты предка — дикого сокжоя. Стадо, колыхаясь, накрывает марь, напоззает на болото, растекается по перелескам. Несмолкаемый крик погонщиков смешивается с тревожным криком растерявшихся телят, лаем собак и треском сучьев. Шум нарушает безмолвие скупой земли, уходит вместе с нами на юго-восток, в глубину нагорья.

Первым препятствием на нашем пути были мари, рассеченные узкими полосами болот и хвойных перелесков. Куда ни ступишь, всюду топь, куда ни взглянешь — жалкие, скрюченные, полузасохшие деревья, навевающие уныние. Видимо, только одна жизнестойкая лиственница и может селиться на этой зыбкой, гнилой почве, присасываясь к ней упругими, широко разветвленными корнями.

Лангара останавливает караван, соскакивает с учага. Впереди перед нами узкая полоса топей с проточной водой, прикрытой зеленым густым троелистом. Старуха бросает повод, ищет проход, глубоко протыкает кривым посохом вязкую почву зыбуна, ворчит. Затем тянет караван вправо — и тут неудача, пройти нельзя. Поправив на оленях вьюки и подпруги, она еще раз осматривает топь и по-мужски быстро садится на учага.

Другие женщины делают то же самое.

Лангара подтягивает поближе к себе все связки оленей, привязанных к учагу. Бьет пятками по бокам оленя, гонит его напрямик через топь. Животное упрямится, не идет вперед, бросается влево, падает, вскакивает, машет, как бы протестующе, головой. Но старуха настойчиво правит его в промоину, сильно бьет пятками.

Учаг сдается. Осторожно переставляя ноги, будто шагая по минному полю, подходит к топи. Дико косит свои большие круглые глаза на воду. Но Лангара неумолима. Олень, напрягаясь, горбит спину и, тряхнув рожищами, прыгает. Идущий за ним с вьюком олень не успевает прыгнуть, натягивает повод, которым связан с учагом, и

тот, не достигнув ногами противоположного берега, падает вместе со старухой в промоину.

Неожиданный крик детворы разряжает напряженность. Мы с Павлом бросаемся на помощь. Но Лангара уже стоит на ногах по пояс в холодной воде и помогает учагу выбраться на топкий берег, с криком подгоняя остальных оленей. Затем выбирается сама и начинает выжимать воду из юбки.

Долбачи и Сулакикан с больной Аннушкой немного мешкают с переправой.

— Сулакикан, сними ребят, мы с Павлом перенесем их, — предлагаю я.

— На олене надежнее, пусть привыкают.

— А если упадут?

— Один раз упадут, другой раз догадаются, что надо хорошо держаться.

— А как же с Аннушкой?

— Ничего, хорошо пройдет, ее олень самый крепкий.

И действительно, никто не упал. Сулакикан даже не оглянулась на ребят. А случай с Лангарой тотчас же был забыт, как только отошли от промоины.

Снова идем по широкому полю болот, по гладкой, как скатерть, равнине. Ярко-зеленые мхи прикрывают глинисто-жидкое месиво оттаявшей мерзлоты. Олени чувствуют, что под этой зеленой гладью таится коварная топь. Караван разрывается. Животные грузнут, падают. Слышатся крики, угрозы, удары...

Какое мучение пробираться через эту топкую марь! То одна, то другая нога завязает в липкой глине, если сразу, мгновенно не вытащишь ее -- засосет, и тоща без посторонней помощи не выбраться. Или кочки так заслоняют проход, что негде ступить, и приходится идти в обход. И всюду вода, вода -- черная, маслянистая, коварная...

Наконец подошли к кромке леса. Лангара проворно пробежала вдоль каравана, убедилась, ладно ли лежат выюки, не сползли ли подпруги. Заодно поболтала с Ингой, одарила подзатыльником Битыка за какую-то шалость. А тем временем нас догнало стадо. Олени с проворством диких животных перемахнули через промоины и гораздо быстрее, чем мы, перешли болото.

Караван вскоре вступил в густую тайгу. Идем на подъем без тропы, гуськом. Чаще встречаются упавшие деревья, одряхлевшие пни, рытвины, прикрытые папоротником. Непролазной стеною встают впереди заросли стланика. И все-таки пробираться тут, по лесу, в тысячу раз лучше, чем идти по марям.

Мы с Павлом идем впереди, расчищаем топорами путь. Царственная тишина тайги наполняется гулом. Лес оживает от стука топоров, от людского говора, от крика погонщиков.

За крутым каменистым подъемом перевал. Здесь надо дождаться стада и всем передохнуть. Оленям — влажный ягель и грибы, нам — зеленая лужайка, тень лиственницы да крепкий чай вприкуску.

Развьючиваем оленей, отпускаем их на корм. Детвора с котлами в руках рассыпается по тайге в поисках воды. Это их обязанность во время кочевья. Мы с Павлом таскаем дрова.

Небо хмурится. В воздухе сырость. В мгlistой пелене скрываются контуры лысых холмов.

Стадо растекается по перевалу в поисках корма. Впереди бегут "грибники". Для оленей грибы — лакомство. В это время они их предпочитают даже ягелю.

Мы едим вяленое мясо, прихлебываем чай, немного отдыхаем — и снова в путь. Караван опять ползет по чащобам. Стадо отстает. Где-то позади смолкает крик погонщиков.

Солнце спустилось за полдень, померкло. Неизвестно откуда появившиеся тучи темнят запад. Из хмурой глубины горизонта на нас надвигается непогода, вместе с глухим рокотом тайги и воем ветра в вышине.

— Дождь! Уходить надо! — кричит Лангара и, подбадривая учага, быстро ведет караван в широкий лог.

Тучи низко виснут над поникшей тайгой, забегая справа, слева, давят нас чернотой. Вдруг ослепительный блеск. Еще и еще!.. Синие зигзаги молний вспарывают облака. На нас обрушиваются тяжелые разряды грома. Черный коршун, будто сбитый грозой, падает на землю, жметя к каравану, в страхе забыв о другой опасности.

Колючий холодок пробегает под рубашкой.

Лангара пугливо поглядывает на гневное небо, торопится вниз. Мы все бежим за ней. Воздух сухой, наэлектризованный; кажется, вот-вот взорвется.

Когда мы сбежали на дно широкой пади, впереди внезапно раздался потрясающий рев, перекрывший грохот грома. Олени и люди остолбенели, собаки трусливо поджали хвосты.

Лангара, повернув к нам искаженное страхом лицо, погрозила посохом:

— Худой место тут, надо скоро уходить, — и, вскочив на учага, стала торопливо уводить караван влево, как бы обходя место, откуда донесся испугавший ее рев.

Негаснущие молнии полосуют небо. От ударов грома содрогается под нами земля.

Олени ломают строй, забегают вперед, сбивают вьюки.

Из туч, как из ледника, набросило холодом. Ветер перешел в ураган, пробежал вихрем по вершинам. Все кругом загудело, налетел ливневый шквал. На нас обрушилась лавина воды. Сквозь ее мутную завесу не пробивался даже свет молний. Дождь безжалостно хлестал по холмам, отплясывая дикий танец по равнине.

Караван забрался в самую чащу. Олени скучились. Дети спрятались под вьюки. Мы все приникли к стволам деревьев. Но нигде нет спасенья. Вода просачивается за воротник, ледяными струями растекается по всему телу.

Недалеко от меня укрылась Инга. Она страшно устала, обессилела. Под глазами синие круги. Она старается скрыть боль, тихонько дышит сквозь посиневшие губы.

— Лангара, Инге плохо! Надо таборить-ся! — кричу я.

Но ветер доносит до старухи лишь обрывки слов.

— Инге плохо! — изо всех сил опять кричу я.

Лангара срывается с места, наклоняется к Инге, о чем-то спрашивает, затем зовет Сулаки-кан. Они вместе развьючивают оленя, усаживают Ингу на потку, а из другой потки достают лоскут плащ-палатки, прикрывают им роженицу.

Ураган стихает так же внезапно, как и налетел. Сосны распрямляются. Но тучи, отступая на север к плоскому горизонту, все еще сотрясают разрядами небо.

Мы все до нитки промокли. Меня трясет озноб не только от холода, но и от страха за Ингу. В каких условиях ей придется рожать! Я удивляюсь каменному спокойствию, с каким женщины встречают этот трудный час.

На землю падают последние капли дождя. В прорехах туч показывается свежее и удивительно синее небо. Такую густую синеву увидишь разве лишь осенью. И только после грозových туч.

Выглянуло солнце. Оно печально смотрит на исхлестанную бурей тайгу, на взбудораженные мутные ручьи, на примятые травы и мхи. Чище и нежнее после дождя стала просинь увядающих лесов.

Недалеке громко кричит ворон, точно бьет в жезл: "Дзинь!.. Дзинь!.."

— У-у, сатанюка, беду кличет! — ворчит Лангара на зловещую птицу и с беспокойством поглядывает на Ингу.

Вдруг справа от нас словно кто-то застонал. Все повернулись на звук и увидели, как падает огромная старая лиственница. Будто противясь своему концу, она еще цеплялась сучьями за соседние стволы и медленно клонила к земле свою дрожащую вершину. Наконец раздался дважды повторившийся треск, сухая лесина, ломая ветки, подминая под себя молодняк, с тяжким гулом ударилась о землю и разломилась на несколько частей.

Мы стояли молча, пораженные картиной гибели лесного великана.

Лангара в испуге долго оглядывалась по сторонам, прислушивалась, затем присела на корточки возле Инги и стала ее успокаивать. Потом подошла ко мне и тихо сказала:

— Ты думаешь, это ворон кричал?.. Нет! И дерево тоже не само падало. Нашим следом идет Харги. Он хочет взять Ингу.

— При чем тут злой дух! Крик ворона и падение сухого дерева бывают в лесу каждый день, и ты это хорошо знаешь!

— Нет, нет, не скажи так. Это шибко худой примета. Как бы с Ингой беды не случилось...

Я не продолжаю спора — словами ее не переубедишь.

Мы наскоро выжимаем и немного высушиваем одежду. Я прошу Сулакикан распеленать Аннушку. Пока она готовит больную, ребята помогают мне развести костерок, чтобы прокипятить шприц. Девочка все в том же безнадежном состоянии. С трудом нахожу место для укола, так она худа.

Аннушку снова заворачивают в одеяльце, укладывают в люльку.

Караван трогается. Инга едет самостоятельно. Ее связку оленей ведет Павел. Сидит она в седле грузно, скорчившись, поддерживая живот мокрыми и синими от холода руками. Волосы у нее тоже мокрые, липнут к лицу, к шее, нависают на глаза, но она как будто этого не замечает.

Олень под Ингой идет осторожно, мягко, точно понимает, какой груз у него на спине. Но женщина болезненно вздрагивает от каждого шага.

— Мод!.. Мод!.. Мод!.. — все чаще слышится крик Лангары, поторапливающей уставших животных.

Пробираемся через чащу вверх по пади. Каждая веточка, каждый куст, только дотронься до них, сбрасывают на нас поток воды. Как терпят дети все трудности пути! Ни один не пикнет, все съежились, прилипли к оленям, словно их и нет.

Выходим к береговому ельнику. За ним злобится мутный поток, до отказа напоенный дождевой водой. Его гривастые волны накрывают валуны, толкают друг друга, с ревом проносятся мимо, дальше и дальше, туда, где еле слышатся отдаленные раскаты грома.

Инга что-то отчаянно кричит Лангаре.

Та не отвечает, не оглядывается, гонит учага дальше, энергично толкая его в бок концом посоха.

Старуха не ищет брода, даже не останавливается, а с ходу вместе со всей связкой оленей вваливается в поток.

Вздыбились толпы разъяренных бурунов, обрушились на караван, но решительность Лангары придала смелости животным, и они почти на рысях перемахнули через мутный поток.

Лангара и нас увлекла своей стремительностью. Инга снова кричит, полная отчаяния. Старуха продолжает беспощадно гнать оленей к холму, прикрытому пятнами бледно-желтого ягеля.

Уронив безвольно голову на грудь, Инга покачивается в такт быстро идущему оленю и все чаще корчится. Из прокушенной синеватой губы у нее сочится кровь... Поводной ремень волочится под ногами учага. Я поднимаю его и иду впереди, чтобы не видеть страданий женщины.

Но вот перелесок, за ним холм. Лангара остановила караван. Олени долго не могут отдышаться от быстрого бега. Я помог Инге сойти с учага, посадил на приготовленные для нее шкуры; силы покидали ее, но и теперь не слышалось ни стона, ни вздохов, ни жалоб. Только иногда, откинув назад голову, она с мольбою смотрела на небо. От лица у нее отхлынула кровь — оно посинело, потом стало пугающе бледным.

Подвели учага с больной Аннушкой. Мать с тревожным предчувствием развязывает ремни, откидывает край одеяла, припадает щекой к щеке ребенка. Аннушку, кажется, не спасет и пенициллин. Изредка приоткрывая рот, она судорожно глотает воздух. Пульс по-прежнему плохо прощупывается. Как только она вообще перенесла этот путь на олене через топи, мари, броды!..

Подошла Лангара, посмотрела на больную девочку и пронизала меня недобрым, обвиняющим взглядом.

— Через два часа снова буду говорить с врачом, — смущенно оправдываюсь я.

— Не обманывай, — строго обрывает меня . Лангара. — Разве не видишь, ее уже нет с нами?! Говорю, Харги идет нашим следом, беду несет нам.

Стада еще нет. Павел ставит нашу палатку, а мы с Долбачи помогаем устроить ночлег женщинам. Все работают быстро. Дети вслед за взрослыми бросаются в лес и тащат оттуда лиственничные ветки, жерди, сушняк для растопки.

Ставим один большой чум только для женщин и детей. Мужчины переночуют у костра. Пастухи тайно перебрасываются какими-то короткими фразами, тревожно поглядывая на скрюченную и ничего не замечающую вокруг Ингу.

Лангара ловко работает пальмой (*Пальма — большой нож с длинной ручкой, заменяющий топор), очищает от сучьев ветки, принесенные детворой, и разбрасывает по "полу" будущего чума. В ее движениях расчетливая торопливость. Она молча командует всеми. Достаточно жеста ее руки, одного взгляда, как ты, будто загипнотизированный, подчиняешься ей.

Я беру топор, срубая березку с еще не осыпавшимися листьями, очищаю ветки и тоже разбрасываю их по "полу". Лангара вдруг замечает мою работу, коршуном налетает, вырывает из рук ветки, собирает их с "пола" и, ничего не сказав, уносит обратно в лес. Возвращается, говорит с гневом:

— Только дурной люди может топтать ногами березу или жечь ее на костре. Разве ты у эвенков видел такое? — Голос ее дрожит, она замолкает, сжимает тонкие губы, чтобы не сказать более резких слов.

— Право же, Лангара, я не знал этого обычая. Извини, мне просто хотелось помочь тебе.

— Плохо помог. Надо хорошо помнить: тот, кто обидит, сломает или срубит березку, худо ему будет в пути, сам заболеет или олень пропадет. Разве не видишь, у нас и без того беда из чума не выходит! И Аннушка, и Инга... А ты березу еще срубил... Плохо это, — и добавляет уже без гнева: — Березу, по законам отцов, надо беречь, она сестра людям, радость им. Пусть много ее будет в тайге.

Я стою перед этой древней старухой, как мальчишка, пойманный с поличным. А ведь действительно наша северная береза, с зелеными кудрями, белоствольная, на этой мерзлой, бедной земле, может быть, раньше была единственным утешением для человека, его радостью; не зря эвенки так бережно относятся к ней.

Лангара уходит и подзывает к себе Сулакикан, что-то говорит ей быстро-быстро и, захватив свитки березовой коры, топор, поспешно уходит за холм.

Мы с Долбачи накрываем чум. Дети один перед другим стараются помочь нам. Инга молча вздрагивает, жметя спиной к корявому стволу лиственницы. Ее взгляд деревенеет. Она зажимает руками рот, чтобы не выдать страдания. Сколько терпения у этой женщины!

Из-за холма слышится стук топора.

— Что они там делают? — спрашиваю я у Долбачи.

— Чум для Инги. Она будет родить в другом месте, подальше от стоянки.

— Надо помочь им. Женщины одни быстро не справятся, а Инга уже не может ждать.

— Мужчины не должны знать, как ставят чум для роженицы, — ответил невозмутимо Долбачи. — Это делают сами женщины.

На соседних буграх угасал дневной лиловый свет. Павел разжег костер. Продрогшие дети сгрудились возле огня. Они не боятся уже лючи. Ребята ловко сушат одежду прямо на себе, не раздеваясь. От нее идет густой пар, пахнет распаренной лосиной.

Когда костер разгорелся, Битык взял три горящих головешки, понес их к Инге. Ребята тащат за ним сушняк и сообща разжигают костер. Забота детей трогает всех нас. Я тоже беру несколько поленьев, подхожу к Инге.

От жара костра она немного распрямляет согнутую спину, поднимает голову. Искривленное муками лицо улыбается детям. Сухие, синие губы беззвучно шевелятся.

Вернулась Сулакикан. Она отобрала из вороха вещей несколько оленьих шкур, достала из поток какие-то свертки и две мягко выделанные кабарожьи шкурки.

Приказала трем старшим ребятам все это отнести в чум за холмом. Молча подошла к Инге, помогла ей встать, и они медленно двинулись к чуму за холмом.

Мы долго смотрели вслед уходящим женщинам. Казалось, Инга никогда не была такой покорной и доверчивой, как в эти минуты, готовясь стать матерью.

Подошли и пастухи со стадом. Марь оживилась криком тугуток, растерявших матерей. Но вскоре все смолкло, по редколесью разбрелись в поисках корма серые тени оленей.

Пастухи, закончив трудный день, присели к огню, закурили. Сетья разобрала выюки, достала потки с продуктами и посудой, стала готовить ужин. Казалось, никто и не думал о маленьком чуме за холмом. Все молчали. Вокруг стояла глубокая лесная тишина. Наступал ночной покой земли.

И вдруг вдали кто-то протяжно пискнул. Все сразу замерли. Пискнуло еще и опять смолкло...

— Дрозд, — с облегчением сказал Павел.

Но напряженность ожидания уже не покидает нас. Даже дети нет-нет да и оглянутся на холм, еще не понимая, но чувствуя, что там что-то должно случиться.

Мы сидели у костра и молча пили чай. Из мрака к огню выскочил Загря. Он, на секунду застыв, будто чем-то пораженный, вдруг рванулся ко мне, ударил грудью, повалил на землю. Кобель, запыхавшись от быстрого бега, лизал длинным языком мое лицо, руки, обдавая горячим дыханием. Сколько радости, словно мы не виделись с ним целую вечность!

Я тоже страшно обрадовался. Молодец, кобель, нашел нас, не потерялся! Легонько отталкиваю его от себя, встаю. А Загря не успокоился, осматривает стоянку, кого-то ищет. Глажу его по шерстистой спине и не могу понять, почему кобель такой взбудораженный. Что-то случилось; и кажется, вот сейчас он заговорит о чем-то важном, расскажет.

— А что это у него за пятно? — говорит Павел, приглядываясь к кобелю при свете костра.

Теперь и я вижу: у Загри на белой манишке груди большой мазок крови.

— С кем-то дрался, — спокойно отвечает Долбачи.

Кобель будто понимает, что разговор идет о нем, поблескивает глазами.

— Однако с медведем дрался. Смотри, вот шерсть... — Долбачи снял с морды Загри какую-то волосинку, передал мне.

Да волос медвежий. По его цвету мы определили, что зверь был бурой масти. Но что же произошло между ним и Загрей? Этого, пожалуй, нам не разгадать, как и не узнать, где сейчас глухой старик и приведет ли его жажда чая на табор?

К ночи похолодало. На севере чище и нежнее заголубело далекое небо. Из ельника, из его таинственных дебрей, выплыл кособокий месяц. Темнее и резче стали тени в просветлевшем лесу.

Дети гурьбой ушли с Сетьей спать в чум. Мужчины расстлали шкуры у огня. Но о сне никто не думал. Все охвачены ожиданием. Я искренне беспокоился об Инге. Мне казалось, что я вечно кочую с пастухами, живу их радостями, горем, и сейчас, так же как и для них, для меня нет ничего важнее этой напряженной тишины в маленьком чуме, и того, что должно свершиться.

Удивительная эта ночь!

Внизу на болоте белым привидением поднялся туман. В нем что-то мистическое, полное тайн. Тайствен и месяц, низко плывущий над землей...

Все молчат. Павел, усевшись поближе к к огню, собирается латать штаны. Долбачи набивает трубку табаком, сладко затягивается, передает ее пастухам. Загря лежит возле меня, зализывая намятые подошвы лап. Его жизнь больше, чем наша, полна всяких приключений. Сколько он за день обежит тайги, чего и кого только не увидит! Да и окружающий нас мир он представляет иначе, не зримо, как мы, а больше по звукам и запахам.

Собака легко, издали по шагам угадывает, сохатый или медведь ходит. И среди сотни запахов живых и мертвых существ, лишайников, болот, цветов она легко

уловит запах следа раньше прошедшего зверя. Вероятно, давно-давно и человек обладал таким обонянием.

Из леса появляются олени. Они группами располагаются поодаль от костра, начинают пережевывать корм. Вспугнутые с теплых лежек собаки ворчат. В чуме плачет разбуженный ребенок.

Наконец-то до напряженного слуха ясно доносится человеческий стон. Он сразу переходит в душераздирающий крик, долгий, натужный. Кто-то, спотыкаясь, бежит от холма. Это Сулакикан. Она сильно встревожена, молча бросается к вьюкам, находит нужную потку, достает из нее какие-то свертки и спешит обратно. Я задерживаю ее.

— Как с Ингой?

В глазах Сулакикан тревога.

— Плохо. Может не родить... — И она торопливо уходит к холму, откуда по-прежнему доносится стон.

— Уехала бы в поселок, там врач помог бы родить, так нет, все по старинке, в таборе, а оно, вишь, как неладно получается! — подсадовал Павел.

В это время из леса появилась горбатая тень, и к огню подошел Карарбах. Он еле-еле передвигал ноги. Видно, давно искал нас в ночной "тайге. Кто-то расшевелил костер, и вспыхнувшее пламя осветило старика. Но что такое?.. Его лицо исполосовано свежими царапинами, покрыто черными пятнами запекшейся крови. Он остановился, пошарил глазами по стоянке и, увидев Загрю, скупно улыбнулся. Подойдя к нему, Карарбах отбросил посох, опустился на землю, обнял голову собаки, крепко прижал к худой груди, как можно прижимать самое дорогое существо. И тут мы увидели, что у старика на спине разорвана дошка, а с затылка свисает окровавленным лоскутом сорванная кожа.

Старик достал из-за пазухи медвежью почку и бросил Загре. Кобель схватил почку и начал жадно с ней расправляться. Не отрывая от Загри теплого взгляда, Карарбах о чем-то думал, не замечая нас.

И опять, как при первой встрече, мне показалась знакомой сгорбленная спина старика, и даже поняжка на ней. Мы где-то встречались, должно быть, давно, и из памяти выпала эта встреча.

Павел вешает на огонь чайник. Я помогаю старику снять с плеч тяжелую котомку с мясом. Меня раздражает любопытство: за что Загря получил почку?..

И тут от холма донесся отчаянный крик Сулакикан. Она бежала на стоянку, что-то выкрикивая и жестикулируя. Увидев старика, бросилась к нему, стараясь объяснить жестами, что Инга умирает...

Карарбах встревожился, решительно встал, сбросил с плеч дошку, быстро подошел к вещам, достал из потки две новые ременные подпруги и попросил полить ему из чайника на руки. Павел бросился в палатку, принес мыло и полотенце.

Сулакикан торопила старика. Она стояла спиной ко мне. Плечи ее беспрестанно вздрагивали.

А за холмом в пустынной тишине отчаянно кричала женщина. К этому крику, как к боли, никогда нельзя привыкнуть. И никогда нельзя забыть, если хоть раз услышал.

И Карарбах пошел туда торопливыми шагами, взволнованный и как будто неуверенный...

Крик Инги перешел в стон; и нам казалось, что вместе с ней стонут и холмы, и тайга, и небо.

К стону Инги присоединяется голос старика. В нем сострадание, ласка; он мягко говорит что-то, упрашивает, потом угрожает и начинает стонать сам вместе с Ингой, как бы принимая на себя ее муки...

Ушел в тучи месяц, и густая тень прикрыла холм, стоянку, тайгу. Еще мрачнее стало на земле, и еще более тяжелым казалось нам наше беспомощное ожидание.

— Клянусь, она не выдержит этой пытки! Да и чем поможет ей этот древний старик?

— сказал Павел, безнадежно покачав головой.

— А вот мы с тобой только вздыхаем и тоже ничем не можем помочь. Не пойти ли нам туда?.. — предложил я.

— Там и без нас много свидетелей. Да и что мы сделаем?.. — ответил Павел.

Голос Инги стихает, будто доносится из-под земли. Но старик, наоборот, стонет все натужнее, все громче... И внезапно все обрывается, смолкает. Становится так тихо, что до слуха доносится шелест ветерка, шепот какой-то проснувшейся птицы, вздохи уставшей земли...

В этот нестройный шум звуков ночной природы ворвался пронзительный крик, который ни с чем уже не спутаешь!

— Родился, ей-богу, родился! — заорал Павел и в дикой радости схватил Загрю и так потрянул, что тот едва вырвался.

С души свалилась тяжесть. Ветер тихо качал лесную колыбель. И что-то ласково шептали кроны...

Долбачи щедро подложил дров в костер, и горячее пламя весело заполоскалось в воздухе. Длинный Майгачи — сын Лангары вылил из чайника старую заварку, направился к ручью за водой. Из чума вышла Сетья. Она улыбалась. Подойдя к костру, повесила на таганы котлы с мясом, сваренным еще вечером, стала "накрывать на стол".

Был предрассветный час. Ночь без луны и без звезд теперь казалась необыкновенно ласковой. И как-то приятно шумела под ветерком засохшая осока на болоте, балагурил ручей, и сырой туман уходил к речным долинам. Все в природе было спокойно, как вчера и как сто лет назад...

Из-за холма показался Карарбах. Он двигался пьяной походкой; казалось, вот-вот упадет и больше не встанет. По лицу из ран сочилась кровь, и от этого оно казалось изувеченным пытками. Старик бросил на ворох вещей ременные подпруги, которыми, видимо, подвешивал в чуме роженицу, чтобы облегчить ей муки, и, опустившись у огня на шкуру, безвольно уронил голову. Перед нами сидел прежний, глухой, одинокий, Карарбах и устало смотрел в огонь.

Сетья налила ему в кружку крепкого чаю, поставила туесок со спелой брусникой, положила лепешку. Старик что-то промычал, привлекая к себе внимание. Затем показал на Сетью, а потом в сторону чума за холмом.

— Девочка родилась, — пояснила пастушка и ушла в чум к плачущему ребенку.

— Вот и хорошо! — с облегчением сказал длинный Майгачи. — Отец хотел дочку.

Я взял ножницы, йод и бинт, чтобы сделать старику перевязку. Очень хотелось узнать, что сроднило Карарбаха с Загрей. Где они встретились? Но старик не в силах мне ничего рассказать, придется дожидаться Лангару.

На стоянке заметно ее отсутствие. Совершенно очевидно, что здесь все нуждаются в ее опеке, в ее советах, в ее распоряжениях. Она как самая большая головешка в костре: убери ее — и огонь погаснет.

Карарбах поднял отяжелевшую голову. Поправил костер своими жилистыми, натруженными руками, налил из кружки в блюдце чаю, подождал с минуту, пока остынет, стал пить, громко втягивая в себя каждый глоток.

Для Карарбаха чай — священный напиток, самая лучшая отрада. Пусть уж напьется. Пусть усладит душу, а потом я забинтую ему голову.

Вот он поймал мой взгляд. Пытаюсь жестами объяснить старику, что непременно надо перевязать раны, иначе они долго не заживут.

Но он отрицательно качает головой. Затем оставляет недопитый чай в блюдце, берет двумя пальцами из костра щепотку золы, прикладывает к ране на лбу, начинает растирать.

Я снова пытаюсь объяснить ему, что если это и не вредно делать, то, во всяком случае, и бесполезно. Но тут появляются Лангара с Сулакикан. Старуха подходит к костру, строгим взглядом окидывает стоянку. В глубоких морщинах на лбу и на щеках тоже усталость.

Сулакикан что-то говорит Сетью, и та, захватив постель, идет за холм.

— Ты что стоишь, чего ждешь? Трудный день ушел. Надо кушать, чай пить и спать, — бросает Лангара мне и подсаживается к Карарбаху.

Потом спохватывается, дает какие-то распоряжения пастушке. Та развязывает котомку старика, достает из нее свежую печенку, передает Лангаре. Старуха ест ее, как лакомство, ловко отсекая кусок за куском.

— Почему не угощаешь Карарбаха? — спрашивает ее Павел.

— Он около убитого зверя хорошо ел. Разве не видишь, его глаза сытые.

— Он сильно устал.

— Потому что много жирного мяса ел. — И обращается ко мне: — Что в руках держишь?

— Видишь... кожа висит у Карарбаха на затылке, хочу забинтовать раны, но он не дает.

— Как так не дает? — И Лангара толкает старика локтем в бок.

Тот покорно смотрит на нее через плечо. Я подхожу к нему, открываю пузырек с йодом, хочу промыть ножницы и при этом заметно волнуюсь.

— Однако ты робеешь, — говорит Лангара.

И я не успеваю возразить, как старуха встает, заносит над головой старика свой нож, которым резала печенку...

— Что ты делаешь? — кричу я в ужасе.

Но уже поздно. Лангара отбрасывает отсеченный лоскут кожи.

Я заливаю йодом затылок Карарбаха, раны на лице и перевязываю бинтом. Старик невозмутимо переносит операцию и снова принимается за чай.

Черное небо шатром накрыло стоянку. В думках стоит, не шелохнется старый лес, И темень, черная, строгая, затаилась в перелесках. Все уснуло. Даже голодные хищники в этот глухой час ночи как бы добреют и перестают рыскать по тайге.

Лангара будто только сейчас заметила на спине старика разорванную дошку. Она приносит маленький туесок с иголками, нитками, берется за починку. Мне странно: никто не интересуется, кто содрал кожу на затылке старика и оставил следы на лице.

— Лангара, спроси Карарбаха, что с ним случилось на охоте.

— Разве не видишь, медведь мало-мало царапал. Ничего, заживет, -- ответила она.

— Но ведь он мог его насмерть задрать! — воскликнул я, удивленный ее хладнокровием.

— Да не задрал! — И, повернувшись к старику, она начала жестами расспрашивать его.

Лицо Карарбаха помрачнело — неохота было ему вспоминать. Затем медленно он стал издавать какие-то гортанные звуки, подкрепляя их жестами рук.

Голос старика звучал, как бубен в дождливый день, слов почти не разобрать, он больше показывал, чем говорил. Так, вероятно, объяснялись наши далекие предки.

Но вот Карарбах смолк. И Лангара сказала мне:

— Твой кобель помог, спасибо ему, а то бы и правда потеряли старика.

Затем она скупой передала мне подробности встречи Карарбаха с медведем...

Сохатый, который утром, на наших глазах, выскочил из леса, видимо, еще накануне был или сонным схвачен медведем, или тот сумел подкрасться к нему во время кормежки. Но медведю не удалось прикончить его. Сохатый — зверь сильный и крепкий. Одним ударом ноги он убивает собаку или волка. И вот, спасаясь от преследования, сохатый и наскочил на нашу стоянку, увел за собою Загрю. Где-то далеко в тайге, после упорной борьбы, собака задержала зверя. Там их и настиг бежавший по следу медведь. Хищник легко прикончил обессилевшую жертву. Но Загря не отступил — не в его это характере, схватился с медведем. А где-то недалеко от места схватки бродил Карарбах в поисках зверя. Собачонка, что шла на поводку у него, услышала лай Загри и привела охотника к туше сохатого в тот момент, когда дерущиеся, собака и медведь, были в чаще и их не было видно. Старик не успел догадаться, кто убил сохатого, как его поймал сзади медведь. Подмял под себя, начал было расправу, но тут на помощь подоспел Загря. Навалился сзади на медведя, принял на себя всю звериную ярость, отвел от охотника страшную смерть... А тем временем Карарбах справился, поднялся, наладил ружье и пальнул в зверя.

Это на Загрю похоже... У кобеля в крови лютая ненависть к медведю и безотчетная преданность человеку.

— Вот Карарбах и говорит: хорошо нынче охотился, много жирного мяса добыл, — закончила рассказ Лангара.

— Какая же это охота, ведь он сам чуть не погиб? Не надо его одного, глухого, посылать на охоту. Ведь не будь Загря таким напористым, сегодня Карарбаха уже не было бы с нами.

— Спасибо твоему кобелю! Однако, не будь у Карарбаха опыта, он не помог бы ему.

— И неожиданно добавила: — Отдай нам Загрю, бери наших собак. На собак менять не хочешь — бери трех самых сильных учагов. Соглашайся, больше никто не даст.

— Без Загри, Лангара, нам не найти пропавших людей. А вот если бы Карарбах пошел с нами на Ямбуи — даю слово, отдам вам Загрю "без обмена, даром. Вот и ты подумай.

Старуха молчит, но вдруг, приглушив в себе соблазн, энергично протестует:

— Нет, не пойдет! Говорю, у нас и без того беда за бедой. И ты не тащи свою тропу на Ямбуи, лучше мимо ходи, все равно не обманешь Харги.

— Спасибо, Лангара, но у нас нет другой тропы. Нам надо как можно скорее добраться к Ямбуи.

Пожелав всем спокойной ночи, я направляюсь к своему пологу. Из-за холма до слуха доносится песня. Она растекается радостью по тайге, по холмам, уходит сквозь туман к болотам, будит утро. Это Сетья, подруга Инги, поет младенцу о жизни в родных лесах, о безграничных просторах тайги, о счастье человеческого на земле.

Под пологом темно. Забираюсь в спальный мешок. Сегодня я устал, как никогда. Устал не от дневного перехода, а от всего пережитого за этот необыкновенный долгий день. Уже засыпая, я вижу сквозь ситцевую стенку полога, как Лангара разбинтовывает голову Карарбаха, аккуратно скатывает бинт, кладет его в карман и начинает посыпать золою раны на его голове. Хочу крикнуть, но сил уже нет...

ЗАГРЯ

Как долго я спал — не помню. Проснулся, почувствовав на себе чье-то горячее дыхание. Это Загря. У него иногда появляется желание полежать рядом со мною. Он находит меня среди спящих и непременно подберется под бок, положит морду близко к моему лицу и дышит, дышит, пока не разбудит.

Я обнимаю Загрю, подтаскиваю его ближе к себе. В голове воскресает рассказ Карарбаха, и как-то, цепляясь одно за другое, вспомнилась необычная собачья биография, полная приключений.

Воспитывала Загрю злая, властная эвенкийская лайка, по кличке Нурка.

Мы тогда работали в Олекминской тайге. Штаб экспедиции находился в поселке Нагорный, на Алданском тракте. Как-то утром, проснувшись, я услышал на крыльце своей квартиры подозрительный шорох. Хотел выйти, но дверь неожиданно открылась, и в нее спиной стал пролезать человек, одетый в оленью доху. Он с силой втащил в комнату дрожащую от страха собаку.

— Глупая, не идет. Думает, я ей хочу хуже сделать... — сказал он, прикрывая дверь.

Незнакомец вскинул на меня черные пытливые глаза. Затем бросил на пол конец ремня, на котором втащил собаку, расстегнул на груди дошку, отошел в угол и, не раздеваясь, сел на пол, подложив под себя полы дохи.

— Садитесь на стул, — предложил я, стараясь скрыть свое недоумение.

— Так привычнее. Старики говорят: у хорошего человека и возле чума тепло, а у худого и у костра не согреешься... Мы из Омах-ты, что на Учуре. Знаешь? Учиться Ленинград еду. На половине дороги моя собака Нурка догнала меня. Вернуться бы надо, отвезти ее домой, да ушел далеко от стойбища. Семье не прожить без нее. С кем жена охотиться будет, мясо, пушнину добывать? Хотел по пути оставить собаку у деда рыбака на Гонаме, она потом сама бы убежала в Омахту. Пришел в зимовье, а рыбак уже откочевал к прадедам. Вот и привел собаку сюда, в поселок Нагорный, и

думаю: куда ее девать? С собою в машину не велят брать, да и зачем ей Ленинград, пропадет она там без тайги, без зверя. Прогнать хотел — не уходит, бросить в поселке — сердцу больно. Люди болтают, будто у тебя есть хорошие собаки, возьми и Нурку, будь человеком, за нее добром поминать будешь Тиманчика из Омахты. Денег не надо, только слово дай — обижать ее не будешь!

Говорил Тиманчик медленно, веско, как будто заранее продумал каждое слово. А сам не сводил с меня пристального взгляда, осматривая с ног до головы, словно боялся в чем-то обмануться. На вид ему было не более двадцати пяти лет.

Затем он вытащил из-за пазухи самодельную трубку с длинным чубуком, достал из кармана щепотку табаку, дрожащей рукою зажег спичку.

Нурка, прижавшись к стенке, бросала на меня враждебные взгляды. Это была остроухая рыжая сука, статная, с пушистым, как у лисы, хвостом и белой грудкой. Туловище у нее длинное, круглое, ноги тонкие. Я сразу угадал в ней чистокровную эвенкийскую лайку и, конечно, обрадовался.

— Хорошо, я куплю Нурку. Сколько ты хочешь за нее?

— Что ты, оборони бог! — всполошился Тиманчик. — Только дурной люди счастье свое продают. Говорю, возьми без денег, кормить тебя будет, но, пока я жив, Нурку не считай своей. С учебы вернусь — разыщу тебя, возьму ее обратно.

— Согласен. Тогда вернешь мне и деньги.

— Значит, даром не берешь? — сказал он почти зло и решительно встал.

Собака тоже вскочила.

Тиманчик толкнул плечом дверь, шагнул через порожек, но вдруг заколебался, остановился и припал спиной к косяку. Однако времени у него для раздумий не было.

Вернулся, подтащил Нурку к кровати, привязал к ножке.

Я достал из кармана пятьдесят рублей, протянул их Тиманчику. Он решительно отстранил мою руку, сказал твердо:

— Только не забудь, что она не твоя. — И, обращаясь к собаке, добавил: — Дуреха, я приду за тобою!.. — Он хотел еще что-то сказать, но замялся, слова застряли в горле, и он только заскрипел зубами.

Нурка как будто вдруг поняла, что хозяин навсегда уходит от нее, рванулась к нему, упала, взвыла диким голосом.

Но Тиманчик, не оглядываясь и не попрощавшись со мною, ощупью нашел дверь, вышел на крыльцо. Постоял. Протер глаза скомканной шапкой и медленно-медленно спустился по ступенькам.

Громко хлопнула калитка.

Я бросился в кухню, схватил, что попало под руку из продуктов, хотел дать Тиманчику на дорогу, но он бежал уже далеко по улице, бежал так стремительно, как будто за ним гналась беда.

В комнате неистовствовала Нурка. Пытаясь оторваться от кровати, она волчком вертелась на натянутом ремне, билась об пол, металась как бешеная. На мои попытки приласкать ее, она угрожающе скалила зубы.

Я поселил ее во дворе. Много дней собака ничего не ела, дичилась и постоянно с тревогой прислушивалась к уличному шуму. Пройдет ли пешеход, донесется ли людской говор, Нурка насторожится, дожидаясь, не откроется ли калитка и не покажется ли ее хозяин.

Она выросла в тайге, в стойбище эвенков. И вдруг ничего привычного не стало! Теперь до ее слуха не долетает манящий шум тайги со знакомыми ей запахами зверей, птиц, трав. Да и люди другие, от них не пахнет дымом костра, и говор совсем незнакомый. И вот ждет Нурка Тиманчика, не понимая, почему он оставил ее и так долго не идет за ней.

Когда ждать становилось невмоготу, она высоко поднимала голову и, устремив взгляд в небо, жалобно выла.

Шли дни, недели... Нурка понемногу привыкла к новой обстановке, присмотрелась к людям, но не доверяла их ласкам.

Наконец мы перевели ее в сарай, где содержались все экспедиционные собаки. Присматривал за ними дед Тихон, добрейший человек, воспитавший для экспедиции не одно поколение зверовых лаек. Попав в собачье общество, Нурка сразу проявила свой характер. Она оказалась настолько властной, что скоро подчинила себе всех собак. Нельзя было без смеха смотреть, как эта рыжая, с виду пугливая собака "отчитывала" огромного кобеля Ангарца, вцепившись в него зубами. Тот после взбучки отходил к своей конуре, притворно визжал от боли и заискивающе поглядывал на Нурку.

Порою ею овладевала тоска. Жизнь на привязи была непривычна ей. И она весь день не вылезала из своей конуры, ничего не ела, в зеленоватых ее глазах появлялась злая непокорность.

В марте Нурка принесла пятерых щенят, рыжих, с белыми, как и у нее, грудками. Собака стала еще более раздражительной, злющей, беспощадной к окружающим ее собратам. Под сараем, где она находилась со своим потомством, воцарилась полнейшая тишина. Все присмирели. Забыли распри, старались подальше обходить конуру со щенками. И даже овсянку хлебали как бы "шепотом".

В эти дни и дед Тихон подпал под настроение своих питомцев. Заходил к ним на цыпочках, разговаривал с собаками жестами и старался долго не задерживаться в сарае.

Через день после появления на свет Нуркиного потомства, оценилась Чирва — молодая, ласковая и добрая лайка. Она принесла всего одного щенка, пестрого и до уродства большеголового. Но, боже мой, как она была захвачена материнским чувством! Казалось, все собаки завидовали ей.

Но счастье было коротким. На второй день ко мне в кабинет ворвался дед Тихон. — Беда стряслась! — выпалил он, задыхаясь от быстрого бега. — У Чирвы щенок пропал!

— Кому он нужен? Найдется, — успокаивал я старика. Чирву он любил.

— Не иначе, Нурка съела!

— С чего бы это она?

— Со злости. Больше некуда ему деваться. — У старика даже слезы на глазах.

И вдруг до нашего слуха донеслись шум, драка, визг... Мы выскочили из помещения, бросились в сарай.

Оказывается, Чирва, вернувшись с прогулки и не найдя своего чада в конуре, каким-то чутьем догадалась, что это проделка Нурки. Забыв о страхе, она с материнской самоотверженностью набросилась на свою противницу. Сколько звериной ярости было в этой дикой схватке собак! Но на стороне Нурки были все преимущества: сила, ловкость, жестокость. Не успей дед Тихон плеснуть на дерущихся ведро холодной воды, она бы задушила Чирву.

Потеря щенка для Чирвы, впервые ставшей матерью, была поистине тяжелым горем. Она еще несколько дней искала его по всем закоулкам сарая, в чужих будках. Малейший шорох настораживал ее. Через некоторое время Чирва, казалось, смирилась с утратой, но было что-то необъяснимое в ее поведении.

Чирва перестала ласкаться, отошала, была всегда чем-то озабочена, казалась неряшливой и напоминала бродячую собаку, занятую поисками пищи. Все чаще забегала в нашу экспедиционную столовую, попрошайничала, при случае даже воровала, чего никогда с ней раньше не случалось.

Дед Тихон, наблюдавший за ней, заметил, что, когда из Нуркиной конуры доносился писк щенят, Чирва вскакивала, как от удара кнута, и подолгу прислушивалась. В ее печальных глазах отражалось беспокойство, точно в каждом писке ей слышался зов погибшего щенка.

Зато Нурка, несмотря на то что кормила пятерых прожорливых щенят, раздобрела. Она выглядела гладкой, чистой. Но к конуре по-прежнему никого не подпускала, будто что-то пряча от посторонних глаз.

Однажды, сидя рано утром за работой, я услышал сильный стук в окно. Барабанил дед Тихон.

Старик был сильно возбужден, морщинистое лицо, обычно грустное, сияло необыкновенной радостью. Он показывал рукою на сарай и звал меня туда.

Я вышел, не понимая, что могло случиться с собаками.

В сарае нас встретила обычная тишина, потревоженная вспугнутой с пола стайкой воробьев. Собаки в ожидании корма лениво дремали на своих местах. Нурка куда-то убежала.

— Да вы гляньте ось сюда, — сказал, дед Тихон, показывая на конуру Нурки.

Я глазам своим не поверил! В будке Чирва кормила Нуркиных щенят. Она лежала на правом боку, а у сосков копошились живые рыжие комочки, сладостно чмокая крошечными ртами. Голова Чирвы находилась у самого входа, уши были насторожены, а глаза переполнены блаженством.

Мы еще не успели подойти к ней, как она, видимо, уловила своим тонким чутьем приближение Нурки, мгновенно вырвалась из будки, шмыгнула в свою конуру. Но, выскакивая, Чирва вынесла к краю будки двух щенят.

Один из щенят был пестрый, большеголовый.

Нурка, прибежав в сарай, нырнула в конуру и закрыла вход своей недружелюбной мордой.

Дед Тихон стоял обрадованный, умиленный всем случившимся, не зная, что и сказать.

Так вот почему Чирва сильно похудела, всегда была такой озабоченной, попрошайничала! Еще бы, кормить шестерых щенят, не получая, как Нурка, добавочного пайка для "кормящей матери"!

Нам не удалось проникнуть в другую тайну, которая не меньше, чем пропажа пестрого щенка, поразила нас: какое чувство побудило Нурку украсть у Чирвы ее единственного щенка?

Прошел год. Разобрали рыжих, повзрослевших Нуркиных щенят полевые подразделения. Но, как ни странно, Нурка продолжала ревностно опекать пестрого кобелька — Загрю. Рос он на удивление быстро и в его экстерьере все отчетливее проступали черты сибирской лайки. Но чем статнее становился, тем больше глупел. Рос неласковым, ленивым. Мы бы сразу избавились от такой собаки — ни к чему в тайге лодырь! — но у нее оказался еще один покровитель — дед Тихон. Старик был убежден, что у Загри еще не кончился щенячий возраст, что все это пройдет, и не хотел расставаться с ним.

Собаки в экспедиции несут тяжелый труд. Невозможно представить нашу работу без этих умных, выносливых животных. На собачьих упряжках мы перебрасывали грузы, пересекали огромные пространства тундры и тайги, а в трудные времена, когда над лагерем нависала угроза голода, их освобождали от лямок, и собаки помогали нам охотиться, добывать лосей, медведей, сокжоев.

Время шло, а Загря все еще не выходил из щенячьего возраста. Мы же в конце концов смирились с его присутствием, с его удивительной ленью. Но когда мы хотели похвалиться своими породистыми собаками, показывали Загрю. Это было единственным утешением за долгое терпение к нему.

Помню, осенью мы пробирались с караваном груженых оленей по старой гари вдоль речки Ытымка. С нами были собаки Нурка и Качи. Загря в счет не шел, хотя и сопровождал нас. К концу дня идущий впереди проводник наткнулся в осиннике на свежую жировку сохатых. Это было кстати, у нас давно не было мяса, к тому же оставалась еще не использованной одна лицензия (*Лицензия -- разрешение охотинспекции на отстрел зверя). Мы отпустили собак, а сами свернули к реке и там решили заночевать. Еще не успели развьючить оленей, как до нас донесся лай Нурки, а затем и Качи. Собаки держали зверя.

Лай разгоряченных псов разносился по тайге звонким дуэтом, то сливался с треском сухостоя, то стихал в минутной передышке, чтобы возникнуть с новой, еще большей силой.

Я схватил карабин и бросился на лай.

Пробежал болото, впереди глухая стена ельника. За ним злобный, непрерывный, захлебывающийся лай. В голосе Нурки слышалась рыдающая нотка -- зверь вот-вот прорвется и уйдет. Я выскочил за перелесок с подветренной к зверю стороны.

Старый сохатый стоял в мелком осиннике, погрузив глубоко в податливую землю ноги и низко опустив тяжелую голову с могучими рогами. Он отбивался от собак. Из открытого рта вместе с горячим дыханием вырывался угрожающий стон, глаза кровенились от злобы. А Нурка и Качи отчаянно наседали, наскакивая на зверя спереди.

Сохатый вдруг рванулся вперед, подминая под себя не успевшего отскочить Качи, и хотел поддеть рогами Нурку. Но собака вовремя увернулась, отпрыгнула в сторону, упала, но мигом вскочила и, обезумевшая, пренебрегая опасностью, огромным прыжком оседлала зверя.

Сохатый вздыбил, взревел, стряхнул со спины рассвирепевшую собаку и, широко разметав ноги, кинулся к болоту.

Тут уж было не до стрельбы. Я бросился к Качи, поднял его на руки. Он умирал, раздавленный зверем.

А неподалеку спокойно лежал Загря, не обращая внимания на схватку. Он озабоченно искал в своей лохматой шубе блох. В этот момент я готов был пустить в него пулю, и не знаю, что удержало меня. Помогли он собакам, мы бы не потеряли Качи, великолепного рабочего пса.

И все же Загря продолжал оставаться с нами. Мы терпели его присутствие как наказание за какие-то, не совершенные нами, проступки.

Когда Загре исполнилось два года, кобель, будто назло всем нам, стал чертовски великолепен! Он уже достиг предельного роста. Все в нем: уши, ноги, корпус, голова — было удивительно пропорционально. Самый великий знаток не смог бы обнаружить в его экстерьере ни малейшего изъяна. Но в упряжке он по-прежнему не ходил и по зверю не работал.

В тот год весной мы шли с двумя собачьими упряжками к перевалу через Секстантский хребет. В тайге была распутица. Передвигались только ранними утрами, пока держался наст. Загря плелся, как обычно, вслед за караваном.

Мы уже находились близко у цели, как на глаза попался свежий след крупного медведя. Он, видимо, только что вышел из берлоги и направился на солнечные склоны гор. Пустили по следу Нурку и лучшего медвежатника Турпана. Наст еще выдерживал собак, и им легко было настичь зверя. Мы с проводником бежали за ними на лыжах. Загря был с нами.

Собаки настигли медведя в соседнем логу. Тот пытался избавиться от них бегством. Но тут Турпан подвалил справа и, изловчившись, на всем скаку рванул зверя за "галифе". Медведь взревел и бросился за ним, а Нурка только этого и ждала, припала к нему слева и больнохватила зубами за зад. Он погнался за ней. Этим воспользовался Турпан... Так собаки, то справа, то слева, до крови расчесали ему "галифе". Медведь остановился, стал обороняться. Нурка и Турпан быстро изменили тактику, подступили к нему спереди...

В таком положении мы и застали их на дне пологого ложка. Лай собак, приглушенный стон зверя позволили нам незамеченными подкрасться поближе. Недалеко от нападающих собак невозмутимо лежал на снегу Загря. Такое равнодушие я уже больше не мог терпеть и твердо решил отделаться от этого бездельника. Но сначала надо было покончить с медведем.

Прогремел сухой, короткий выстрел. Зверь упал, вскочил, кинул в нашу сторону обезумевший взгляд, рванулся вниз по ложку и всей своей огромной тушей накрыл не успевшего отскочить Загрю... Медведь лежал на снегу черным комком, раскинув бездействующие лапы и засадив глубоко в снег лабастую морду. Из-под него с жалобным стоном выбрался Загря. Но, выбравшись, не убежал. Нет. Он уставился в упор на мертвого медведя.

С ним произошло что-то невероятное: какая-то сила заставила его преодолеть инертность, пробудила врожденный инстинкт зверовой лайки.

Загря рвал на боках, на загривке медведя шерсть, рычал, давился от ярости и, окончательно вызверившись, вдруг завыл, задрал высоко морду...

На второй день к полудню мы выбрались на верх безыменного отрога и там расположились лагерем. Собаčky упряжки вернулись за медвежьим мясом, но Загря с ними не пошел.

Мне нужно было подняться на одну вершину, осмотреть горизонт и определить наивысшую точку хребта. Я шел не торопясь по водоразделу, приминая лыжами хрустящий снег. Видимая с отрога равнина уходила в дымчатую мглу и там, в бесконечности, теряла свои очертания. Горы поднимались над ней высоченными гольцами. На них всюду следы давнишних разрушений: цирки, провалы, одинокие останцы и каменные ребра, точно обручи, опоясывающие хребет сверху до самого подножья.

Уже вечерело. Освещенная закатом, засыпала уставшая земля. Замирали лесные звуки. И вдруг где-то далеко-далеко точно ударили в бубен. Я остановился. Звук зачастил.

Что бы это значило? Неужели лает Загря?! Ну конечно, он, больше никому!

Свернул на звук. Понесся вниз по скалистому обрыву. Оттуда все яснее доносился лай.

Ниже рваные уступы скал. Схожу с лыж, осторожно спускаюсь по россыпи. Лай все громче...

Иду осторожно вдоль каменной стены по карнизу, выглядываю из-за уступа. Где-то близко зверь. Загря мечется метрах в пятидесяти под скалою, разгоряченный, злой. Морда поднята кверху. Но мне не видно, кто бы это мог быть? Спускаюсь ниже. Бешено бьется сердце, терзаюсь любопытством. Но вот сделан последний шаг к обрыву, я закрепился, чуточку высунул голову — и буквально застыл: на одном из остроконечных шпилей соседней скалы стоял снежный баран — белобородый круторог, житель безмолвных северных гор. Собрав на крошечном выступе, не больше чем в ладонь, все четыре ноги и опустив тяжелую голову, он следил за Загрей. Спокойный, уверенный в своей недосыгаемости, круторог казался каменным изваянием.

Одно мгновенье — и баран, обнаружив человека, затычным прыжком перебросил себя на соседний уступ, пугливо скакнул влево, еще и еще и, чудом удержавшись над обрывом, исчез из глаз, оставив лишь грохот камней.

Вот тут мы с Загрей помирились и признали друг друга.

Он все больше и больше привязывался ко мне,

Ни на одну из наших собак не был он похож. К упряжке нам его так и не удалось приучить — слишком он был гордым. С собаками не дружил, на зверя ходил в одиночку, и никогда на нем не было ран от схваток с противником.

Страстью кобеля были медведи. В схватке с этим сильным зверем смелости Загри позавидовал бы африканский дикий буйвол.

Трудно сказать, кто привил ему эти ценные качества медвежатника. От Чирвы он наследовал красоту и силу, а Нурка, видимо, привила ему эту страсть зверовой лайки. Но многое он приобрел сам, работая со зверем в одиночку.

Судите сами.

Мы исследовали Прибрежный хребет у берегов Охотского моря. Лето по условиям погоды было трудное, работа задерживалась, и экспедицию захватила зима. Продовольственные запасы истощились. Населенных мест поблизости не было. Снежные бураны не подпускали к нам самолеты. Надо было любой ценой продержаться еще месяца полтора, чтобы закончить работу. Решили заняться охотой.

Нашим проводником был местный звенк, хороший охотник Илько. С ним мы и отправились промышлять зверя.

Места там низкие, заболоченные, покрытые старыми гарями. С нами было три зверовые лайки; Нурка, Буска и Загря. Собаки бежали молча. Вокруг никаких следов. Вдруг далеко-далеко, левее темной полосы сырolestя, что-то загремело, точно гроза

ударил по — сухой, звонкой лесине. Потом там же будто вскрикнул кто-то. Залаяла Нурка, а затем и Буска.

Грохотом падающих деревьев всколыхнулась гарь. Шум возрастал, надвигался на нас все громче, яснее. Казалось, огромное стадо слонов бежало через гарь, сбивая и ломая по пути деревья.

Мы выбрались к просвету, поднялись на ствол упавшей лиственницы и увидели потрясающее зрелище. Черный зверь — сохатый, огромный и длинный, ломился через гарь. Он прошел мимо нас метрах в трехстах. Мы и не подумали стрелять — с такой быстротой сохатый бежал по лесному завалу. Могучими рогами он рушил сухостой, грудью насккивал на пни, на сучья, ломал валежник, и треск падающих деревьев напоминал беспорядочную пальбу из пушек. Дикий страх ослепил зверя и безжалостно гнал напролом через гарь.

— Худой место пошел зверь, — хмуря брови, сказал проводник Илько. -- Он уже встречался с собаками и знает пулю — иначе не бежал бы как бешеный.

— Ты думаешь, по нему уже стреляли? — спросил я.

— Стреляли, — повторил он убежденно. — Может, ранен был, да ушел. Теперь боится собак, вот и бежит.

— Что же делать будем?

Илько посмотрел на меня удивленно.

— Разве можно собак бросить, когда они у зверя?

В этот момент появился Загря. Кобель не пошел за зверем вместе с собаками, он никогда не работал даже с Нуркой, к которой был очень привязан.

Весь день до полночи мы шли по следам зверя, представляя по отпечаткам на снегу картину его схватки с собаками. Сохатый отчаянно отбивался от преследователей и уходил в глубину тайги все дальше от нашей стоянки. Мы решили прекратить бесполезную погоню и только развели костер для ночевки, как заявили Нурка и Буска. Вид у них был ужасный: хвосты повисли, уши упали, из открытых ртов свисали языки. Подбежав к нам, они упали на снег в полном изнеможении. Потеряв надежду остановить сохатого, они вернулись своим следом.

А где же Загря? Его нигде не было видно.

Окликнул собаку раз, другой. Значит, как всегда, один убежал догонять зверя. Трудно было поверить, что ему одному удастся сделать то, чего не сделали Нурка и Буска. Но и не было случая, чтобы от него уходил зверь, даже если для этого требовались не одни сутки.

Илько расчистил ногами под собою снег, стащил с головы беличью ушанку, припал ухом к земле, долго слушал.

А я следил за ним и с ужасом думал: неужели придется идти к Загре, расставаться с отдыхом, с костром, с хвойной постелью и опять мять ногами снежную целину?

— Лает, — сказал Илько, поднимаясь. Мы вернулись к костру. Молча, не сговариваясь, сложили котомки, встали на лыжи.

— Ничего, отдохнем у добытого зверя. С мясом ночь куда веселее.

Я позвал собак. Ни одна не встала, даже ухом не пошевелила. Так и остались лежать, пригревшись у костра.

Ночь лунная, тихая. Лес в алмазах. Под ногами хрустящий снег; и кажется, что ты шагаешь по сыпучему серебру.

Долго идем по следу зверя. Километра через три кобель догнал сохатого. Отчаянно сопротивляясь собаке, лесной великан разбросал на месте схватки снег, колодник, изломал кусты. Сразу угадывался почерк Загри, его беспощадность.

За кочковатой марью всхолмленную землю покрывает редкая тайга. Все холмы по ту сторону увала залиты фосфорическим светом. А в ложбинах стелется прозрачными облачками туман, будто сотканный из света и тени. Туман, кажется, вздрагивает от прикосновения лучей луны и оживает.

Мы здорово устали. Легкие котомки кажутся теперь тяжестью. Шаги сузились. А ветерок то вдруг набросит лай, подбодрит нас, то пронесет его мимо. И наконец лай стих, ушел от слуха и больше не возобновлялся.

— Тьфу, сатана, опять убежал! — сказал Илько, безнадежно махнув рукой в сторону стихшего лая.

Я взглянул на часы — скоро рассвет. Мы молча свернули со следа, взобрались на увал, где чернела густая таежка хвойного сыролесья, чтобы там заночевать. Мы выбились из сил и уже не надеялись догнать зверя.

Вдруг Илько схватил меня за руку, показал вниз. Там, на снежной белизне, виднелось подозрительное черное пятно. Присмотрелся — это спит зверь.

Стоим не шевелясь, как пни. Но чуткий слух зверя, видимо, уловил наше присутствие. Он поднял голову, поставил торчмя свои длинные уши, осмотрелся, долго прислушивался и, успокоившись, опять заснул.

Вокруг посветлело. Несколько поодаль от зверя я заметил на снегу серое пятно. Загря!.. "Неужели убит?" — подумал я, и эта мысль пронзила меня острой болью.

Перевожу взгляд на Илько. Старик улыбается. Просит наклониться к нему, шепчет мне на ухо:

— Оба спят, стрелять не надо.

И я вижу, как подобрело его лицо.

Загря лежит, свернувшись в клубочек и уткнув нос в пушистый хвост. Спит и замученный сохатый, разбросав длинные ноги и положив на снег настороженную голову. Даже рассвет не в состоянии разбудить их.

Никто из нас и не подумал стрелять. Рука с карабином невольно опустилась. Илько подает пальцем знак — отходить — и начинает осторожно, будто под ним пропасть, поворачивать лыжи на свой след. Я делаю то же самое.

Мы неслышно отступаем. У меня не осталось ни горечи, ни сожаления, что так неудачно закончилась охота. Я даже доволен тем, что чувство, присущее натуралистам, перебило в нас обоих страсть зверобоев.

Может быть, больше всего я и люблю Загрю за то, что бывает он безмерно храбрым перед сильным противником и снисходительным к слабому.

Нурки уже не было с нами в этом походе к Ямбу. Из Ленинграда после трехлетней учебы вернулся Тиманчик. Он направлялся в свой далекий поселок Омахта, чтобы взять семью и переехать в районный центр, куда после учебы послан на работу. В Нагорном молодой эвенк зашел в штаб экспедиции. Мы встретились во дворе. Я не сразу угадал в нем хозяина Нурки. Одет он был по-городскому, при галстукке. Непривычный для эвенка зачес скрадывал скуластость лица. На ногах — остроносые ботинки. Только походка осталась стремительной и легкой по-прежнему.

— Нурка жива? — спросил он, волнуясь.

Видно, все годы разлуки с любимой собакой мучил его этот вопрос.

А я, здороваясь с ним, с болью почувствовал, что не смогу расстаться с Нуркой. Мысленно стал подыскивать доводы, чтобы оставить ее у себя. Я готов был заплатить любую сумму. Но мне вспомнилось, как Тиманчик втащил собаку в мою комнату, привязал ее к ножке кровати и, слизывая с губ скатывающиеся слезы, говорил: "Пока я жив, ее своей не считай". И мне стало неловко за свои намерения. Я ответил, что Нурка жива и здорова.

— Так позови же ее скорее. Может, она меня забыла... — Он был полон нетерпения.

— Тихон Петрович, — окликнул я деда, рубившего дрова за сараем, -- приведи сюда Нурку.

Тот посмотрел в нашу сторону и, не торопясь, подошел ближе. Подозрительно посмотрел на Тиманчика.

— А зачем она понадобилась? — спросил он резко, заподозрив что-то неладное.

— Я ее хозяин, — ответил Тиманчик.

— Ишь ты, нашелся! За давностью она уже не твоя.

— Такого договора не было!

Я увидел, как эвенк вспыхнул, угрожающе глянул на старика, готовый защищать свое право на собаку.

— Тихон Петрович, приведи Нурку, — повторил я.

— Ну разве только показать, — упорствовал дед, направляясь к сараю.

С минуту мы стояли молча. Я видел, как Тиманчик нервно покусывал губу, как на его скулах вздувались желваки, и невольно подумал: а что, если Нурка действительно не узнает его?

Но тут показался Тихон с собакой. Тиманчик сорвался с места, быстро-быстро пошел ей навстречу. Вот они рядом... Собака тщательно обнюхала его, равнодушно потопталась на месте и, увидев меня, натянула поводок. Раздосадованный Тиманчик схватил ее за шерстистые щеки, поднял морду, заглянул в глаза, сказал что-то на эвенкийском языке, стал повторять громче и громче, затем с силой отбросил собаку от себя, повернулся и поспешно ушел, не попрощавшись и не оглянувшись, как и в тот раз, когда он впервые привел ко мне Нурку,

Но Тихон показал ему не Нурку, а ее дочь, как две капли воды похожую на мать.

— Зачем ты это сделал? — крикнул я.

— Она как мать, не различишь, пусть ее и берет, а Нурку не отдам! -- упрямо ответил он, пряча от меня взгляд.

Я бросился в сарай, отвязал Нурку-мать. Она по привычке метнулась по двору, но, наткнувшись на след Тиманчика, вдруг оцепенела. Раздутыми ноздрями втянула воздух, ткнулась носом в след и, уже ничего не различая перед собой, рванулась к выходу, перемахнула через калитку...

Мы с дедом выскочили на улицу. Тиманчик лежал на пыльной земле, сбитый собакой. А она, ласкаясь, прижималась к нему, лизала его лицо, нежно покусывая. Тиманчик с минуту не шевелился и не сопротивлялся. Потом поднял ее морду, заглянул в широко открытые глаза, обнял, и так они лежали некоторое время на сухой земле, оба бесконечно счастливые.

На второй день, рано утром, Тиманчик уходил с Нуркой в далекий путь. Мы собрались проводить его. Ничто уже не могло различить эвенка с собакой. Смирился и дед Тихон. Подпирая плечом забор, он нервно жевал кончик бороды и, не отрывая глаз, следил за удаляющимися силуэтами.

— Ладно, хай поживе еще с ним, — сказал он, вытирая влажные глаза.

ЗАВЕТ ПРЕДКОВ

Отбрасываю край полога и, высунувшись, жадно глотаю воздух. Утренняя прохлада освежает лицо. Выбираюсь наружу. Уже день. Яркий солнечный свет слепит глаза. Детвора на ногах. Пастухи готовятся в путь.

На костре в большом котле варится завтрак — целая медвежья голова и две лапы, принесенные вчера Карарбахом. Павел и Долбачи упаковывают свои постели, складывают вещи.

— Что нового, Павел? — спрашиваю я. — Была ли связь со штабом?

— Из штаба хорошие вести. Завтра Елизар Быков выходит от Короткова к Ямбу. Давненько мы с ним не виделись. По случаю такой встречи не грешно и... — Он выразительно щелкнул пальцем по горлу.

— А есть что?

Павел не ответил, но по хитрющей ухмылке я догадался, что не иначе как у него припрятан спирт.

Разговаривая с Павлом, я заметил, что в стороне, прямо на земле, подобрав под себя ноги, прикрытые широкой ситцевой юбкой, сидит Инга, кормит дочь. На ее молодом лице горит румянец, она довольна, спокойна и полна материнского блаженства.

Чудесным утром встречает природа новорожденную! Сколько блеска, сколько очарования в листопадных кострах, в пурпуре осенних холмов, в звенящей струе ручейка! А эти лиловые утренние тени, прозрачная дымчатая вуаль, сквозь которую все вокруг кажется торжественным и необыкновенным.

Вокруг Инги собрались все дети стойбища. Они не могут скрыть удивления. Присев на корточки, с любопытством следят за новорожденной, пока она, прильнув к груди

матери, захлебывается молоком и чихает. Все ребятишки приходят в восторг, подпрыгивают, как мячики.

С болью в сердце вспомнилось об Аннушке. Спешу ее проведать.

На постели больной сидит Сулакикан и, поддерживая левой рукой голову дочурки, поит ее оленьим молоком. Она не замечает меня. Аннушка дышит тяжело, влажные губы ее шевелятся, и только глаза на морщинистом, иссушенном болезнью личике засветились живым огоньком. Это радует, но далеко еще не обнадеживает.

У ее ног сидит Битык. Мальчишка смотрит немигающими глазами на сестренку, что-то ей щепчет, показывает на пальцах какую-то фигурку.

Увидев меня, он вскакивает и, пятясь, исчезает из чума.

Устраиваюсь на его место, беру безвольную ручонку больной, прощупываю пульс. Аннушка ловит мой взгляд черными глазами. И я вижу в них жизнь. Ей-богу, жизнь! Кажется, что еще никогда у меня не было большей радости, чем та, которую подарил мне этот осмысленный, живой взгляд детских глаз! Неужели спасена?!

Очередной укол Аннушке делала теперь Сулакикан, под моим наблюдением. Женские руки оказались более ловкими, нежели мои. Я передал ей весь запас пенициллина, шприц и все медикаменты.

У входа меня ожидал Битык. В руках он держал лук, тот самый, который предлагал в обмен на карабин. Он решительно протянул его мне.

На стоянке с раннего утра командует Лангара. Она появляется всюду. Ее властный голос слышится то у костра, то в чуме или доносится от ручья. Удивляешься, откуда только у этой старухи столько энергии!

Наступает время завтрака. Лангара почему-то усаживает женщин и детей отдельно. Их еда — вяленое мясо, масло, горячие лепешки и чай.

А для мужчин, расположившихся у костра, она вытаскивает из котла медвежью голову, лапы и кладет на широкий лист бересты, рядом ставит котел с отваром. Это даже не отвар, а почти чистый медвежий жир. На всех — одна ложка.

Я не выдерживаю, подхожу к Лангаре.

— Скажи, почему женщины и дети сегодня едят отдельно?

— Потому что сейчас мы будем отпугивать дух убитого амакана. Это делают мужчины, хотя можно и женщинам, которые сами ходили на амакана.

— Не понимаю, о каком духе и о каком медведе ты говоришь?

— Которого убил Карарбах... Разве не знаешь, что наши обычаи требуют уважать дух амакана, он не должен догадаться, кто убил его. Иначе все время будет сбивать нас с тропы, посылать не туда, куда нужно, и людей и стадо. А ночами будет пугать оленей, покоя никому не даст...

— Ты тоже веришь этому? — спрашиваю я.

— Я не верю, — шепотом отвечает Лангара. — Они тоже не верят. — Она кивает головой в сторону женщин и детей. — Но так хочет Карарбах. Он старый люди, постоянно живет в тайге, понимает только ее, другого ничего не видел и не знает. Мы не должны ругать его или отговаривать. Пусть уносит в могилу обычаи стариков. И тебе говорю, когда кушать станешь, делай все, как будем делать мы, иначе обидишь Карарбаха.

Меня тронула Лангара уважительным отношением к глухому старику, и я становлюсь покорным участником древнего обряда отпугивания духа медведя от жилища кочевников.

Садимся тесно, плечом к плечу, вокруг медвежьей головы. Я стараюсь запомнить до мельчайших подробностей все, что тут совершается, — ведь этот суеверный обряд, как и многие другие, уходит в небытие даже здесь, в глуши лесов.

Трапезу начинает Лангара. Она зачерпывает из котла полную ложку жира, подносит ко рту. Все молчат.

— Ку! — кричит старуха, повернувшись в сторону леса, и глотает жир.

"Ку-у-у!.." — разносит эхо по тайге.

Затем Лангара долго говорит по-русски, — видимо, в знак уважения к нам.

— Амакан, — почти ласково обращается она к невидимому собеседнику, -- ты думаешь, мы тебя убивали? Не-ет, что ты, и не собирались! Как можно! Мяса у нас полные потки, сам посмотри. Тебя убивали другие люди. Мы его не знаем, чужой. У него своя тропа, он хромой, догоняй его. Ну-ну, скоро догоняй, он так ушел. — Старуха машет рукою в сторону вчерашнего своего следа. — Затем передает ложку сидящему слева сыну Майгу, достает нож, ловко отсекает "щеку" от медвежьей головы, долго жует,

Майгу тоже черпает ложкой жир, выпрямляется весь, чтобы Карарбах видел, кричит: — Ку!

Он выпивает жир и начинает что-то быстро говорить по-эвенкийски, энергично жестикулируя. Видимо, он тоже уговаривает медведя уйти от табора, поторапливает его.

Майгу передает ложку Долбачи, а сам берет из рук Лангары медвежью голову, выбирает кусок полакомее.

Чувствую, все ждут, когда дойдет очередь до меня.

Наконец ложка в моих руках. Я пытаюсь во всем подражать пастухам. Зачерпываю из котла и кричу:

— Ку! Ку!..

Силюсь проглотить теплый, совершенно не соленый жир. Уж я приноравливаюсь и так и эдак. С большим трудом мне удается сделать один глоток. Для приличия, как и все, аппетитно облизываюсь. А сам чувствую, что вот-вот жир пойдет обратно. Сижу не шевелясь. Потом с досадой говорю, обращаясь к медвежьему духу:

— Какого дьявола ты тут топчешься, косолапый! Убирайся отсюда, иди догоняй хромого, кто убил тебя.

— Ты как настоящий эвенк, правильно говоришь, — поддерживает меня Лангара, берет у меня ложку и передает старику.

А Долбачи уже сует мне медвежью голову и лапу. Я достаю нож, отрезаю кусок мяса, начинаю жевать.

Карарбах выпрямляет сгорбленную спину. Лицо его сосредоточенно. Старик, как и все, черпает жир из котла. Подносит его дрожащей рукой ко рту, проглатывает.

— Ку! — хрипло вырывается из его горла. Затем старик что-то бормочет и машет рукою в сторону леса.

Пожалуй, Карарбах один только и относится к этому древнему обряду со всей серьезностью.

— Тебе сказать, что говорил он? — спрашивает Лангара.

— Ну конечно.

— Карарбах говорит: "Это не люди едят тебя, амакан, ты не думай так, обманешься. Тебя клюют коршуны, вороны. Твою голову и лапы срезал хромой. Пока он близко, догоняй его, потом далеко уйдет, без лап не догонишь. Иди, иди, не оглядывайся..."

Жизнь человека в тайге всегда была полна всяких опасностей. С тех древнейших времен, когда появились люди в лесах, они вели постоянную и упорную борьбу с медведем. Очень часто их преследовали неудачи. И, пожалуй, даже сейчас самый опасный враг охотника — это медведь. А чем раньше мог эвенк одолеть дикую силу зверя? Лиственничными самострелами, петлями, ловушками или рогатиной. И охотник нередко погибал в этой неравной схватке. Извечный страх перед зверем, особенно у стариков, и породил этот необычный обряд поклонения духу медведя.

Отпугивание духа амакана закончено. Закончен и наш своеобразный, не очень-то сытный завтрак. Пастухи долго пьют чай, и стойбище приходит в движение.

Пока ловят оленей, старик бережно собирает все кости, даже самые мелкие, остатки от трапезы. Складывает их в старенький чуман, перевязывает ремешком, относит подальше от огнища и там ставит в развилку толстой березы.

— Ты что так смотришь? Разве не знаешь, что, по обычаю предков, нельзя бросать кости амакана на земле? — поясняет Лангара. — Амакан подумает, мы их взяли с собой, не отстанет от каравана, неудачу пошлет, а так сразу увидит их на дереве.

Карарбах срубает небольшой толщины лиственницу, на высоте полутора метров от земли протесывает оставшийся ствол с четырех сторон, кладет на него медвежий череп глазницами на восток и, привязав, украшает его стланиковыми ветками, — дух медведя не должен далеко уходить от своей головы, а это важно, когда стадо находится в пути.

Олени завьючены, все готовы трогаться в путь. И только Инга с ребенком на руках растерянно стоит у догорающего костра. У нее нет еще опыта, как подготовить новорожденного в путь, ждет, когда кто-то из женщин ей поможет.

Я подхожу к Инге, приоткрываю край одеяльца: девочка не спит. Смотрит сквозь узенькие щелочки глаз. Личико смуглое, кругленькое.

— Что смотришь, лючи? Нравится?! — спрашивает мать.

— Был бы у меня сын, взял бы ее в снохи.

— А может, она не захочет? — улыбаясь, отвечает в тон мне счастливая Инга.

— Это может быть. А как же вы ее назвали?

— Дора.

— Что это значит по-русски?

— Родилась, когда был далекий гость.

— Хорошее имя. Теперь я буду считать себя ее крестным отцом.

Карарбах принес из перелеска трухлявый, совершенно сухой пень и охапку свежих, душистых еловых веток. Пень он бросил на землю и что-то крикнул Лангаре, а сам присел к маленькой походной люльке, сделанной из тонких лубков, вынянчившей не одного ребенка. Он разорвал хвойный лапник на мелкие веточки и любовно выстлал ими дно люльки.

"Не жестким ли будет первый путь новорожденной?" — подумал я, следя за работой старика.

Лангара опустила на землю рядом с люлькой и привычным ударом о коленку раздробила трухлявый пень, принесенный Карарбахом, на мелкие части, растерла в пыль податливые куски, просеяла сквозь пальцы на подол юбки. Затем, разостлав на земле мягкую хорошо выделанную шкуру кабарги шерстью вверх, она надела на девочку с помощью Инги голубую фланелевую распашонку, чепчик, присыпала древесной трухой потные места у ребенка, уложила его на шкуру. Девочка протестующе закричала, но Лангара, не обращая внимания на ее крик, быстро завернула внучку в одну, затем в другую шкуру, перевязала ремнем и положила в люльку.

Дальше Инга сама заканчивает все, чтобы ребенок хорошо перенес этот путь, сразу же привык к тайге, к трудностям кочевой жизни. Она отворачивает от лица новорожденной край шкуры — пусть дышит свежим смолистым воздухом, впитывает запахи леса, болот и слышит пощелкивание копыт оленей. Подкладывает под голову маленькую подушку, а под бока — еловый лапник, чтобы не так качало на ходу. Долго смотрит на раскричавшуюся дочь, может быть, благословляя в первый путь по тайге. Все собрались у затухающего костра. Стадо скучилось в ожидании пути. Лангара, прищурив глаза, крепко берет меня за руку, говорит, не скрывая тревоги:

— Ты лучше бы мимо ходил, чем теперь нам думать, живые вы останетесь на Ямбуе или тоже без следа пропадете! Послушай старую Лангару: не ходи туда, зачем тебе мертвые, пойдем с нами — не пожалеешь. У мяса два дня хорошо стоять будем, надо коптить его, жир собирать, шкуры мало-мало делать, кишки, требуху чистить. От убитого зверя ничего нельзя бросать, что годится в пищу. И кровь сушить будем. Ты ел сухари из крови? Нет? Попробуешь. Их сладость язык долго не забывает... Ну как, пойдешь с нами?

— Спасибо, Лангара, но мы пойдем на Ямбуу, другой дороги у нас нет. Шли бы и вы туда, ведь вам пути не заказаны. Карарбах помог бы нам разыскать пропавших товарищей. Загрю отдам, за него не раз спасибо скажете.

— Загря — хорошо, для пастухов такая собака шибко дорога, но ты не понимаешь, что говоришь. Зачем тебе Ямбуу, зачем гневить духов, и без того людям не хватает добра, горе как клещ к ним присосалось.

— Значит, отказываешься от Загри?

— Да.

— Тогда прощай, Лангара! Мы будем долго помнить нашу встречу. Пусть ваша тропа не знает больше бед и когда-нибудь встретится с нашей.

Мы обнимаемся. Соленые от слез губы были горячее материнских.

Подхожу к Карарбаху. Он, пытаясь улыбнуться, кривит высохшие губы. Тут только я заметил, какой он худой и рослый и как одинок он в своей вечной тишине. На лице старика озабоченность. Его, как и всех, беспокоит наша судьба.

Карарбах поворачивается к Лангаре, что-то ей долго объясняет. Старуха внимательно слушает, потом переводит.

— Старик говорит: у эвенков нет закона, чтобы гостя отпускать одного, когда впереди опасность. Надо бы проводить вас. Будь другое место, не этот голец, он пошел бы с вами. А на Ямбуи не пойдет. Зачем гневить духов, они злопамятные, ничего людям не прощают. Не сейчас, так после, а все равно худо сделают.

— Спроси у него, Лангара, действительно ли он считает духов виновниками несчастий людей? И на Ямбуе пропали люди по их вине?

Лангара недовольна таким вопросом, но передает его старику. На лице Карарбаха недоумение. Он захватывает в руку реденькую бороденку, задумывается, пристально смотрит мне в глаза, как бы пытаясь угадать, не хочу ли я посмеяться над ним, над его верованием. Потом говорит убежденно, обращаясь прямо ко мне. И тут я замечаю, что он произносит только гласные буквы и совсем забыл труднопроизносимые, вроде шипящих.

Старуха переводит:

— Тайга полна злых духов. Это они приносят людям беду. Но там, где человек знает, что к чему: как спастись от стужи, распутать след зверя, как добыть огонь, избавиться от болезни и другое, — зла от духов не бывает. Карарбах толмачит, что им многое известно, чего мы не знаем, почему приходит и уходит зима, почему люди рождаются и умирают, как держатся звезды на небе, куда уходит душа покойного — это знают только духи. Никто не в силах бороться с ними, никто! Они сильнее всех нас...

— Человек все-таки сильнее! Скажи ему... — перебиваю я Лангару.

У Карарбаха сердито сдвинулись брови. Он ответил резко, не отрывая взгляда от меня.

— Старик тебе совет говорит: не шибко гордись, даже если станешь сильнее Харги, но этого не будет, — продолжала Лангара. — Сколько бы ты ни бил языком о кремьень, огня не добудешь... Старик тоже будет мучиться, думать, как вы там на Ямбуе, и хочет, чтобы наши тропы еще раз сошлись.

Я беру в ладонь тяжелую, исполосованную шрамами руку старика. Крепко сжимаю.

— Послушай, Лангара, бросьте кочевать по этим безлюдным, неустроенным пустырям, по болотам и вечно мерзлой земле. Идите со стариком на стойбище. Вы много сделали для своего потомства, не каждому такое под силу. Пора и отдохнуть, вы этого заслужили. Пусть молодежь управляется со стадом. Когда сыновья останутся без вашей опеки, станут такими же оленеводами, как и вы.

— Оборони бог! — воскликнула старуха, вырывая свою руку и отмахиваясь от меня, как от назойливого паука. Если я отрублю себе руку, это не будет так больно, как бросить аргиш, уйти от стада. Что ты, что ты!.. Когда я один день олень не вижу — голова пустая, как бубен. Она дико глянула на меня, будто я собираюсь лишить ее права кочевать по тайге.

— Ты хорошо подумай, Лангара, сейчас вы оба здоровы, а если старость сломит вас?

— Тут в тайге и помирать будем. Соль горькая, однако люди не могут жить без нее. Прощай, лючи! Нам пора.

Она крепко жмет мне руку и торопливо уходит к оленям.

Прощаюсь с Карарбахом. Он улыбается.

Мое внимание опять привлекают его ужасные, старые-престарые, закрутившие от времени лосевые штаны. На них — латка на латке. Достая из потки свои запасные

брюки, протягиваю старику. Они поношенные, но лучше лосевых.

И тут происходит неожиданное. Подходит Лангара, отбирает у Карарбаха брюки и с необыкновенной ловкостью натягивает на себя, поверх широких шаровар.

— Хорошо, спасибо тебе, — невозмутимо говорит она, оглядывая себя со всех сторон.

— Но ведь это Карарбаху, Лангара...

— Мне они не плохо, — отвечает она.

Старик равнодушно смотрит на происходящее. А впрочем, это не удивительно. Все блага на земле, по представлениям эвенков, должны распределяться в зависимости от того, насколько человек в них нуждается. Вот и Лангара считает, что ей брюки нужнее, нежели Карарбаху.

Меня окружают дети.

На прощанье даю каждому по куску рафинада. Сахар не всегда бывает у пастухов. Ребята тут же засовывают его в рот. А что же оставить на память новорожденной? Подходящего ничего нет. Вспоминаю, что у меня в потке лежит книга Константина Паустовского "Лесная поэма". Ну что ж, оставлю ее.

Пишу химическим карандашом на титульном листе: "Доре — маленькой пастушке из рода Карарбаха. Я был тем далеким гостем, в честь которого тебе дали имя. Не покидай свой край, сделай его цветущим и богатым, как того хочет твоя бабушка Лангара".

Передаю книгу Инге и прошу ее беречь, пока Дора вырастет.

Караван вытягивается в длинную шеренгу. Как только олень с привьюченной люлькой на спине сделал два-три шага, крик новорожденной прекратился, будто ребенок с нетерпением ждал этой первой минуты начала пути в жизни.

С появлением на свет новорожденную окружал свежий смолистый запах хвои, дым костра, шум леса, крик тугуток, лай собак, журчание ручейка. Все это пришло к ней с первым ощущением, с началом жизни и, может быть, до смерти будет сопутствовать ей.

Карарбах выводит оленей из перелеска и, взяв направление на юг, вкось пересекает марь. У него на сворке собачонка. За плечами поняжка. К ней привязан топор, чайник и серая сумка с продуктами." Старик, видимо, никогда не расстается с этим грузом.

ВОТ И ЯМБУЙ

Наш путь по-прежнему идет в юго-восточном направлении, мимо болот, холмов, через низкие водоразделы, по печальной тайге.

С синего неба на наш маленький караван льется яркий свет щедрого солнца. Долбачи, выступая с оленями впереди, шагает уверенно. Ему достаточно с утра взять нужное направление, и уже до конца дня он с него не собьется. Как живая буссоль. С таким проводником легко ходить по тайге, и теперь я уже не думаю, как вначале: "А туда ли мы идем?"

Загря у меня на поводке. Он идет понуро, не забегает вперед, не натягивает ремешка, не замечает крика вспугнутых караваном, птиц, писка бурундуков, часто попадающихся нам на глаза, и совсем не нюхает, как обычно, воздуха — обиделся. Ох, как не нравится ему, что я веду его на ремешке!

Нас сопровождает все тот же знакомый пейзаж: кочки по болотам, точно цветочные горшки с поникшим черноголовником, кривые березки по закрайкам марей и лысые от давнишнего пожара бугры. Ни цветов, ни травянистых полян -- только россыпи, мхи да лишайники, редко увидишь кустик пырея, и то разве у ручья, или на старой гари заросли ярко-красного кипрея. От этого однообразия путь кажется нескончаемо длинным.

За перевалом мы наткнулись на плотный туман; снежной лавиной лежал он на дне глубокой пади. Солнце прижимало его к земле, боковые отроги отрезали ему путь к отступлению. Кое-где сквозь пелену торчали голые макушки холмов да вершины

одиноких лиственниц. Мы вошли в серый непроницаемый сумрак, в сырую тишину. Шаги каравана заглохли.

За широкой марью виднеется плотная синева высокоствольного леса. Он спустился со склонов гор, пытаясь отобрать у нагорья свободную землю, но наткнулся на неуступчивые мари, на бугры вечной мерзлоты и встал над ними стеною, так ни на шаг и не продвинувшись дальше.

Вскоре с чувством невольной робости мы вступили в настоящую первобытную тайгу. И как только оказались под сводом могучих деревьев, как только почувствовали запах прели, папоротников, коры и влажных мхов, все облегченно вздохнули. После стольких дней пути по марям тайга бесконечно обрадовала нас.

Нас окружают молчаливые лесные дебри, чащи малолетних деревьев, поднявшихся над могилой упавших великанов, и длинные седые космы лишайников, свисающие гирляндами с еловых сучьев. Яркие полосы солнечных лучей, пробившись сквозь кровлю деревьев, рассеивают плотный сумрак, и лес, окутанный этим серебристым светом, кажется еще более величественным.

Долбачи прокладывает путь. Молодые деревья как бы расступаются перед ним — так ловко он владеет пальмою, прорубая чащу. То тут, то там изредка вспорхнет вспугнутая нами птица или зацокает белка.

Всюду — густая поросль. Совсем молодые деревья растут чрезвычайно плотно, постарше — несколько разреженнее, а еще постарше — более редко. Здесь деревья принуждены вступать в жестокую борьбу друг с другом за место, за почву, за солнце. Вот тонкая, стройная лиственница, как будто одолевшая в борьбе всех соседей. На ее высоком, гладком стволе ни единой веточки, только одна макушка зеленая. Все пошло в рост — любой ценой надо было достигнуть кровли леса, пробиться к солнцу. Но старшие деревья, чьи кроны образуют свод, не очень-то гостеприимны к своему потомству, они никого не пропускают выше. И эту стройную лиственницу тоже ждет удел сверстниц: вряд ли ей справиться с могучей кровлей, закрывшей небо.

Лес кончился. За ним опять лысая земля.

На востоке, за макушками деревьев, в помутневшем воздухе растворились далекие холмы. Ветерок нет-нет да и набросит оттуда запах дыма.

— Тайга горит, — говорит Долбачи, останавливаясь и нюхая воздух.

— Далеко? — спрашиваю я.

— С перевалов, однако, увидим.

— Кто же мог поджечь ее?

— Люди тут нету. Однако сама гори. Огонь много лет может прятаться под марью, даже не узнаешь, что он там живет. Потом, когда долго нет дождя, сам выходит наружу, зажигает тайгу. Это, однако, такой пожар.

Через час из-за отрога, на который мы взбираемся, показывается облако плотного черного дыма, заслоняет солнце, окутывает землю густым мраком. На фоне синего неба оно кажется зловещим. Прорвавшийся внезапно ветер принес едкий запас гари. Воздух отяжелел. Стало трудно дышать. Послышался отчаянный рев зверя.

Долбачи торопится, сворачивает вправо, косогором выводит караван на перевал. Впереди широкая падь, охваченная пожаром. Ветер яростно раздувает огонь, гудит в вышине, отбрасывая в небо багряное пламя. По земле бушует огонь. Казалось бы, тут ему нечем поживиться, но гляньте, как он скачет гигантскими прыжками по ельнику, пожирает стланик, дупляные лиственницы, ягель, все живое. И, убегая дальше, оставляет позади в дыму обугленную землю да небо, усеянное черными лоскутами, как обугленными птицами. Мимо в паническом страхе проносятся уцелевшие выводки рябчиков, прыгают обезумевшие белки, отчаянно кричит куропатка, сзывая отставших цыплят.

Слева в горячем пламени бьется молодой коршун, не может одолеть высоты. Его подхватывает ветер, бросает в одну, в другую сторону, давит вниз, ломает крылья, и он черным комком падает на пылающий лес.

Огонь обходит нас с трех сторон, окутывает дымом. Долбачи разрывает связку оленей на три части, нам с Павлом дает по четыре оленя, и мы, не отставая друг от

друга, прорываемся через опаленную пожаром зону. Уходим дальше по отрогу и затем уже сворачиваем влево, идем своим курсом на юго-восток.

Лесные пожары — конец лета. До зимы остаются считанные дни. Скоро наступит время долгих ночей, снежных буранов, белого безмолвия. Успеем ли мы добраться до Ямбуйского гольца, раскрыть его тайну и, наконец, выбраться в жилые места?

Снова бесконечное холмистое нагорье. Мы то поднимались на высокие водоразделы, и нам открывались дымчатые дали, слитые с жиденьким небом, то нас поглощали темные глубокие пади, затянутые старыми гарями, то снова перед нами выстилались мшистые пространства топких зыбунов.

К концу шестого дня, преодолев большие расстояния, наш караван с трудом поднялся на давно уже видневшуюся впереди возвышенность. Мы здорово устали от подъемов и спусков, от кочек под ногами, едва держались на ногах. Олени тоже падали от усталости. Но в награду за долгий и трудный путь мы наконец увидели впереди высоченные гряды Станового, заполнившие весь юго-восточный горизонт.

После однообразных марей, топких болот и чахлой тайги эти голые, бесплодные горы показались нам чудесным зрелищем. Я на них гляжу не впервые, и, как всегда, меня волнуют эти суровые громады и бездонная ширь небес над ними. Солнце утонуло в багровом горизонте. Теневая сторона хребта с крутыми обнаженными скалами маячила перед нами грозной стеною.

Узнаю тебя, Становой, твои гигантские взмахи отрогов и поднебесные вершины, твои зияющие чернотой пропасти и древние руины скал, твой первозданный хаос и первобытную дикость. Я хмелею от ветерка, и мне чудится еле уловимый аромат горных лютиков, резкий запах рододендронов из холодных ущелий и пряная сладость влажного ягеля.

— Сюда смотри, это наш гонец — Ямбуй, — говорит Долбачи, возвращая меня к действительности и показывая посохом на толстую вершину, самую крайнюю с левой стороны хребта.

Так близко Ямбуй я вижу впервые. Он стоит несколько обособленно, горделиво возвышается над южным краем Алданского нагорья, соединенный с хребтом голым отрогом, будто Становой не улегся в положенную ему длину и поэтому краем своим изогнулся на север. Тут он и оборвался мощным гольцом -- Ямбуем. Геодезисты назвали этот изогнутый отрог "аппендикс Станового".

Словно в беге, гонец вдруг остановился, упершись подножием в край обширного Алданского нагорья, простирающегося на север. У него тупая каменная вершина, справа глубоченный провал, а слева крутой скалистый склон, истекающий серыми россыпями, изрезанный многочисленными ручейками. Кое-где видны останцы.

Подножье Ямбуя широко опоясывают густые стланиковые заросли и редкая лиственничная тайга. Ближе, сквозь сучья низкорослых лиственниц, поблескивает полоска реки, зажата береговыми скалами. Но ниже вода разливается и смутно-мутно белеет за лесом. Это быстроводная Реканда, берущая свое начало в глубоких складках Станового. За ней сразу и начинается Ямбуй.

— Однако тут ночевать будем. Смотри, олень шибко морился, дальше не пойдет, — говорит Долбачи, склонившись на посох.

Лицо его осунулось, вид мрачный. Надо бы остановиться: и люди и олени дошли, что называется, до изнеможения. Сегодня мы не отдыхали, как обычно, в полдень. Но кто откажется от возможности переночевать на берегу реки, когда она так близко? До нее километра два.

— Нет, Долбачи, пойдем к Реканде, там и оленям привольно, и нам будет лучше.

Проводник смотрит на закат усталыми глазами. Безропотно начинает криком и пинками поднимать оленей. Бедные животные, на них больно смотреть, как мы их замотали.

Тяжело поднимается Павел, растирает руками колени, но ноги едва разгибаются, еще хорошо, что в руках посох.

— Пошли! — командую я охрипшим голосом.

Караван устало закачался на спуске.

День на исходе. Солнце опалило хребет и вечернюю равнину. Рыжие деревья в огне, горят перелески, пожаром охвачены болота. Над залесенными падами поднимается туман, и на нем вспыхивают алые пятна.

Метров через триста неожиданно вышли на звериную тропу. Она показалась нам асфальтовой дорогой, хотя это была неширокая, давно не хоженная, едва протоптанная по зеленому мху стежка.

Но все обрадовались. Павел даже запел:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек...

Дальше мы пели вдвоем, и от песни стало легче. Долбачи тоже повеселел, прибавил шаг.

Караван крупным косогором обошел обрыв, и мы спустились на дно долины. Последним препятствием до берегового леса был неширокий зыбун, густо усеянный переспелой морошкой. Желтые ягоды, точно крупинки золота, соблазнительно лежали на пышном бархатисто-зеленом покрове.

За зыбуном — густая лиственничная тайга, запорошенная увядающей хвоей и пахнущая спелым ольховым листом. В ней уже сумрак позднего вечера. Но в сквозных просветах деревьев еще колыхается еле уловимый свет.

Еще несколько минут мы идем по лесу, выбирая поуютнее место для ночевки. Вечерняя тайга необычно гостеприимна. В ней и прохлада, смешанная с запахами рододендронов, хвои, увядших папоротников, и будто для нас наброшен на "пол" ковер из вечнозеленых пышных мхов. Каждое дерево приглашает поселиться под его разлапистыми кронами. Но мы вдруг стали разборчивыми, продолжали бродить по лесу в поисках лучшего места. А расположились на открытом высоком берегу Реканды. Тут ко всем прелестям леса прибавляется речной ветерок — он всю ночь будет отпугивать от нас комаров.

Будто чья-то невидимая рука гасит последние блики света на макушке елей, на холме и, наконец, на далеком пике. Над рекой проносится пепельно-серый туман, гонимый ветром. Лес уходит в ночной покой без птичьих песен, без шорохов — молча.

Вот и кончился длинный путь к Ямбую — это смягчает усталость. Кажется, все трудности остались позади.

Долго сидим у жаркого костра, пьем чай. В ночь уходят тени. В синеве над нами прорезаются звезды. На поляне мелодично — перезваниваются бубенцы.

Павел с Долбачи забираются в палатку. Загря эту ночь на привязи. Я подкладываю в костер побольше дров. Стелю спальный мешок, ложусь лицом к костру. Смотрю, как бушует пламя, как в синеве расплавленных углей возникают дворцы, громады гор, глубокие пропасти, а то вдруг встанет какое-то страшилище, глянет в лицо, и все вмиг исчезнет.

...Ранним утром быстро расправляемся с завтраком. Вьючим оленей и, пока утренний уровень воды в Реканде низкий, спешим перебраться на противоположный берег реки. Мы уже готовы были тронуться в путь, когда Павел, заливая огонь, случайно взглянул на реку и зашептал, задыхаясь:

— Смотрите, зверь!

Опаленный его шепотом, я сбросил с плеча карабин.

— Где?

На противоположной стороне сквозь редколесье по откосу ломился во всю прыть черный, в белесоватых чулках крупный сохатый. Из-под ног летела клочьями земля, трещал сушняк, точно тысяча чертей гналась за зверем. Не различая, что впереди, не замечая ни крутого спуска, ни чащи, ни колодника, сохатый опрометью выскочил на каменный берег. Огромный и в то же время поджарый, как скаковая лошадь, он гигантскими прыжками бросился в реку, вздыбил гору пенных волн.

Плыл торопливо. Были видны лишь его длинная голова и рога, похожие на корни засохшего дерева. Течение уносило его вниз. И через минуту зверь пропал в кривуне за наносником...

— Долбачи, кто мог так напугать его?

— Медведь или человек. Волк днем на большого сохатого не нападет. Реканду перейдем — узнаем.

Прошла минута, другая... Никто не появился на следу.

Долго ждать не захотели. Спустились к реке.

Вырвавшись из гранитной щели к равнине, Реканда все еще не может успокоиться от бешеной крутизны, от порогов и скал, преграждающих путь. Ревет, бросается по сторонам, как разъяренный зверь, скачет по шиверам, живая, трепетная, ненасытная.

— Ты думаешь, перейдем? — неуверенно спрашивает проводник, кивая в сторону брода.

— Я утром ходил по реке, в других местах еще хуже.

— Тогда будем тут переходить, — и он, осмотрев выюки на спинах оленей, вскочил на учага. Но не сразу тронул караван, еще поглядел на беснующийся перед ним поток, выбирая проход между крупных обломков.

— Мод!.. Мод!.. Мод!.. — кричит каюр на оленей.

Солнце высоко. Оно, сверкая, отражается в бурном перекате, в ряби воды, обнажает дно Реканды, усеянное разноцветными валунами. Поток под караваном кипит серебром, брызги бесследно тают в синеве воздуха. Вода бешеными валами налетает, готовая опрокинуть и поглотить караван.

Долбачи торопят животных. Мы угрожающе кричим на них с берега. Учаг под проводником не достает дна, неожиданно всплывает. Вода перехлестывает через выюки остальных животных. Один олень, заспотыкавшись, наступает на поводной ремень, падает, начинает биться в воде. Идущих следом за ним оленей сбивает течение. Они мешаются, совсем запутываются. Караван задерживается на самой быстрине. Долбачи что-то отчаянно кричат нам.

Я бросаюсь в поток. Ноги на скользких камнях теряют устойчивость. Кажется, река, собрав всю силу, накидывается на меня. Она сбивает с направления, сносит ниже к гудящему перекату. Но мне после невероятного напряжения удается задержаться и встать на ноги у самого края слива. Павел подбирается к оленям, перерезает ножом поводные ремни, и животные выходят следом за Долбачи на берег. Только один не поднялся, его подхватила вода, бросила ниже, ко второму перекату.

Примерно через километр мы должны были стать табором, поэтому здесь не задержались. Выжали воду из одежды, просмотрели выюки и тронулись. Погибшего оленя оставили в реке на корм тайменям, а выюк с него положили на учага.

Только мы выбрались на береговую возвышенность, как увидели караван оленей, спускающийся навстречу. Вот, оказывается, кого испугался сохатый.

Впереди на большом олене ехал эвенк. Больше никого с ним не было.

— Илья омахтинский, с Учюра, — сказал Долбачи, узнав каюра.

Подъехав ближе, тот легко соскочил с оленя, бросил повод, и мы поздоровались, пожав друг другу руки.

— Моя люди потерял, — прошептал он обветренными губами.

— Как потерял?

— Совсем.

Эта новость меня ошеломила.

— Кто был с тобою? — спросил я.

— Елизар, фамилию моя не знает.

— Елизар Быков? — подсказал Павел.

— Быков, Быков.

— Где же ты его потерял?

— Он на Ямбуи ходил, не вернулся.

— Сколько дней, как он пропал?

— Два, — виновато ответил каюр.

— Ты искал его?

Глаза Ильи вдруг раскрылись и бессмысленно застыли.

— Искал ты его? — повторил я в гневе. Илья не ответил, и я почувствовал, как кровь ударила мне в виски.

— Где твой табор, откуда ушел Елизар?

— Тут, за марью, — сказал он, кивнув головою в сторону Ямбуя.

— Пошли туда и там решим, что делать, — предложил я, обращаясь к своим спутникам.

— Туда ходи я не могу, — запротестовал Илья каким-то неестественным голосом и отвернулся.

— То есть как это "не могу"? — спросил строго Павел, и его лицо густо покраснело. — Может, Елизар заболел или заблудился, а ты бросил его и не хочешь искать?! Нет, пойдешь!

В глазах Ильи блеснула ярость. Губы задергались, приоткрылись, и он лизнул их кончиком языка.

— Бери олень, вьюк, бери все. Илья близко Ямбуя один шаг не ходи! -- закричал он.

— Почему же ты не хочешь идти? — спросил я как можно спокойнее.

— Не ходи моя туда...

— Может быть, ты знаешь, что случилось с Елизаром?

Каюр стоял перед нами ошестинившись, как пойманный в ловушку зверь, и молчал. Его взгляд был Диким и острым.

Я вижу Илью впервые. Нет, это не добродушный, доверчивый эвенк, дитя природы. Он озлоблен, горит ненавистью. Понять не могу, что с ним.

— Клянусь, если что и случилось с Елизаром, то не без его участия, -- выпалил Павел.

— Ну знаешь, это слишком!..

— Да поймите же: Елизар вырос в тайге с ружьем, лучший соболятник во всей округе, разве мог он заблудиться? Не иначе, Илья что-то, с ним сделал.

— Долбачи, — обратился я к проводнику, — может, тебе он скажет, что случилось с Елизаром?

Тот пожал плечами и, подумав, сказал:

— Тут близко его табор, надо ходить туда, потом говорить будем, как и что.

— Пошли.

Илья решительно подошел к вьючному оленю, отстегнул бердану, отошел на два шага.

— Бери! — яростно крикнул он, кивнув на оленей, и стал, как мне показалось, так, чтобы легко и быстро можно было приложить ложе ружья к плечу.

У меня с плеча сполз ремень карабина и леденящий холодок прошел от пяток до волос.

— Ты смотри!.. Шутить с тобою никто не собирается. — Павел шагнул к Илье.

Стало жутко в наступившем молчании. Казалось, пошевели ногою или открой рот, и произойдет страшное, непоправимое. Я еще не видел Павла, этого добрейшего человека, неспособного муху обидеть, таким гневным. И, глядя на Илью, подумал: "Этому человеку ничего не стоит сейчас разрядить бердану в упор". Но тут подошел к Илье Загря. Он бесцеремонно обнюхал каюра и, усаживаясь рядом, скопил на меня умные глаза — дескать, ничего же плохого нет в этом человеке, уж я-то людей знаю! Илья вдруг опустил отяжелевшую бердану, унял прерывистое дыхание. Но на сжатых губах так и осталась накипь злобы.

— Трогай! — крикнул Павел Долбачи и, подняв с земли конец поводка, повел за ним связку оленей Ильи.

Я шел следом, за караваном. Метров через пятьдесят оглянулся. Каюр стоял на том же месте, не отрывая от нас взгляда. И хотя мы готовы были тут, под Ямбуем, встретиться с Любой неожиданностью, исчезновение Быкова показалось очень странным при таком подозрительном поведении проводника.

"Илья... Илья из Омахты..." — мучительно вспоминал я, всматриваясь в его смуглое лицо. — Он, кажется, работал в партии Самсонова... Какая-то история была с ним в прошлом году... Но какая? Нет, не вспомнить. А Быков не заблудился. В этом можно поклясться. Что же с ним приключилось?.."

— Павел! — окликаю я его. — Ты не знаешь этого каюра?

— Помните историю на Гунаме? Это проделка его, Ильи из Омахты!

...В прошлом году, в октябре, после окончания работ, не вышло с Алданского нагорья подразделение наблюдателя. Прошли все сроки. Легла зима, стужа сковала землю, начались снежные бураны. Вблизи района работ не было ни стойбища, ни поселений. Из-за непогоды нельзя было послать на поиски авиацию. Никто не знал, что могло случиться с людьми. К концу работы у них уже не оставалось продуктов и не было зимнего обмундирования. Их было четверо! А время шло. Только когда к концу месяца установилась летная погода, одному из летчиков удалось разыскать людей на реке Гунам, километрах в семидесяти ниже устья реки Ытымжи, где работало подразделение. Сбросили продукты, теплую одежду, печку. И через три недели всех их здоровыми вывезли на оленьих нартах в поселок Нагорный.

Что же произошло в отряде?

Наблюдатели, закончив работу, спустились на оленях к Гунаму. Каюрами были Илья из Омахты и еще какой-то паренек из этого же стойбища. Выпал снег. Надо было торопиться. Илья отпросился с паренком съездить за мясом убитого им сокжоя. Они уехали и пропали, явно обрекая людей на гибель. Позже Илья оправдывался тем, что заблудился в пургу, заболел и не мог вернуться, но никто этому не поверил.

Не бросил ли он и тут в какой-то беде Елизара? Но зачем это ему?

За редколесьем открылась бугристая марь, затянутая ржавым мхом и ягелем. Мы долго искали сухое место и отаборились на берегу маленького ручейка, по которому стекала с мари ледяная вода необычайной прозрачности.

Илья не приходил.

Прямо против лагеря высоко поднимается скалистый Ямбуи, заслонивший полнеба. Голец весь открыт глазу, он изрезан расщелинами и опоясан скалами. Человек может заблудиться лишь на равнине, и то разве в туман, когда она особенно коварна своими однообразными перелесками и озерами. Но в ясные дни над равниной, как маяк, господствует Ямбуи. Даже самый неопытный таежник не смог бы сбиться с направления при таком ориентире. А все эти дни была хорошая погода.

Но тут я ловлю себя на мысли: ведь и Петрик исчез в ясную погоду, и Евтушенко. Нет, тысячу раз нет! Они не заблудились, и тут не случайное стечение обстоятельств. А два погибших эвенка? Одно ясно, на Ямбуе творится что-то неладное; и нам надо быть очень осторожными.

— Павел, — обращаюсь я к радисту, — сейчас же натягивай антенну, выходи в эфир. Нужно связаться со штабом.

— Я и сам об этом подумал... Вот ведь какая чертовщина получается! Неужели Илья убил Елизара? Ну тогда пусть не просит пощады! — И он, взяв топор, отправился вырубать мачты, размахивая руками во всю ширь, точно с кем-то расправляясь.

Мы с Долбачи стащили в одну кучу груз, натянули над ним тент, поставили капитально палатку. Тут придется надолго задержаться. Я бегло просмотрел все вьюки Ильи, но ничего подозрительного не обнаружил. Проверил потки с вещами Елизара. Ремешки на них были завязаны бантиком, так ни один эвенк узлы не вяжет. Значит, каюр не интересовался их содержимым. Странно, все это очень странно...

Илья вернулся на табор, когда мы заканчивали устройство лагеря. Он даже не подошел к своим оленям, чтобы отпустить их на корм. За него это сделал Долбачи. Илья развел себе отдельно костер, повесил чайник, затем перетасил туда свою постель, потки с продуктами и, повернувшись к нам спиной, сидел один, чужой, подавленный, злой.

Я составил радиogramму Плоткину:

"Позавчера на Ямбуе исчез Елизар Быков, прибывший к гольцу с каюром Ильей из Омахты. Срочно соберите все сведения об этом каюре. Радируйте мне. Завтра при наличии погоды направьте к нам самолет, обследовать прилегающую к Ямбую низину. Предупредите экипаж: над равниной надо продержаться с полчаса, чтобы Быков смог успеть развести костер, дать о себе знать. Наша стоянка против Ямбуя с западной стороны. Результаты поисков сообщить нам с борта самолета. Завтра

посылаю своего каюра за наблюдателем Цыбиным. Его люди примут участие в поисках пропавших".

Павел стучит ключом, посылая в эфир позывные, слушает и снова стучит, стучит, стучит... Но эфир не отвечает.

— Любой ценой, Павел, свяжись!..

В поисках заблудившегося человека в тайге наиболее надежное средство самолет. С небольшой высоты земля просматривается хорошо, и если затерявшийся услышит гул моторов — должен разжечь костер, дым сразу выдаст его присутствие. Поиски Елизара Быкова с воздуха могут быть неудачными только в том случае, если он мертв.

Сейчас одиннадцать часов. Медлить нельзя. Надо идти на поиски. Но с кем идти? И куда? Павел должен во что бы то ни стало связаться со штабом. Долбачи рано утром отправится на своем быстроногом учаге за наблюдателем Цыбиным. Он работает на одной из сопки за Удюмом, километрах в двадцати пяти от нас. Тот должен привести сюда все свое подразделение с оленями, палатками и недельным запасом продовольствия. Остаемся мы с Ильей. Может, удастся заставить его идти со мною. Но я тотчас же отказался от этой мысли. Сам черт не знает, что у него на уме.

— Ни наших, ни соседей нет в эфире, — сообщает Павел.

— Радиограмма должна быть в штабе сегодня, а как это сделать — тебе виднее. Пойду на поиски Елизара. Ты следи за Ильей, чтобы он тут чего не нашкодил.

— Куда же вы пойдете один? Беды бы какой не нажить. Место-то какое проклятущее: кто ни сунется на голец — конец. Завтра вместе пойдем.

— Если Илья не врет, что Елизар ушел на вершину Ямбуя, то прежде всего надо обследовать подножье гольца, не спустился ли он на равнину. Тогда я перехвачу его след, и мы будем знать, где его искать.

— Ну разве так. Но и к подножью не следует одному идти, как бы...

— Пойду с Загрей, — перебил я его и стал собираться.

И тут представилась мне вся эта местность, огромная, с коварными болотами, с быстро бегущими речками, стланиковыми крепями, непостижимая, пугающая. Не так-то просто разыскать в ней затерявшегося человека, тем более когда он не может дать знать о себе.

Нет, ни походы, ни пурга, ни горные пики, ни голодовка, ни тяжелые котомки страшны в экспедиционных работах. Самое страшное — гибель людей. Вот тогда мы вдруг начинаем отчетливо понимать, как опасно терять мужество в нашей работе, как непростительна беспечность. Даже самое испытанное в трудностях подразделение при потере человека надолго выходит из строя. А здесь на Ямбуе происходит уже совсем что-то невероятное.

Еще раз пытаюсь разобраться в событиях. Быков работал десятником на этом участке, все ему тут знакомо. Тайгу Он исходил вдоль и поперек, не раз преодолевал опасности. Энергии в нем хоть отбавляй! Что же могло с ним случиться? Может, захворал? Это тоже сомнительно. Мы, привычные к походной жизни, в тайге редко болеем. Не знаю, вырабатывает ли организм таежника какие-то могучие средства, убивающие в зародыше всякую хворобу, или так получается от того, что в тайге нет злокачественных инфекций и условий для их распространения. Конечно, имеет большое значение и то, что мы живем в постоянных походах. Наши мышцы хорошо натренированы, кровообращение благодаря постоянной физической нагрузке у нас могучее, нервы редко сдают -- такому организму не то что с насморком, а и с холерой нетрудно справиться!

Может, Елизар сломал ногу или из трясины не в силах выбраться. И, наконец, самое ужасное, если к его исчезновению причастен каюр. Что таит этот человек в своем злобном молчании?

— Долбачи, — говорю проводнику, — прошу тебя, очень прошу, завтра пораньше поезжай за наблюдателями.

— Сам вижу, надо скорее люди сюда тащить, искать Елизара.

Подхожу к Илье, сажусь напротив на валежину. Он пьет чай. Хочу еще раз попытаться выжать из него какие-нибудь подробности исчезновения Елизара. Как нужны они мне сейчас! Проводник делает вид, будто не замечает меня, отхлебывает чай, но выдают глаза, в них непотухающий злобный блеск.

— Когда ушел Елизар с табора, утром или вечером? — спросил я насколько мог спокойно, доброжелательным тоном.

Илья, не торопясь, дожеввал лепешку, хлебнул из кружки горячего чаю, долил свежего. Будто не слышал моих слов. Я терпеливо ждал. Но он молча продолжал жевать мясо, изредка с пренебрежением поглядывая на меня. Не знаю, что стоило мне сдерживать себя.

— Утром или вечером ушел Елизар? — повторил я, призвав на помощь все терпение, всю волю. Теперь нет сомнения, он что-то скрывает и издевается надо мной.

Кусая губу, я глушу в себе бешенство, сижу, жду, когда каюр допьет чай, уберет в потку посуду, сахар, остатки лепешки.

— Может, ты скажешь, что случилось с Елизаром?

— Ямбуй ходи, вернулся нету, — твердит он.

— Это я уже слышал. Где он поднимался? Молчание.

— Ружье с ним? — настойчиво спрашиваю я, а про себя твержу: "Спокойно, спокойно".

Илья отвернулся, набивает трубку, прикуривает и затем чуточку придвигается ко мне. Трубка каждый раз после двух-трех затяжек затухает. Он снова прикуривает от уголька и, как глухонемой, молчит.

— Не собирался ли Елизар после Ямбуя спускаться к озеру на охоту? Может, слышал выстрелы или крик?.. Да отвечай же, черт бы тебя побрал, или я тебя... — И я едва удержался чтобы не стукнуть Илью.

Он продолжал невозмутимо молчать.

Следователь из меня оказался никудышный. Я встаю, беру карабин, бросаю в рюкзак чайник, кусок вяленой оленины, банку сгущенного молока, лепешку, кружку. Проверяю, есть ли с собою спички. Привязываю к поясу Загрю.

Заглядываю к Павлу в палатку.

— Никто не отзывается, — говорит он.

— Карауль, времени еще много.

— А вы не запаздывайте: может, к ночи действительно злые духи тут собираются, как бы того...

— Никакого "того", Павел, не будет. Жди, к вечеру вернусь. Передай Плоткину, чтобы самолет был здесь пораньше утром. Всего хорошего!

— Ни пуха, ни пера!

Долбачи, провожая меня, предупреждает:

— Смотри, напрасно Ямбуй не ходи, одному нельзя, место худое, видишь, как люди тут пропадают.

— Не беспокойся, Долбачи, я это знаю. А ты завтра поторопись.

Появившееся у горизонта утром мятежное облачко исчезло. Небо густо-синее. Если дни будут солнечными, мы скоро выясним, что происходит на этом Ямбуйском гольце, и тогда повернем назад, к своим. Скорее бы!..

В ЗАПАДНЕ

Шагаю звериной тропой. Слева в скалистых берегах ворчит Реканда. Справа спокойная, ласковая с виду марь. За нею Ямбуй. К подножью его подступает болото. День теплый, мягкий. Взлетела пара кряковых уток, всплеснула воду и унесла на крыльях в тишину предупреждающий крик. Иду по кромкам болот. На поводке неохотно плетется Загря. Не пропускаю ни одного следа, но попадают только звериные, старые и свежие. Человеческих следов не видно.

Под ногами зеленый ковер вековых мхов. Местами забредаю в корявые дебри перелесков. Шагаю через сгнивший, трухлявый валежник порушенных временем

деревьев. Шлепаю по травянистым болотам. Пересекаю края замшелых отрогов и шумливые ручейки, сбегающие с гольца. Кругом только мхи да разноцветные лишайники — желтые, зеленые, красные, серебристые. Здесь нет и клочка земли, лишённого растительности, даже камни, скатывающиеся с гор, за несколько лет обрастают мхом — все же это обиженная природой страна.

Чем ближе, тем грознее кажется Ямбуи. Исполинские зубчатые скалы опоясывают его разрозненными рядами. Высокие, черные, они, как древние крепости, защищают Ямбуи от холодных северных ветров и сами рушатся под гнетом неумолимого времени.

Продвигаюсь вдоль подножья. Все тут слишком однообразно: скалы, узкие ложбины и волнистые гребни начинаются почти у самой вершины гольца и внизу неожиданно обрываются темными утесами. На них сторожевыми маяками торчат одинокие, голые от старости, сучковатые лиственницы.

Иногда я взбираюсь на утесы. С них видно все как на ладони. За марью, укрывшись среди мерзлотных бугров, бирюзовые озера. В вечерней дреме перелесков темнеют болота, а дальше тайга, изуродованная, жалкая, на муки поселившаяся тут, на зыбкой глинистой почве. Небозримые дали лежат в мертвом молчании, в вековом забвении. Здесь все нетронуто с первобытных времен.

Солнце клонится к щербатому горизонту. Дня остается мало, пора возвращаться. Но впереди показался мысок. С него, кажется, будет видно не только равнину, но и северный склон Ямбуя. Это соблазняет меня.

Из-за Ямбуя на равнину угрожающе надвигаются мрачные тучи. Я даже не заметил, когда они появились. Над головою толчется мошкара — непременно к дождю. Скорее бы добраться до мыска, и на этом придется закончить день.

Иду по широкому просвету перелеска, пробираюсь по ернику. По пути открываются голубые чаши озер, ровные, спокойные, окаймленные вечнозеленым троелистом. На зеркальной глади воды — чудесные кувшинки, раскрывающие навстречу теплу свои бледно-желтые восковые лепестки. Эти цветы кажутся неизвестно как попавшими сюда пришельцами из сказочного мира.

Передо мною гладкое поле, прикрытое темно-зелеными мхами. Ни деревца, ни кочки. На нем никаких следов. Звери, видно, обходят его стороною. Легко и мягко ступаю по влажному мху, как по пружинному матрасу, и вдруг спохватываюсь — да ведь это же зыбун! Бросаюсь назад, но зыбкий моховой покров неожиданно рвется под ногами. Меня начинает засасывать тяжелая глинистая жижа. Делаю рывок, другой — еще глубже вязну, погружаясь в холодную, липкую пучину. Падаю грудью на мох, разбрасываю руки, стараюсь создать большую площадь сопротивления. Начинаю постепенно без резких движений высвобождать ноги из сапог. Потом кое-как, с большими предосторожностями, достаю из зыбуна сапоги, вместе с пудовой тяжестью прилипшей к ним глины. Прodelываю все это лежа, и на четвереньках, вместе с Загрей, добираемся до края темно-зеленых предательских мхов.

Не могу простить себе эту оплошность! Пройди я еще немного дальше, где растительный покров, прикрывающий жижу, тоньше, пожалуй, и не выбрался бы. Какую хитрую западню устроила природа для ротозеев!

Может быть, именно здесь, в зыбунах, бесследно погибли эвенки и наши товарищи.

Выхожу на чуть заметную звериную тропку, снова иду вперед.

В вышине, на фоне не прикрытого тучами неба, замечаю двух каких-то хищников. Почти не шевеля крыльями, они описывают круги над склонами Ямбуя, оглядывая с высоты местность.

"Они-то наверняка знают, где Елизар", — подумал я, наблюдая за ними. И точно в подтверждение, сверху донесся гортанный крик: "Кек-кек!.. Кек!.." -- напоминающий отдаленный лай.

Я остановился. Одна из птиц стремительно пошла на спуск. Отбросив назад сильно согнутые крылья, она зловеще прочертила небосклон, исчезла за лиственницами. Беркут!

Вскоре оттуда, где исчезла птица, послышалось какое-то странное бормотание. Я впервые слышу этот звук и не знаю, что означает он на языке хищников. Не упал ли беркут на мертвого Елизара? Но беркут питается только свежей, живой дичью!

Тучи захватили полнеба. В их молчании таится что-то грозное. Вот и ветер пронесся ураганом над тайгой. Сумрак спустился над равниной. На далеком озере кричат чайки.

На глаза попадают только следы сохатых и северных оленей, места их кормежек, помет. Видимо, с весны, после постройки геодезического знака на Ямбуе, сюда не заходили люди. Точно какой-то магнит тянет меня вперед. И все кажется: вот сейчас, за очередным мыском, наткнусь на след Елизара или увижу дымок его костра.

Нет-нет да и гляну на Загрю. Собака спокойна — значит, поблизости нет ни человека, ни зверя, иначе она не оставалась бы безучастной.

Небо все больше затягивалось чернотой мятежных туч, и по нему торопливо проплывала разрозненная стая кроншнепов. На озерах, предчувствуя непогоду, стихали птичьи распри и крики. В березовом перелеске жалобно посвистывал рябчик. Черные цапли месили длинными ногами илистые берега...

На мыске, у крайнего болота я остановился. Дальше идти не было смысла, и вот-вот накроет дождь. Пора перекусить и возвращаться на табор. Еще раз внимательно осматриваю мрачные склоны Ямбуя, строя догадки. Допустим, Елизар с вершины гольца спустился к озерам подстрелить на ужин уток. Но тогда непременно остались бы его следы. Я все время шел по кромке мхов, по отмелям болот, по влажной почве, где следы хорошо видны.

Нет, он не спустился с гольца на равнину.

Из глубины гор налетел ветер, запели дупляные лиственницы, лес зашумел, и далеко по равнине пронесся гул.

За мыском виден северо-восточный склон Ямбуя, врезающийся в густую высокоствольную тайгу. Туда Елизар тем более не пойдет, нечего ему там делать!

Развожу костерок из стланикового сушняка.

Дрова горят жарко. Надеваю на толстый ерниковый прут кусок копченки, пристраиваю его к огню.

За вершиной Ямбуя ярким светом моргнула гроза. Земля вздрогнула. Костер, распавшись на угли, затухал. Надо торопиться в обратный путь. Я разрезал лепешку, заложил в середину горячее, пахнущее дымком мясо, и только поднес его ко рту, как какой-то еле уловимый звук долетел до моего слуха со стороны болота, и передо мной возникло чудовище... Я так и замер с открытым ртом. Ловлю всполошившегося Загрю, прижимаю к земле, а сам прирос спиной к лиственнице. Готов поверить, что это страшилище из преисподней, разбуженное грохотом неба.

Не шевелюсь, жду, что будет дальше. Вот оно качнулось в одну, в другую сторону, приподнялось, вытащило из тины поочередно ноги, шагнуло и снова утонуло в податливом болоте. С его несоразмерно больших рогов свисали длинные лоскуты.

Чудовище слегка повернулось в сторону, и по мягкому овалу спины я узнал сожжю — дикого оленя, обитателя заболоченных равнин. Его огромные, до уродства вздыбленные рога были увешаны шмотками только что отставшей кожи. Она свисала ему на глаза, на морду, и с первого взгляда ни за что было не узнать, что это за зверь. Не дай бог повстречаться с ним на болоте, да еще в грозную ночь! Тут уж или поверишь в злого духа, или с тобою случится что-нибудь похуже!

Я стал затаенно наблюдать с пригорка за сожжюем.

Зверь брел по болоту, то и дело утопая по брюхо. Шагал он бесшумно, как по перине, и до того же медленно и равнодушно, будто спал на ходу.

Что затуманило звериную голову, откуда у него такая беспечность? Не остановится, чтобы осмотреться, не прислушается, головы не поднимет, идет как будто бесцельно, куда несут его ноги.

Он жирен, и осенняя шуба на нем так и лоснится.

Схватить карабин, приложить к плечу — дело секундное. Но сейчас не до охоты. Убьешь, да пока освежишь, да вытащишь из болота — пройдет ночь, устанешь и

завтра никуда не сможешь пойти. "Нет уж, живи, да считай, что тебе повезло!"

Над головою снова загрохотало небо. Молния, ломаясь и падая, больно жалила землю. Равнина содрогнулась от долго не прекращающихся разрядов. Над озером взметнулись птицы. На склоне горы кудахтали перепуганный куропат. Только сокжой оставался равнодушным к разгневанному небу. Спокойным шагом он мерил кромку болот и вскоре скрылся в разлохмаченной ветром тайге.

Засунув в карман недоеденную лепешку, я схватил рюкзак и карабин. Окинул быстрым взглядом небо: угольная чернота поглотила горы, накрыла болота, и сквозь нее слабо маячила вершина Ямбуя. Нагорье как будто приподнялось, ушло на запад к еще светлому простору горизонта.

Ветер уносит тревожный крик чайки. Со склонов гольца доносится какой-то шум; вначале он напоминает то обвал в далеких горах, то ураган. Но вот все шумы сливаются в один нарастающий гул. Все ближе, все яснее. Кажется, будто на нас мчится полчище диких лошадей. Я слышу звонкий перебор, цоканье копыт по россыпи.

Град!..

Где укрыться? Впереди небольшая скала, но далековато, не успею добежать. Левее за болотом густой стланик, правее, в глубине ложка, темнеет ельник. Бросаюсь в ельник. На ходу отстегиваю Загрю. Он бросается назад и через минуту уже несется по кромке болота, следом за старым сокжоем.

Черно-лиловая туча кишит огненными змеями. Невыносимой яркости свет слепит глаза. Из-под ног уплывает мертвенно-бледная россыпь. Нет, и к ельнику не успеть!..

Слева, справа, впереди, все чаще и ближе, рвутся на камнях ледяные комки, будто наводчик нащупывает цель. Градовой поток настигает меня метров за двести до ельника. Накидываю на голову рюкзак. Град усиливается, больно бьет по плечам, по рукам, которыми я прикрываю лицо, по коленям. Что-то теплое стекает по лбу, по щеке и солоноватым привкусом копится на губах. Кровь... Только бы не свалиться!

Притихшие тучи распахнулись бездной света, озарив на мгновение в глубине ельника стволы деревьев, кусты и... избушку. Откуда тут взяться человеческому жилью? Но думать некогда. Теряя последние силы, добираюсь до ельника. И здесь нет надежного укрытия. Синий свет молнии опять выхватывает из мрака избушку. Я даже успеваю рассмотреть дверь, она открыта, но кажется странно низкой. Бегу к ней и протискиваюсь внутрь, в темноту. Град обрушивается на ельник с еще большей силой, но я уже отгорожен от него надежной крышей.

Что за странное помещение? Оно слишком тесное и низкое, чтобы можно было в нем жить. Ни одного окна. Кому и зачем надо было строить его в этом безлюдном крае, да еще в таком глухом ложе? Но что оно построено совсем недавно человеческими руками — в этом нет сомнения.

В сумраке случайно задеваю рукой за какую-то проволоку, хватаюсь за нее. Что-то срывается над головой и, падая с грохотом вниз, гасит внутри избушки остаток света. Бросаюсь к двери, но уже поздно — тяжелая заслонка намертво закрыла вход. Неужели я попал в западню?..

В темноте ощупываю пол, углы избушки, прикидываю высоту: она не более полутора метров. Наконец в стене обнаруживаю узкую прорезь — бойницу.

Проклятье! Я в медвежьей ловушке.

Мною овладело неудержимое желание вырваться из западни. Подбираюсь к заслонке, жму на нее, сколько есть силы, плечом. Не поддается!

Пробую выбраться через потолок. Хватаю руками крайнее бревно, упираюсь в него головою, пытаюсь приподнять. Нет, не сдвинуть. Вспомнил, что потолок в ловушке так заваливают камнями, чтобы самому крупному медведю его не разобрать.

Неужели не выбраться?..

Гоню от себя тревожные мысли. Но предчувствие большой беды уже не покидает меня. Безнадежно забираюсь в угол, опускаюсь на пол. Сквозь щели меж бревен льются потоки воды. Сижу не шевелясь, прильнув к мокрым бревнам. На мне уже нет сухой нитки. Холод проникает внутрь, леденит душу.

Надо же было какому-то дьяволу построить эту ловушку на моем пути!

Ливень вдруг прекратился. И так же неожиданно смолкли небеса. Но еще слышался в отдалении отступающий гул и вой ослабевшего в тайге ветра.

Меня лихорадит. В мыслях — костер. Я уже вижу, как пламя жадно пожирает еловые сучья и чувствую, как теплый смолевой запах заполняет избушку. Но от этого становится еще холоднее, еще безнадежнее. Пытаюсь подняться — и не могу превозмочь боль. Кажется, здорово поколотил меня град!

В щель вижу лесную синеву и на горизонте разрастающуюся полосу ледяного неба. Лучи закатного солнца пронизывают разводья туч, падают на ельник. Их голубоватый свет сочится в западню сквозь щели в потолке.

Слов нет, мастер потрудился на совесть, сделал ловушку очень прочной. Стены ее хорошо протесаны. Углы без щелей. Пол накатный врезан в первый венец. Никакому зверю, даже разъяренному медведю, из нее не выбраться.

У тыльной стены висит поржавевшая проволока. Верхний ее конец пропущен через крышу к входному отверстию и там прикреплен к кляпику — деревянному сторожу, на котором держалась тяжелая заслонка. Ко второму концу проволоки, опущенному к полу, обычно прикрепляется приманка — кусок мяса. Медведь, почуяв запах добычи, забирается в ловушку, хватая приманку, тянет ее на себя вместе с проволокой, кляпик соскакивает, заслонка падает, и зверь оказывается в западне.

Но в этой ловушке промышленник насторожил заслонку, а приманку не подвесил. Что-то, видимо, помешало ему.

В трех стенах, боковых и тыльной, прорезаны небольшие бойницы продолговатой формы, овально затесанные изнутри. Когда медведь попадает в ловушку, охотник пропускает в одну из бойниц ствол ружья и приканчивает зверя.

А теперь вот я оказался на месте зверя!

Какая непростительная оплошность с моей стороны! Как мог я не узнать ловушки! Какой дьявол загнал меня в этот ельник? Мысли об Елизаре отступают перед собственной опасностью...

Надо бы согреться. Может, тогда легче будет найти какой-то выход. Снимаю одежду, выжимаю из нее воду, снова надеваю, съеживаюсь, дышу под мокрую телогрейку. Над ухом торжествующе гудит комар.

Отступившие к западу тучи гасят закат. В западне густеет мрак. Над щелью в потолке, тихо переливаясь, дрожит теплым светом звездочка. Но в западне адски холодно, не согреться. Только костер спасет меня. С трудом расправляю онемевшие плечи. Хочу достать спички, дрожащими руками шарю по карманам, за пазухой, ищу под шапкой... Боже, что я наделал, забыл на привале спички! Напрягаю зрение, сквозь мрак снова осматриваю стены, потолок, пол — никакой надежды. Ясно одно: выбраться можно только через входное отверстие. Но как поднять заслонку? Она сделана из толстых листовых плах, надежно вправленных в глубокие пазы. Припадаю к заслонке мокрыми ладонями, давлу на нее изо всех сил, еще и еще — и горько смеюсь над своей беспомощностью.

Разве попробовать поддеть ножом низ заслонки, приподнять ее хоть немного, чтобы в образовавшееся отверстие просунуть пальцы, — тогда я спасен?

На ощупь запускаю конец ножа в паз под заслонку и начинаю нажимать. Кажется, поддается. Да, да, заслонка поднимается. Я просовываю поглубже нож, еще один нажим — и вот-вот заслонка выйдет из нижнего паза. Осторожно нажимаю на рукоять ножа. Но что за чертовщина! Где-то наверху зажало. Я и так, я и эдак — не поддается! И тут вдруг вспоминаю, что заслонка медвежьей ловушки, падая, автоматически спускает вертушку и изнутри ее ни за что не отвернуть.

От досады я так нажал на нож, что он переломился пополам.

С горечью отползаю в угол. Молчит темная, глухая ночь. Мрачные мысли одолевают меня.

Может быть, под Ямбуем есть еще одна западня и Елизар сидит в ней так же, как и я. А ведь он, пожалуй, опытнее меня.

Как сложно устроена жизнь человека, сколько препятствий на его слишком коротком пути и как мало определено ему удачи! Сейчас, кажется, отдал бы полжизни, чтобы согреться. Холод становится пыткой.

Изнемогаю от длительного напряжения, от неприступных стен, от проклятого озноба, ни на минуту не покидающего меня. Сердце стучит все медленнее, все тяжелее. Застывшие пальцы с трудом шевелятся. Неужели в этой проклятой ловушке суждено мне так нелепо погибнуть? Выходит, и я тут, на Ямбуе, разделю участь пропавших товарищей...

Прижимаюсь к холодной стене. Так хоть спине теплее. В голову неотступно лезут тоскливые мысли.

...Человек рождается и умирает. Жизнь его слишком коротка. Со дня рождения его преследует смерть. Казалось бы, человек, давно должен был примириться с мыслью о ее неизбежности. Но не тут-то было! Жизнь слишком заманчива и дорога. И особенно начинаешь дорожить ею, когда угроза смертиреальна, как сейчас.

Подтягиваю под себя застывшие ноги, весь собираюсь в комок, дышу на заиндеветшие кисти рук. Нет, не согреться.

С завистью думаю о товарищах. Они дома, вне опасности.

Дома и меня тоже ждут, где всю жизнь я редкий гость. Насколько радостны бывают встречи, настолько больнее будут напрасные ожидания...

Какая длинная ночь!

Давно взошла луна. С елей все реже падают на каменную крышу капли влаги. Негромко журчит ручеек. Над ухом назойливо звенит комар.

Кажется, мы с ним вдвоем только и бодрствуем в этой сырой, настывшей ночи.

Откуда-то издалека доносится стук камней. Загря!.. Это он, мой верный пес! Как нужен ты мне сейчас! С каким наслаждением запустил бы я свои окоченевшие пальцы в твою лохматую шубу, зарылся бы в нее лицом. От одной мысли, что Загря будет рядом за стеною, мне как будто делается теплее. Если бы он на сегодня забыл о своей собачьей преданности, вернулся бы на табор и привел к ловушке Павла! Но разве Загря бросит меня!

Через минуту послышался хруст сушняка, прыжки в ельнике и тяжелое дыхание собаки. С ходу обежав вокруг ловушки и не найдя входного отверстия, Загря приподнялся на задние лапы, заглянул в бойницу; блеснули его зеленоватые глаза.

— Беда стряслась, Загря! — жалуюсь я и сам тянусь к бойнице. Но вдруг из узкого отверстия пахнуло жарким звериным дыханием, и свирепый медвежий рев потряс избушку. Точно взрывом отбросило меня назад. Мигом исчезла лихорадка, которая только что трепала меня.

Хватаю карабин. Злобный угрожающий рев зверя еще раз прокатился по ложине и низкой октавой повис над мокрым, исхлестанным градом ельником.

Я ошеломлен, не могу понять, откуда взялся такой смелый медведь, что не боится человека? Как бешеный носится он вокруг западни, пробует лапами заслонку, бревна, грызет углы и злобно ревет. Это вывело меня из оцепенения.

Стало как будто легче от того, что появился живой противник. Но что будет дальше?

Ловушка дрожит от медвежьих рывков. С потолка сыплются на пол мелкие камни.

Медведь начинает подкапываться под левый, тыльный угол избушки. Слышу, как он, разгребая землю, рвет зубами корни, когтистыми лапами отшвыривает из-под себя камни, часто дышит. У него, кажется, насчет меня самые серьезные намерения!

Досылаю в ствол карабина патрон. Прижимаюсь к стене и уже собираюсь пустить пулю под пол. Но тут меня осеняет мысль: пусть подкапывается, пусть разломает снизу пол, и как только он просунет морду внутрь — я и угощу его. Потом мне будет легче выбраться из западни.

Эта мысль меня подбадривает. И я немного успокаиваюсь. А медведь неистовствует. Подбирается ближе к полу. В темноте его рев страшен. Неужели он не отличает запах человека от запаха какого-либо зверя? Seriously хочет напасть на меня? Или у него атрофирован врожденный страх перед человеком и для него я просто добыча?

Облака прячут луну. Мрак накрывает землю. В западне черно, как в замурованном склепе. Медведь неожиданно притих. В тишине стало еще более жутко. Невольно проверяю, взведен ли боек затвора, и на всякий случай расстегиваю патронташ, чтобы быстрее можно было выхватить запасную обойму.

Жду...

В темноте ничего не видно. Воображение рисует разъяренного зверя, уже ворвавшегося в ловушку. Мне даже кажется, что я слышу крадущиеся шаги его и чувствую, как он заносит могучую лапу над моей головой... Понимаю, что это сдают нервы. И все же отодвигаюсь к углу, с опаской вожу стволом карабина впереди себя, а потом раскаиваюсь за проявленное малодушие.

Неужели ушел? Хочу крикнуть, обнаружить себя, заставить зверя вернуться, раздражить его, пусть ломает ловушку.

Нет, он не ушел. Снова слышу его шаги вокруг ловушки, сопение. Вот он просовывает нос в бойницу, громко втягивает воздух и свирепо ревет.

Запах человека явно бесит его. Он опять с еще большей яростью набрасывается на угол ловушки. Я отскакиваю к противоположной стене. Слышу, как острые клыки вонзаются в бревно, как медведь рвет зубами щепу и, не переставая, скребет когтями.

Пусть злится, пусть отвернет пару бревен в стене. Ему это ничего не стоит, а для меня спасение.

Избушка начинает пошатываться. Это, кажется, придает медведю силы. Он еще больше свирепеет.

Неожиданно в лицо ударяет свежий воздух, будто кто-то распахнул дверь. Палец мгновенно пристыл к гашетке. Скорее ощущаю, чем вижу, как бревно начинает отделяться от угла и в щель просовывается медвежья лапа с крючковатыми когтями. Они захватывают стесанный край... Ну-ну, поднатужься!..

Вдруг что-то треснуло, сверху посыпались мелкие камни. Избушка осела под тяжестью каменной многопудовой крыши. Вырви медведь еще одно бревно -- ловушка рухнет и раздавит меня, как мышь. Горячая кровь хлынула к сердцу. По телу побежали мурашки.

Отпрянув от стены, я замечаю, как избушка начинает медленно крениться. Не знаю, куда отодвинуться, — везде одинаково опасно. С потолка падают камни...

В этот момент рядом залаял Загря. Нет, Загря в беде не оставит! Медведь тут же бросился на Загря. Послышался треск сучьев, глухое рычание, загремела россыпь. Потом все это слилось в один гул. Зверь и собака уходили в темную ночь.

Прошли долгие минуты. Камни перестали падать. А не попробовать ли мне самому выбить еще одно бревно? И тогда я выберусь из западни.

Осторожно подбираюсь к порушенной стене. Но только дотронулся до бревна, как дрогнула вся стена и снова сверху посыпались камни. Ловушка с натужным скрипом перекосилась. Я отскочил к противоположной стене. Ощущение такое, будто у тебя над головой висит мина огромной взрывчатой силы с заведенным часовым механизмом. И стрелка подходит к роковой минуте.

Ищу рюкзак и не знаю, для чего набрасываю на плечи. Потом снимаю его, подкладываю под себя. Все это делаю механически. В голове какая-то пустота; хочется покурить, хотя в этом году я совсем не курил. "А что, если Загря погибнет в схватке с медведем? Тогда зверь не замедлит явиться, и будет достаточно одного его прикосновения к избушке — и она рухнет. Надо что-то делать. Не очень ли я растрчиваю время?"

Проталкиваю в щель рюкзак. Как сигнал крайней опасности, с потолка гулко падает тяжелый камень. И в наступившей тишине с пугающей внезапностью лопнула перекладина над головой. Ловушка готова рухнуть. Со слепым ожесточением набрасываюсь на перекосившуюся заслонку. Уж если погибать, то не сложа руки. Бью заслонку ногами, толкаю плечом. Избушка скрипит, где-то рвутся спайки. Опять сыплются камни.

Сколько раз на моем пути встречались, казалось бы, непреодолимые препятствия, но такого еще не случилось!

Подо мною вдруг начинает шевелиться пол. Стены оседают. Избушка продолжает перекашиваться по диагонали. Последняя надежда — карабин! Направляю ствол к правому краю входного отверстия и стреляю в упор раз за разом. Грохот падающих камней, треск бревен глушат выстрелы. Летят щепки. Ловушка наполняется едким пороховым газом.

Расстреливаю вторую обойму, и раньше, чем удастся сообразить, что произошло, вижу стволы деревьев и кусок ночного неба. В лицо плеснул теплый, освежающий воздух. Я бросаюсь вперед, как в воду. Падающее бревно больно бьет меня по ногам. Избушка валится, растревожив ночь треском и грохотом камней.

Встаю — и не верится, неужели надо мною небо, звезды?! Какие они теплые, эти небесные светлячки! Но мне холодно. Засовываю глубоко под телогрейку скрещенные руки. Бегаю вокруг ели. Немного согреваюсь. Но стоит остановиться, как под мокрой одеждой пропадает тепло, и я снова мерзну. Что же делать? Сходить за спичками к болоту? Нет, они наверняка размокли под дождем. Неужели никакой надежды? А что, если попробовать добыть огонь с помощью ружья?

Нахожу старый сухой пенёк. Разбиваю его ударом ноги. Разминаю трухлявую древесину. Нужен еще клочок сухой ваты. Но где его взять? Разве только под мышкой телогрейки. Снимаю ее, ощупываю. И на этот раз мне повезло. Вспарываю ножом телогрейку под одним рукавом, достаю клочок ваты, подкладываю под размятую труху. Разряжаю патрон, оставляю немного пороха, запыхиваю ватой и стреляю в землю. Пыж должен бы загореться. Но, увы! Видимо, я оставил в гильзе слишком много пороха, и вату разметало.

Неудача порождает упорство. Еще под другим рукавом телогрейки есть сухая вата.

Сдираю с березы кору, тереблю ее на мелкие части, затем нахожу кусок пня, сгоняю сломанным ножом тонкую стружку, смешиваю ее с берестой — все это кладу за пазуху. Расстилаю на земле телогрейку и стреляю маленьким зарядом в сухое пятно под рукавом. Вата задымилась. Кладу на дымок стружки, труху, дую долго, пока не загорается береста.

Вот он, огонь!

Переношу его на землю, подкладываю мелкого сушняка и ногами тушу телогрейку. А сам жадно глотаю горячий воздух.

Собираю дрова, разжигаю большой, жаркий костер. Слушаю, как, разгораясь, он шумит победным пламенем.

Снимаю сапоги, мокрую одежду развешиваю вокруг костра. Заряжаю карабин. Присаживаюсь вплотную к огню. Хорошо! Это благодаря костру. Он согревает, ласкает, отпугивает оди-ночество, располагает к мечтам. И я вдруг оказываюсь где-то далеко-далеко от только что пережитого, в местах, где нет опасностей, и даже забываю, зачем пришел в этот холодный, таинственный край...

Небо прочертил огненный метеорит. Мигнувший свет на секунду раскрыл до горизонта мертвенно-бледную равнину. Луна огромная, белая, будто вылепленная из снега, плыла по небу, освещая молочной белизною заболоченное пространство нагорья. От него потянуло посвежевшим после дождя воздухом.

Пытаюсь уяснить себе, откуда взялся такой свирепый зверь. Ведь у медведя очень сильно развит инстинкт страха перед человеком, панический страх. Мои многочисленные встречи в течение нескольких десятков лет с хозяином тайги убедили меня в этом. Медведь не мог ошибиться, принять меня за четвероногого зверя. Чутье его никогда не подводит. Тогда чем же объяснить его поведение?

Все это более чем странно и загадочно. Я, пожалуй, назвал бы сумасшедшим того, кто рассказал бы мне ночную историю нападения медведя на человека в ловушке. Просто это какой-то исключительный случай, и надо в нем разобраться.

У медведя в тайге нет врагов, кроме человека. Обитатели леса давно признали его за самого сильного. Еще бы! У него на вооружении такая клыкастая пасть, такие когти, что никому неохота испытывать их на себе. Его приземистость, я имею в виду

короткие ноги, и кажущаяся неуклюжесть не мешают ему быть ловким и быстрым в нападении.

В местах, где его не беспокоят люди, он действительно владыка лесов. Ни один зверь не рискнет пойти его тропой, приблизиться к нему и оказать сопротивление, попав в его могучие лапы. А его запах, кстати сказать отвратительный, способен парализовать любого противника.

Среди таежных зверей медведица считается самой свирепой матерью. От кого же ей приходится защищать своих малышей? Как ни странно, злейшие враги потомства косолапых — взрослые медведи-самцы. Видимо, природа, создавая такого сильного, злобного и всеядного зверя, побоялась, что он очень расплодится и произведет опустошение среди животного мира, вот и наградила его, казалось бы, нелепым пристрастием пожирать свое потомство. Защищая малышей, медведица бесстрашно вступает в поединок. Схватка медведей — чудовищное зрелище. Заканчивается она обычно гибелью одного из дерущихся, чаще самки.

А что будет с медведицей, если она, прибежав на помощь малышам, увидит человека? Казалось бы, и тут это бесстрашное существо должно было остаться верным себе. Но этого никогда не бывает. Медведица постарается незаметно скрыться с глаз. Она не уйдет далеко от детей, но и не осмелится нападать. Страх перед человеком парализует даже материнский инстинкт.

Что же тогда заставило этого медведя напасть на человека? У него ведь было совершенно откровенное намерение поужинать мною. Может быть, это пещерный медведь, более свирепый хищник, сохранившийся на Ямбуе с древнейших времен? Натягиваю на себя высушенную у костра одежду. Достая из кармана недоеденный вечером кусок лепешки, поджариваю его на углях, откусываю маленькие дольки. Как это чертовски вкусно!

Близкий лай собаки, словно грозовой удар, поднял меня на ноги. Я щелкнул затвором, и этот привычный звук как бы и меня самого привел в боевую готовность. Из лесного мрака прорезались два угрожающих зеленых огонька. Цвет их мгновенно перешел в фиолетовый, затем в фосфорический. Стою, жду, когда зверь пошевелится, чтобы определить во мраке контур его туловища. А немигающий свет так и застыл впаянным в темноту.

Присматриваюсь внимательнее...

— Фу ты, дьявол, это же не зверь! — вырывается у меня.

Подхожу ближе. Поднимаю с земли пучок влажного мха, видимо вырванного медведем при схватке с Загрей. На его темном фоне два светящихся червячка. Их-то я и принял за глаза шатуна.

А ветер по-звериному ревет в соседнем перелеске, полощет надо мною темные вершины деревьев.

Где-то в стланнике глухо тьявкает Загря. Надо бы бежать на помощь, рассчитаться с шатуном, да где взять силы! Стою в раздумье. Страх перед медведем еще не отпускает меня.

Густеет синева предрассветного неба. Вот нерешительно, робко щелкнула птичка, помолчала, щелкнула смелее, громче.

— Спасибо тебе, милая синичка, за утро!

Ночь сходит с вершин Ямбуя. Посветлело в ельнике. Прислушиваюсь к сонному лепету осины, к звукам рождающегося в лесной тишине рассвета. Еще долго, неуловимо, как призрак, бродит по темным закоулкам ельника тревога. А небо все больше синее, и прежде чем погаснуть, ярче пламенеют звезды.

На равнине ветерок уже сеет беспокойство. Тронутый им туман поднимается высоко над болотами и легким облачком, точно парусник, стремительно несется навстречу восходу. Там, у края земли, облачко вспыхивает синеватым светом, поджигает небо и пропадает в холодном рассвете. Тьма медленно рассеивается. Уходит сумрак из ложков. На небе гаснут ночные капли слез. Приветствуя утро, кричит чибис.

Природа, измученная вчерашним ураганом, не в силах пробудиться. Трава не может подняться, ягель прибит к земле, деревья пожухли. На склонах Ямбуя белыми

пятнами, точно пластырь на ранах, лежит не растаявший за ночь град.

И вдруг грохот камней. Что это?

Из-за отрога к озеру выбегает несколько сокожоев-самок с телятами. Их гонит рогатый бык. У края воды все разом, точно наткнувшись на стену, останавливаются, поворачивают головы к ельнику.

Они увидели дымок костра. Крутят головами, нюхают воздух, пытаются определить, насколько опасен синий, уплывающий в небо дымок.

Какое великолепное зрелище — встревоженные звери!

Сокожи не шевельнутся, точно окаменели. Среди пугливых маленьких самок один крупный самец. Он кажется богатырем. Узнаю вчерашнего быка.

Он бросил на ельник угрожающий взгляд, отрывисто рявкнул, потряс своими рожищами, и все звери мгновенно рванулись вперед, перемахнули промоину и по троелистному болоту исчезли в мглистой равнине.

Утро рассеивает все: и страх, и усталость, и волнения. Возвращаются мысли о Елизаре. Никакого просвета, куда идти и где его искать?

Сквозь зеленую чащу крон пробилась первая лучи только что поднявшегося солнца и осветили рухнувшую ловушку. Она лежит раздавленной жабой на притоптанной медвежьими лапами земле и живо напоминает мне кошмары ночи.

Небо хмурится. Здесь, в северном крае, ненастье — частый гость. Теперь же осень, можно ожидать дождливых дней с туманами, которые надолго приходят сюда в это время с Охотского моря. А то и выпадает снег. Вот тогда нам уже не найти пропавших людей.

Павел, наверно, обеспокоен моим отсутствием, чего доброго сообщит в штаб и о моем исчезновении,

СЛЕДЫ, НЕ СМЫТЫЕ ДОЖДЕМ

Поднимаю ствол карабина к небу, стреляю. Загря должен услышать выстрел. С ближнего болотца поднялась стая пугливых гусей.

Постоял минут десять, послушал и, не дождавсь собаки, пошел на табор. Туман испарился, и как бы поднялись болота. Нагорье распахнулось предо мною зеленой Шубой хвойных лесов. В каждой травинке, в каждой капле влаги, в ветерке — радость жизни.

Пытаюсь вспомнить, какой сегодня день. А впрочем, зачем? У нас не бывает выходных — не важно, среда нынче или пятница. Да и часы не очень нужны. Мы привыкли угадывать время по приметам. Нас усыпляет темнота, будят зори.

Где же Загря? Пора бы ему догнать меня. Я все время оглядываюсь. На моем следу появляется серая точка. Она быстро приближается. Последние сто метров Загря трусит рысцей и, добравшись до меня, падает как подкошенный. Вид ужасный. Бока раздуваются, как кузнечные мехи, шерсть взъерошена, глаза затуманены. Из открытого рта свисает язык, и по нему нитями стекает на землю слюна.

— Бедный мой Загря! — Я треплю его за бакенбарды, прижимаю к себе.

Он герой, он заслужил большой похвалы — и я готов расцеловать его.

Ощупываю его ребра, грудь, лапы, провожу рукою по гибкой спине — ни царапины, ни ушибов. Зарываюсь в его пышную шубу, расчесанную в быстром беге по кустарникам, и слышу, как под рукою собачье сердце гонит кровь мощными ударами в такт учащенной работе легких. Загря закрывает глаза, обжигает горячим дыханием мое лицо.

Я задерживаюсь, пусть Загря отдохнет. Нахожу лунку с водою. Становлюсь на колени перед нею, хочу напиться. Из лунки смотрит на меня незнакомое, постаревшее лицо, с обострившимися скулами, обросшее густой щетиной и с запавшими глазами...

"Ну и личность, черт побери!" — И, напившись воды, топчу сапогом зеркальную поверхность лужи.

Все-таки где же Елизар? Неужели погиб в схватке с шатуном? Это могло быть... Но куда же девались еще четыре человека? Одни из них исчезли весной, другие летом,

когда медведей-шатунов не бывает.

Погода летная, может появиться самолет, дам задание экипажу обследовать и западный край равнины, откуда ночью донесся выстрел.

— Пошли, Загря!..

Но Загря не двигается, следит за мною лежа.

Я поднимаюсь, иду. И как только скрываюсь в лесу, собака встает, догоняет меня, забегает вперед, ложится и ждет, пока я не пройду. Затем снова обгоняет меня. Так мы подходим к краю мари. Вот и дымок костра, палатки, пасущиеся олени. Загря, увидев жильё, ложится, дальше не идет, Хочу взять его и донести на руках до палатки. Но тут из лагеря доносится отчаянный крик. Выбегаю из перелеска. Что же это?... Павел прижал Илью к лиственнице и трясет изо всей силы — так трясет, что кажется, вот сейчас у того оторвется голова.

— Негодяй, я тебя заставлю говорить! — кричит гневно Павел. На его побагровевшем лице проступают белые пятна. Кажется, он сейчас придушит Илью.

— Что ты делаешь?! — хватаю я Павла за руки. — Опомнись! — И освобождаю насмерть перепуганного Илью.

Павел с трудом подавляет в себе гнев. Поднимает с земли два листа бумаги, исписанные мелким почерком, и, подавая их мне, говорит раздраженно:

— Вот, прочтите радиogramму Плоткина. . Я только что читал ее этому мерзавцу.

— Говорю, Елизар Ямбуи ходи, назад нету, — перебил его Илья, пугливо прячась за моей спиной.

— "Назад нету"!.. — передразнил его Павел. И, поворачиваясь ко мне, повторяет: — Да вы прочтите, что это за субчик!

Илья не сводит с Павла налитых злобой глаз. О, как бы он сейчас разделался с ним, а заодно и со мною, и с этими бумажками!..

Я присел на пень и начал читать радиogramму.

"Илья в прошлом году, в начале зимы, бросил на реке Гунам группу геодезистов, обрекая их чуть ли не на смерть. В этом году он принес много неприятностей подразделениям экспедиции. Умышленно вывел из строя высокоточный инструмент, сорвал на несколько дней работу астрономов, сжег палатку. Считали, что это по халатности. Но был случай, который должен был насторожить все подразделения. Строителю Короткову, у которого работал Илья, надо было послать людей на одну из вершин Джугджурского хребта. Отправились техник Елизар Быков, рабочий и каюр Илья. По пути им надо было перейти речку, но проводник отказался перевести оленей вброд, хотя до этого не раз переходили ее. Другого брода поблизости не было. На второй день Илья согласился продолжать путь, если сделают переправу для оленей. Быков уступил, да и нельзя было иначе. Лес пришлось таскать на плечах более чем за километр, через кочковатую марь. Таскали вдвоем, без Ильи, тот не отходил от дымокура. Только на второй день к вечеру Быков с рабочим уложил последнее бревно. Илья собрал оленей, завьючил их и... перевел животных через речку рядом с переправой. Елизар не удержался, наградил его пощечинами. "Хорошо помни: мы с тобой еще тайга ходить будем", — пригрозил ему Илья. С тех пор они никогда не были вместе. И вот случилось, что Елизару надо было срочно идти на Ямбуи по нашему вызову и некого было с ним послать, кроме Ильи..."

И я тоже склонен поверить, что Илья отомстил Елизару,

— Вот ты какой, Илья! — произнес я вслух и только теперь заметил, как он пристально следит за мной, пытаюсь прищуром потушить враждебный блеск в глазах. И откуда среди эвенков, этих добрых и отзывчивых людей, такой выродок?!

— Елизара моя не трогал, — сказал он твердо, решительно шагнув ко мне.

— Тогда где же он? Куда ты его упрятал? — немного успокоившись, спросил я.

У Ильи дрогнула нижняя челюсть; он смерил меня с ног до головы презрительным взглядом, отвернулся и медленно отошел к своему костру.

— Что слышно о самолете? — спросил я Павла.

— Скоро будет, уже два часа в воздухе.

— Пока есть время, будь добр, сходи вон к тому стланнику за марь, там лежит Загря, принеси его. Устал он сегодня.

— Загря устал? Да вы шутите!

— Какие же шутки, если он до табора не может добраться.

— Под зверя попал?

— Иди, потом расскажу... Да он, кажется, сам идет. Ну конечно.

Действительно, на тропке показался кобель. Трудно доставался ему последний отрезок пути до табора по кочковатой мари. Увидев нас, Загря решил приободриться. Он поставил торчмя уши и хотел было положить свой пушистый хвост кольцом на спину, как и полагается, но хвост не повиновался, свалился и повис между ног, упали уши. Подошел угрюмый, с опущенной головой.

— Бедный мой пес! Ну иди, иди, отдохни, скоро опять на поиски.

Загря крутится под лиственницей, выбирает место и ложится. Долго зализывает набитые до боли подошвы лап. Потом засыпает тревожным сном: видимо, во сне опять продолжает схватку с шатуном.

Я безмерно рад, что добрался до табора, рад и костру и теплу. Павел уже пристраивает к огню котелок с каким-то варевом и чайник.

Пока разогревается завтрак, я рассказываю своему спутнику о ночных приключениях в ельнике.

— Не будь со мной Загри — не знаю, чем бы кончилась встреча с шатуном. Уж и поискал бы ты меня!..

— Жаль, упустили косолапого! К пшенной каше не плохо бы сейчас медвежатники, — сказал Павел, снимая с огня котелок.

Горячо пригрело солнце. У дальней лиственницы, наблюдая за мною, сидит у костерка. Илья. О чем он думает? Какой план зреет в его голове?..

Павел разбавил теплой водой вчерашнюю кашу в чумане, поставил перед Загрей. Тот пробудился, не поднимая головы, покосился сонными глазами на чуман, но есть не стал.

— Летит! — радостно закричал Павел, подняв кверху голову и заслоняя ладонью свет солнца.

На фоне облака четко выкроился силуэт крылатой птицы. Я бросил на огонь охапку сырых веток, и над лесом, как гигантский гриб, поднялся толстый столб дыма.

Павел передает на самолет задание. Машина с гулом проносится над нами, огибает Ямбуи, парит над немим пространством. С борта мы неизменно получаем:

"Видимость отличная, никаких признаков присутствия человека".

Почти час самолет кружился над пустынным пространством, то припадая к топкой низине, то уходя вверх, реял над горами и улетел обратно, не оставив нам никакой, надежды.

— Илья! — окликнул я проводника, все еще сидящего у своего огня. -- Ты не знаешь, кто делал под Ямбуем медвежьих ловушки и сколько их тут?

Тот неопределенно повел плечами.

— Не знаешь или не хочешь отвечать? Илья, не поднимая головы, покосился в мою сторону, но рта не раскрыл.

— Да он же издевается! — вскипел Павел. — Чего молчишь?!

— Не горячись, — сказал я тихо. — Обозлится, натворит чего-нибудь и уйдет, потом ищи ветра в поле!

— Тогда зачем же ждать? Проще обезоружить его.

— Нам сейчас не до него. Давай-ка лучше завтракать, собираться и идти искать Елизара. Нельзя медлить.

— А если он сбежит?

— Коли захочет сбежать, он это сделает в любое время.

— Ладно... — соглашается Павел.

— Так вот, слушай. Люди придут завтра. Хорошо бы нам до их прихода обследовать вершину гольца.

— А как же с рацией? Не натворил бы чего! — Павел повел головой в сторону Ильи.

- Закрой на ключ, вот и все.
- Без рации мы тут пропадем!
- Ну и не брать же ее с собою!

Стали готовиться, и тут выяснилось, что у нас кончились лепешки. Пришлось почти на два часа отложить выход. Павел, засучив рукава, занялся тестом, а я прилег отдохнуть. Уснул мгновенно, даже не успев вытащить шишку, попавшую под бок, и положить под голову руку...

Этот сон после нервной встряски вернул мне бодрость и силы.

Идем налегке: два ружья, топор, в рюкзаках по паре лепешек, по куску мяса и по плащу, на случай, если застанет ночь.

Шагаем через марь. Загря еще не пришел в себя после ночных приключений, а мы снова тащим его с собою. Тайга напоена обилием запахов. В них кобель прекрасно разбирается, а это очень важно. Ведь мы, люди, ощущаем все зримо, запахи же дают нам смутное представление о местности, по которой идем. Тут человек и собака как бы дополняют друг друга: чего не увидит глаз одного, то уловит чутье другого.

Минуем последние ряды кочек, залитых черной, затхлой водой. Всюду неустроенность и бедность природы. Даже щедрая осень бессильна одеть в приличный наряд этот бесплодный клочок земли — марь. Только кое-где по обмежкам багровеют заросли голубики, да разве на мерзлотных буграх увидишь ярко-красную россыпь клюквы или гроздь дозревающей брусники!

За клочковатой марью начинаются стланиковые заросли, опоясывающие подножья Ямбуя. Идем на подъем. Чем выше, тем круче. По склонам серыми потоками стекают курумы — каменные россыпи. Сюда к ним выбрались прилипшие к обломкам белые камнеломки, пытающиеся украсить серую поверхность. Кое-где на влажной почве сиротливо торчат черноголовые осочки.

Никакие ветры не могут вырвать корни этих растений из тесных щелей, и стужи бессильны умертвить их. Видно, здесь создаются более приспособленные к суровому климату и каменистой почве виды растений. Пока что здесь все бедно, рождается уродливый: цветы крошечные, без запаха, деревья чахлые, даже небо бесцветное. И все же есть то, что приводит человека в восторг, — это удивительная стойкость растений в борьбе за право существовать.

И, поняв это, я увидел по-настоящему чудеса и могущество северной природы, открыл ее для себя. С тех пор хилые растения, вскормленные вечной мерзлотой, дупляные лиственницы, крошечные ивки, почвой которым служат россыпи да скалы, лютики, фиалки, расцветшие на снегу, вызывают во мне не чувство жалости, а восхищения!

Мы лезем, карабкаемся по прилавкам кру-тогрудого Ямбуя. Изредка устраиваем короткую передышку, и тогда взгляд устремляется к нагорью, лежащему теперь у наших ног. Мы впервые смотрим на него сверху. Отсюда оно кажется еще более безрадостным, потускневшим, будто вывернутым наизнанку. А у подножья Ямбуя — зыбуны, озера и озерки, как слезинки, щедро рассыпанные по ярко-зеленому ковру мхов.

Иногда задерживаемся, стоим молча. Ждем, не взовьется ли на равнине дымок, не долетит ли Стон Елизара?... Нет. Лес, озера, камни молчат.

— Врет, убийца, что Елизар ушел на Ямбуи. Он расправился с ним где-то в пути и посылает нас сюда, чтобы запутать следы. Ей-богу, это так! -- говорит Павел.

— Если мы на вершине не найдем следов пребывания Елизара, тогда заставим Илью повторить с нами путь сюда в обратном направлении.

— А что это даст?

— Если Илья расправился с парнем по пути сюда, думаю, мы обнаружим это. Он и Елизар, идучи сюда, пересекали голые отмели, ягельные поляны, где следы сохраняются очень долго, и мы легко определим, до какого места с караваном шли два человека и откуда шел Илья один.

— Наивно думать, что он этого не знает.

Взбираемся на самый гребень. Подъем перехвачен бесконечными террасами. Мы упорно ищем по пути отпечатки сапог на влажной тундровой почве, перевернутый камень или примятые стебли сибирского лука, еще встречающегося здесь на большой высоте в осеннее время. Но напрасно, тут до нас никто не проходил.

Павел идет неровно, спотыкается. Настроение у него мрачное.

— Дьявол меня попутал! — сокрушается он. — Надо же было вызвать именно Елизара, ведь пойдя с Ильей другой — ничего не случилось бы. Теперь буду носить всю жизнь этот грех... Чем оправдаюсь перед его семьей?..

Встречный ветерок холодит лицо. Загря идет спокойно, ничто не возбуждает его любопытства. По крутому подъему развилины скал. Каким гнетущим безлюдьем овеяны эти древние руины и мертвые курумы Станового!

Павел сбрасывает с плеча винтовку, стреляет в воздух. Звук обшарил крутые склоны, ложки, соседние гребни. Ответом была полная тишина.

— Если Елизар сломал ногу и лежит тут где-то на россыпи, он бы ответил выстрелом. Без ружья парень никуда не ходил, — говорит Павел, еще раз разряжая винтовку.

Теперь он идет впереди и с первого шага берет хороший темп. Я не отстаю.

Солнце плывет по ухабам бегущих туч. Справа — Становой. Он все время у нас на виду. Цепь за цепью встают ряды ощетинившихся отрогов. За ними открываются новые, еще более синие, хребты — старые, бесплодные, нагие, еще не знающие человека. Но какой простор! Какое чудесное зрелище — настоящий праздник для глаз.

Выходим на вершину. Сбрасываем котомки. И сразу догадываемся, что тут совсем недавно кто-то был. Вот и доказательства: порванный бланк для определения редукции на пункте, потухший дымокур. Вершина вся сложена из крупных камней, она совсем без растительности, и побывавший здесь человек, к сожалению, не оставил на ней никаких видимых отпечатков.

— Да, тут был Елизар. Больше некому, — прихожу я к единственному выводу, продолжая обшаривать площадку.

— А вот и окурки... свежий... Еще один!

Павел нагибается, берет их в руки, передает мне.

— Но ведь Елизар не курил, — недоумевает он.

— Странно, чьи же они?

Павел, подойдя к краю обрыва, вдруг резко выпрямился. Теперь и мои глаза обнаружили там подозрительное углубление. Впечатление такое, будто здесь, у самого края глубокого обрыва, совсем недавно кто-то долго боролся. Россыпь разворочена, камни разбросаны. Заглядываем вниз. По крутому скосу торчат клыкастые уступы, сбегаящие на дно скалистого цирка. Никаких следов. Да, если бы они и были, то не могли сохраниться после вчерашнего ливня.

— Поддержите-ка плиту, — попросил Павел и, став на колени, запустил под нее руку. Что он там нашел, я не видел, но его лицо вдруг засияло.

— Гильза! — вскрикнул он торжествуя.

Я взял ее в руки, стал рассматривать. Это была стреляная гильза от германской винтовки "маузер", с обрезанной шейкой, приспособленной к бердане.

— Такие патроны я видел у Ильи — значит, он был здесь, — сказал уверенно Павел.

Мы долго стоим молча. Разные мысли, самые противоречивые, одолевали нас. Что могло тут произойти над пропастью? Какая связь между стреляной гильзой и этими разбросанными камнями? Если Илья тут убил Елизара, как мог он послать нас сюда?

— Может, и окурки его? — подумал я вслух.

Мы вернулись к отлитому под пирамидой бетонному туру, на котором геодезисты устанавливали свои тяжелые инструменты. На нем лежали найденные окурки. Я развернул один из них. Бумага оказалась не то от газеты, не то от какой-то книжки, напечатанной латинским шрифтом на эвенкийском языке.

— Конечно, его окурки, — говорит Павел.

— Нет, это еще не доказательство! — сомневаюсь я. — Такая бумага могла быть и у наших. Окурки мы, конечно, сохраним; они помогут нам установить, кто здесь был недавно.

— А я убежден, что Елизар убит, — упрямо и зло говорит Павел. — Если Илья убил его тут, на вершине, то труп под обрывом. Надо спуститься туда... — И, не дождавшись моего согласия, он снова направился к обрыву.

Помогаю ему спуститься с первого прилавка, и, цепляясь руками за выступы, он сползает вниз. Вместе с ним в глубину провала стекает гул скатывающихся камней.

Пока Павел обследует обрыв, я осматриваю восточный гребень Ямбуя.

Под ногами шаткий камень да пятна глины. На глаза попадают только отпечатки копыт снежных баранов, единственных обитателей этих скудных гор.

Дальше идти нет смысла. Усаживаюсь на камень. Слева хорошо видно плоское, как стол, нагорье. Все на нем доступно глазу. Справа овеванный древностью Становой. Неужели Быков или Евтушенко могли попасть туда, в этот сложный лабиринт гор? Но зачем?..

На вершине меня поджидал Павел.

— Тут ниже, метров пятьдесят, жуткая крутизна, — и, схватив меня за руку, подвел к краю обрыва. — Слышите, гудит?

— Камнепад.

— Вы думаете... Илья не знал про него? — спросил он так, будто я возражал ему. — Знал! Убил Елизара, спустил его по крутизне и сбросил вниз. Расчет прост: на дне ущелья его похоронит осыпь. Попробуй найди!

— Конечно, приди мы сюда до дождя, — вероятно, нашли бы подтверждение твоим предположениям.

— А стреляная гильза? — продолжал он возмущенно. — Окурки?! Не доказательства разве? А то, что он издевается над нами?! Думает, все шито-крыто. Вернемся, я возьму его за глотку, как миленький признается.

— У тебя, брат, приемы!.. Конечно, надо добиться от него признания. Но, прошу тебя, не горячись.

— Ну ладно, придем — погладите его по головке. — Павел обиженно отворачивается.

— Спокойно, Павел. Мне кажется, многое тут, на Ямбуе, запутано: звенки сваливают на злого духа, Илья ведет себя странно, и ко всему еще тут и шатун. Только Елизар, живой или мертвый, мог бы все это распутать.

— Вы думаете, что он жив? — Павел вопросительно смотрит мне в глаза.

— Нет, не думаю. Елизар — опытный таежник, дал бы о себе знать... А впрочем, чего в тайге не бывает!

— Что же будем делить?

— Продолжать поиски. Спустимся на дно, ущелья, чтобы проверить твои предположения.

— Тут нам не спуститься. Опасно. Надо идти кружным путем, но на это у нас не хватает времени.

— Пожалуй, ты прав. Поздно. Давай сегодня осмотрим северные склоны Ямбуя, а завтра обследуем дно ущелья; Ветер встречный, и, может быть, Загря что-нибудь почует.

Проходя мимо тура, я замечаю широкий протес на одной из ног пирамиды, мелко исписанный карандашом.

— Это еще от строителей осталось, — поясняет Павел.

Я подхожу ближе, читаю вслух:

— "За дровами надо спускаться точно на север, километра два. Вода у подножья Ямбуя, в роднике, примерно под азимутом пятнадцать градусов. Идти надо от пункта по каменным стоякам, а ниже — по заломкам".

— Вот и пойдем по одному из этих направлений. Лучше, пожалуй, к воде. Там и чайку попьем.

— Чайку не плохо. А лепешку я, пожалуй, съем на ходу, что-то проголодался.

Я прячу в карман бережно завернутые в носовой платок гильзу и окурки. Определяю по буссоли направление, засекаю дальние ориентиры, и мы покидаем вершину Ямбуя. Загря идет с Павлом. Он все время забегает вперед, голодными глазами следит, как тот жует лепешку, пока не получает от него кусочек.

КОТЕЛОК НА ДЕРЕВЕ

Спускаемся по карнизам.

Ветер, стужа и вода источили скалы, развалили их и измельчили в бесплодную пыль. Безграничные потоки курумов стекают по склону до самого подножья. Сползая, они заполняют овражки, щели, сглаживают террасы и внезапно обрываются, лишь только дотронувшись своими широкими языками до мокрых марей у подножья гольца.

Тут, на склонах, не видно признаков жизни. Курумы еще "молодые", неустойчивые. Им нет еще и миллиона геологических лет. На камнях не видно никаких лишайников, самых нетребовательных представителей растительного мира. Здесь еще активно продолжается разрушительный процесс гор.

Мы переползаем через прилавки, протискиваемся в щели между крупными обломками, прыгаем с камня на камень. Ниже неожиданно натываемся на тропку. Она помогает нам выбраться из хаоса руин; и тут наконец мы видим каменные стояки, о которых написали строители на ноге пирамиды.

Тропка бежит вкось склона по ягелю. Мы прощупываем глазами каждую вмятину на ней, каждый куст, каждые потревоженные лишайники, осматриваем каменные стояки. Нет, человек и тут, кажется, давно не ходил.

Ниже тропка заметнее. В воздухе разлит хвойный аромат. В лицо бьет тугой теплый ветер. Податливые стланики гнутся под ним, припадают к земле.

Через полчаса вступаем в заросли редких кустарников. Дальше они постепенно густеют, исчезают просветы.

Откуда-то доносится одинокий крик хищной птицы. Мы останавливаемся. Небо пустое. Неужели где-то поблизости пируют орлы? Мои нервы за последние дни, кажется, слишком взвинчены.

Павел скручивает сигарку. Красным огоньком вспыхивает спичка у рта, и синеватый дымок прикрывает его лицо. Крик хищной птицы не повторился, но тревожные мысли, навеянные им, так и остались в душе.

Стланики неохотно пропускают нас. Пахучие ветки хлещут по лицу, стелющиеся по земле стволы мешают идти. Зато сколько в этих зарослях хвойной свежести!

— Глухарь, смотрите, глухарь! — слышу шепот Павла позади.

Я давно заметил темное пятно на дереве, но не мог разобраться, что это такое. Прячась за стланик, мы подбираемся поближе, одновременно выглядываем, — да так и замираем: на макушке высокой лиственницы висит котелок, зацепившись дужкой за сломанную вершину.

— Что за чудо! — восклицает Павел.

— Откуда бы котелку взяться? — говорю я, пораженный находкой не меньше моего спутника. — Кому и зачем понадобилось повесить его на вершине?

Павел, не торопясь, вытаскивает из рюкзака топор, плюет на ладонь, подходит к лиственнице.

— Никудышные мы с вами следопыты! Котелок за глухаря приняли, -- говорит он и ударяет топором по стволу.

От первого удара топора котелок вздрогнул вместе с вершиной, зазвенел, будто ожил. Но не упал. Его бури не смогли сбить, а что удар топора! Пришлось рубить лиственницу.

Видно, котелок долго висел на дереве: железная дужка вся изъедена ржавчиной, стенки внутри позеленели. Но он был еще крепкий.

— Да ведь это экспедиционный котелок. Но такие котелки в тайге не бросают. Не иначе тут кроется какая-то чертовщина!

— Не слишком ли много здесь этих чертовщин! — перебил я Павла.

— Посмотри-ка, не клеймо ли это на ушке?

Павел взял у меня котелок, достал нож, соскоблил с ушка ржавый налет. Ясно обозначились две буквы: "С. П."

— Сергея Петрика этот котелок. — Павел нахмурился.

— Неужели он на гольце заблудился и погиб?

— Да где же тут заблудиться — все на виду. Что-то другое случилось.

— Странно... Почему же люди весной не заметили котелка? Ведь они долго искали Петрика.

— Все были убеждены, что он утром ушел с гольца поохотиться на болото, там и искали, — ответил Павел. — А позже решили, что парень погиб в зыбуне.

— Каким же образом котелок его оказался так высоко на лиственнице?

— Может, он на шатуна нарвался?

— Весной шатунов не бывает... Вот ведь задача!

Мы долго ходили вблизи срубленной лиственницы, осматривали каждый кустик, каждую полянку, заглядывали под камни, вскрывали подозрительные холмики зеленого мха — и все напрасно. Время ли стерло следы событий или их вовсе тут не было?

— Пошли, Павел, после вернемся сюда, когда найдем Елизара, — сказал я, и мы двинулись дальше.

Где-то слева в зарослях стланика опять прокричала хищная птица. Послышалось резкое хлопанье крыльев, но никто с земли не поднялся.

Мы шагнули на звук. Неприятное чувство вызвал этот хищный крик. Пробежали ложок. Где-то близко должны быть птицы. Но никого нет. И крика не слышно. Перешли еще один ложок. Вернулись обратно. Что за дьявольщина?! Неужели обманулись — и это кричала не хищная птица? А кто же? Не Харги же тешится над нами?

Долгий день разлился по зарослям теплом. Нежно вечерело. Над землею дремотный покой. И легкие облака, белые, бесконтурные, спешили к далекому горизонту, опережая уставшее солнце.

Подумалось об Илье. Не натворил бы он чего на таборе! В порыве злобы сожжет рацию, палатки, постели, уничтожит продукты и уйдет. От него всего можно ожидать... И я уже не мог освободиться от тревожных мыслей.

— Уже поздно, давай-ка подвигаться к стоянке, — предложил я.

— Пора. У меня в восемнадцать часов связь со штабом, — охотно откликнулся Павел.

Свернули влево от тропки к косогорам, через стланики, овражки, стали спускаться к подножью Ямбуя. Изрядно проголодались, решили у первого же ручейка перекусить. Вот и край зарослей, впереди широкий лог, весь открытый, заросший ягелем, обставленный с боков ельниками. По дну его серебрится ручеек, стекающий к болотам.

С маленького пригорка хорошо была видна равнина, изъеденная озерами, как оспой, и прикрытая лоскутами зеленой тайги. Павел ушел с котелком к ручью за водою, а я, сбросив котомку, стал осматривать местность.

— Чайку вскипятим или закусим и запьем холодной водою? — спросил Павел, ставя котелок на камень и присаживаясь ко мне.

— Чайку бы хорошо попить.

— Недолго и согреть, я мигом соберу дровишек. — И он хотел было встать, да так и остался на корточках, не отрывая глаз от чего-то замеченного им в логу.

— Видите? — прошептал Павел. — За ельником на склоне. — И он показал пальцем в сторону холма, что виднелся за боковым распадком на расстоянии полукилометра от нас. — Смотрите через край ельника и чуть выше — черное пятно шевелится.

Я направил туда бинокль — и чуть не ахнул: будто рядом со мною беспечно копался в земле приземистый и неуклюжий медведь, весь поглощенный кормежкой.

— Да ведь это вчерашний шатун, будь он проклят! — вскрикнул я.

Я узнаю его. Узнаю не по приметам, а скорее всего каким-то внутренним чутьем. Это он добывал меня из ловушки, и я загораюсь желанием отомстить ему. А медведь поворачивается к нам мордой, показывает широкий белый нагрудник. Сомнения нет — шатун! Вот теперь мы один на один. Кто кого...

Проверяю карабин — полностью ли заполнена патронами магазинная коробка, а сам поглядываю на склон, как незаметно подобраться к шатуну.

Ветер дует под острым углом к медведю, это опасный ветер, к тому же он дует прерывисто, неуверенно, может изменить направление, накинуть дух на зверя.

— Отойдем в сторону и там решим, что делать, — сказал я, набрасывая на плечи котомку.

— Не лучше ли подняться по склону и свалиться сверху прямо на него?

— Это рискованно, а нам надо действовать наверняка. Медведь — зверь осторожный, хитрый. С ним ухо держи востро!

Мы свернули на соседнюю возвышенность. Теперь ветер тянул сбоку. Мы находились вне опасности быть обнаруженными зверем.

У Павла из-под ног сорвался камень и с грохотом покатился вниз. Мы остановились, и я угрожающе показал ему кулак. Шатун вдруг повернулся вполоборота к нам и с минуту простоял, почти не шелохнувшись, затем, вытянув морду, он долго обнюхивал воздух. Тревога исчезла, и медведь, опустив голову, продолжал пастись.

Нас разделяло расстояние примерно в четыреста метров и две лощины, образующие ниже распадок. Можно было бы сократить расстояние еще метров на двести, но ветерок слишком неустойчив, в любой момент мог подвести.

— Вам надо взять повыше и правее, подобраться к тому большому камню, за кустарником, — шепнул Павел.

— Попробую. А тебе придется быстро перемахнуть через отрог, добраться до той, дальней скалы и там засесть. Мы будем на одинаковом расстоянии от зверя. Если меня медведь учует или увидит раньше, чем я пущу в него пулю, он непременно махнет через лощину на отрог к тебе. Ты уж не обмишулься, постарайся, иначе он серьезно займется тобой. И уж если схватишься с ним, помни: он левша.

Лицо Павла вытянулось.

— Левша?..

— Да, левша. Что же тут непонятного? Можешь на себе проверить.

— Нет уж, избавьте! А вот если вы раните зверя, он тоже бросится через отрог? — спросил Павел, почесывая затылок.

— Вероятно. Так что не прозевай, у него и у раненого нахальства хватит задержаться возле тебя.

— Я бы не хотел иметь с ним дело. Да, вот еще что... На всякий случай, и вы поосторожнее с ним, очень близко не стреляйте, можете шкуру испортить, — и он смущенно улыбнулся.

— Постараюсь об этом не забыть. Проверь, в порядке ли винтовка.

— Ни пуха, ни пера! — И Павел зашагал по склону.

Следом за ним на сворке неохотно поплелся Загря.

Мне надо было переждать, пока Павел не появится возле скалы. Я уселся на камень и, доедая лепешку, наблюдал в бинокль за медведем. Это был действительно крупный самец, великан, почти черной масти, с белой манишкой во всю грудь. Продолжая кормиться, он лениво вышагивал по косогору, переворачивая под собою камни и лакомясь всякой мелкой живностью: кислыми муравьями, личинками, насекомыми. Собирая эту скудную дань со склона, он то и дело поднимал голову — ждал, не набросит ли откуда запах большой добычи.

Через минуту медведь уже трудился над норой бурундука и был полностью поглощен работой. Острыми когтями передних лап он разрывает землю, отгребает ее под себя и далеко отшвыривает задними ногами. Так он может без усталости копать час, два, относясь к своему делу чрезвычайно серьезно, пока не доберется до кладовой, где бурундук хранит свои запасы. А каково зверьку! Бедняжка, он, вероятно, забился в самый дальний уголок своего убежища и ждет неизбежной развязки.

Медведь, после долгой возни, выворачивает огромный камень и вдруг падает на все четыре лапы — ловит бурундука. Затем, не поднимаясь, откинув зад, начинает пировать, доставая отборные ягоды, ядреные орехи, душистые корешки...

У останца появилась и исчезла фигура Павла. Я уже готов был покинуть свое место, как медведь неожиданно вскочил и насторожился, чуточку сгорбив сильную спину, точно готовясь к прыжку. Так он простоял долго, не шевелясь, темной глыбой на склоне холма. Потом медленно повернул голову в сторону скалы, где только что появился Павел.

Ветер, совсем потеряв направление, мечется как шальной, то дует справа, то слева, будто ищет кого-то. Придется ждать. И я не без тревоги смотрю на покрасневшее солнце. Где-то далеко на болотах плачет чибис. Скоро закат.

Но что это? Медведь почти неуловимым движением разворачивается, да так и застывает на месте. Его внимание привлекает таежка, что виднеется в глубине распадка, метрах в двухстах от него. "Неужели Павел решил подкрасться к нему снизу?" — не без досады подумал я, направляя туда бинокль.

Нет, то не Павел. Из ельника выходят два сокжоя — бык и самка. Они отдыхали в тени ельника, и теперь пришел час их вечерней кормежки. Потягиваясь и расправляя поочередно задние ноги, они осмотрелись, постояли и стали пастись. Хищник в одно мгновение скатился на дно ложка и, скрываясь за волнистым рельефом, стал быстро подбираться к сокжоям. Он припадал к земле, весь вытягивался и полз на брюхе не торопясь, боясь выдать себя.

Каким он вдруг стал ловким, осторожным!

Его отделяют от добычи лишь заросли низкорослых стлаников. Он приближается к ним еще медленнее, еще осторожнее, ощупывая место, куда поставить лапу, и выгибает спину, чтобы не задеть ветки кустарника. Но голову с настороженными ушами держит высоко. По запаху он знает, какое остается расстояние до сокжоев, в каком направлении они идут и сколько их,

На краю зарослей медведь задерживается. Встает на дыбы, смотрит через кустарник. Прямо перед ним молодой ельничек, за которым кормятся сокжои. Он долго стоит, как пень, видимо решая, откуда удобнее напасть. Потом опускается на землю, вышагивает из кустарника, направляется к ельнику.

Медведь скрывается за изломом. Теперь — ни минуты промедления! Мне надо добраться до края отрога раньше, чем медведь успеет напасть на сокжоев.

Ветер усиливается. Стараюсь избегать мелкие шаткие россыпи, прыгаю, как горный баран, с обломка на обломок, перемахиваю через мелкий кустарник. Иногда задерживаюсь посмотреть, что творится в лощине.

Огибаю каменистый гребень. За ним крутизна. Бешеными скачками преодолеваю последние метры подъема. Из-под ног вниз срываются камни и щебень. Еще минута — и я на носке у обрыва. Сбрасываю котомку, унимаю сильно бьющееся сердце. Выглядываю из-за камня.

У таежки все так же пасутся сокжои. Животные поочередно поднимают рогатые головы, прислушиваются к тишине, нюхают воздух. Ничто не выдает опасности. Но сверху мне видно, как медведь уже подползает к ельнику, как он припадает к земле, крадется" как росомаха, чуя близкую добычу.

У края ельника хищник выглянул из-за пня и тут же залег. Шерсть на загривке поднялась дыбом. Предательский ветер шуршит в кронах деревьев, шумит листвою и проносит мимо сокжоев опасный запах.

Шаг за шагом сокжои, как слепые, подвигаются к ельнику.

Они от медведя метрах в двадцати...

Можно стрелять, но в эту минуту во мне пробуждается страстный натуралист. Неодолимое желание увидеть развязку глушит остальные чувства, и я на какое-то время забываю, что, собственно, привело меня сюда, забываю обо всем и, не отрываясь, слежу за медведем. Только руки все еще крепко сжимают карабин.

Между хищником и сокжоями расстояние все уменьшается.

Меня крайне удивляет поведение медведя, в таких случаях шатун проявляет больше наглости, этот же на редкость осторожен.

Глупые рогачи! Остановитесь! Рядом опасность! Нет, не чувят. Самка с маленькими вылинявшими белыми рогами медленно вышагивает впереди... И вдруг сокжои поворачиваются назад. Какое-то мгновение они стоят, точно парализованные, затем оба враз в диком ужасе бросаются вниз по распадку. Удирают изо всех сил, звонко стуча копытами по камням. Словно соскочившая пружина, из засады вылетает медведь. Он, как лев, с первого прыжка берет поразительную скорость и в беге на короткую дистанцию превосходит сокжоев.

Расстояние между ними быстро тает. Я приседаю на колени, упираюсь плечом о камень, вскидываю карабин. Наплывающий грохот камней под медведем разрывает тишину, но стрелять еще рановато.

Медведь быстро настигает отставшую самку, заходит сбоку. Все несутся, почти не касаясь земли: вот они бегут рядом, все ближе и ближе ко мне. Сокжои в паническом страхе налетают на кустарник, бросаются в сторону. Медведь опережает их. Еще три, пять метров — и хищник, изловчившись, хватает добычу пастью за шею снизу, дает такой тормоз всеми четырьмя ногами, что сокжой, подбросив высоко зад и перевернувшись в воздухе вверх брюхом, падает спиной на мох. Это было выполнено с такой ловкостью и с таким точным расчетом, будто медведь всю жизнь тренировался класть добычу на землю именно так, в быстром беге.

Темная глыба наваливается на жертву. С противоположного отрога доносится хлесткий выстрел. Следом разряжаю карабин и я. Медведь сваливается с жертвы на россыпь, но через мгновение уже стоит на ногах, могучий, бесстрашный. Он водит головой, готовый к нападению, и угрожающе ревет.

Почти одновременно прогремели еще два выстрела. Зверь зашатался; несколько секунд он силился удержать равновесие, но стал оседать на зад и мягко, будто боясь ушибиться или наделать шума, свалился на камни.

Высоко на склонах Ямбуя смолкает его глухой предсмертный стон.

Я громко свистнул от радости. Мне ответил Павел. И стало так легко, будто мы сделали самое главное дело, убив шатуна.

Закатное солнце скрылось за серым плотным сводом вечерних туч. Сумрак накрыл распадок. Ветер стих. Над отрогом в синем безмятежном воздухе упражнялись в быстром полете стрижи, да где-то внизу возник гусиный крик.

Сокжой трудно и долго поднимается на ноги, трясет шубой и, увидев рядом медведя, хочет прыгнуть, но, споткнувшись, падает, снова поднимается и шагает к таежке, все время оглядываясь.

На гряде отрога появляется Павел. Он энергично машет мне шляпой, идет подпрыгивая. Отпущенный Загря несется с головокружительной быстротой вниз по россыпи.

Я смотрю в бинокль. Медведь лежит на левом боку, прикрыв передней лапой морду и широко раскинув задние ноги.

— Вот мы и встретились! — произнес я удовлетворенно и стал спускаться по крутому откосу в распадок.

Какое-то странное состояние овладело мною. Обычно охотничья страсть бурно проявляется во мне, пока я преследую или скрадываю зверя. Тогда я становлюсь рабом этой страсти, могу ползти сотни метров на животе, спускаться по опасным обрывам, переходить топкие болота. Убитый же зверь на меня действует удручающе. После выстрела гаснет охотничья страсть. Но сегодня сам себя не узнаю: доволен, как мальчишка.

Мы сходимся с Павлом на дне лога.

— Сподем тебя, дружище! Убить шатуна не шутейное дело! — И я искренне пожимаю ему руку.

— Можно вправду подумать, что только я один герой.

— Чья пуля задержала зверя, тому и честь, того и поздравляют с полем, понял?

Солнце угасало за лиловыми хребтами. Болота парились легким туманом, сквозь него слабо золотилось грустное нагорье. Над нами кружилась пара хищных птиц. В шелесте осоки засыпали сонные озера. То тут, то там слышались всплески и шепот пролетных птиц, готовящихся в ночь покинуть озера.

А Загря тешится — рвет зубами хребет зверя. Глазищи бешеные, рычит, не может унять злобу. С трудом оттаскиваю его, привязываю к стланику. Он еще долго не может успокоиться.

Разводим костер и начинаем свежевать зверя. Это действительно крупный экземпляр восьми — десяти лет и, конечно, в расцвете сил. Такому ничего не стоит развалить ловушку. У него один глаз, второй вырван вместе с лоскутом кожи. Рана еще не зажила. Вероятно, во время гона он схватился с соперником и расплатился глазом за подругу.

В ложках сырой вечерний сумрак, и за краем отрога, на заросшем троелистом болоте нарастает птичий гомон. Далеко-далеко в сумерках над равниной слышится и уже не смолкает лебединый крик: "Янг... янг... янг..."

Эти нежные звуки становятся все слышнее, все ближе и ближе, наполняют грустью наши сердца. И из-за чахлого перелеска появляются белые птицы. В пустынном пространстве они кажутся огромными. Качаясь на крыльях, лебеди плывут по низкому горизонту, минуют пожарище заката, уплывают за отроги. С ними, постепенно стихая, смолкает их вечерняя песня.

Медведь на удивление оказался жирным. Никак нельзя было предположить, что таким окажется шатун. Толстый слой сала покрывал круп, спину, бока и все внутренности. В таком состоянии он вполне мог зимовать. Что же тогда сделало его шатуном, заставило ломать ловушку, лезть на человека? Неужели потеря глаза? Может быть. Ведь рана еще не зажила, и это вывело его из привычного состояния. Но я не уверен, что это так.

Разделяем тушу на десять частей — так удобнее для оленьего вьюка, и накрываем их шкурой. Подкладываем в огонь сырой валежник, — он будет долго тлеть. Я снимаю нательную рубаху, вешаю на ветку поближе к мясу — запах человеческого пота отпугивает зверей.

Уходим на табор. Идем мимо озер и болот, застывших в густой синеве ночи.

ГДЕ ПИРОВАЛИ ХИЩНИКИ

Через час, когда ночной сумрак окутал нагорье, мы пересекли последнюю марь перед Рекандой. Близко лагерь. Таинственно и росисто в ночных просторах нагорья. Слева угрюмо темнел Ямбуи, впаянный в голубеющее небо. Справа внизу бродил по реке туман, мешаясь с блеском перекатов. Позади стихал крик уставших в полете казарок. За сырой степушкой на фоне уснувших гор показался ельник. Но почему над ним не вьется, как обычно, дым костра? Да и оленей не видно, не слышно перезвона. А ведь животных нельзя оставлять в такие пасмурные ночи, когда мошка сатанеет без дымокуров, иначе они разбегутся по тайге, и их трудно будет собрать. Остаться без оленей в этих пустырях нам не очень-то улыбалось.

— Вы думаете, Илья забыл развести дымок? — спросил Павел, шлепая уставшими ногами по болоту.

— Конечно, нет. Этот негодяй просто сбежал.

— Наконец-то и вы согласились со мною. Я убежден и готов биться об заклад, что и случай на Гунаме, и исчезновение Елизара, и отсутствие сейчас в лагере дымокура — все это подлое дело Ильи. Причем это он делает умышленно и так нагло, будто ему все сойдет с рук. Надо, не откладывая, заняться им как следует.

Мы быстрее зашагали к палатке.

В лагере необычная тишина. Сомнений нет: Илья сбежал вместе с оленями, с потками, с вещами Елизара. Но наши вьюки как будто на месте.

У давно затухшего огнища стоял один старый хромой олень из связки Долбачи, склонив тяжелую голову над остывшим пеплом и не замечая нас.

— Не такой уж он, видимо, простачок, чтобы ждать наказания, — сказал Павел, но вдруг быстро метнулся в палатку, где стояла рация. К счастью, она оказалась на месте.

Я сбросил с плеч котомку и долго стоял, размышляя о том, насколько опасно для нас исчезновение каюра. Не задумал ли он расправиться и с нами? Что ему стоит вернуться ночью одному... Признаться, до последнего момента я еще не верил, что Илья виновен в гибели Елизара, и сам искал оправдания его поступкам. Это и помешало мне действовать более решительно. А надо было хотя бы обезоружить его.

Ночное хмурое небо низко висело синим плащом над брошенной стоянкой. На землю лег осенний туман. Сникли деревья. Мне вдруг захотелось уйти от всех этих неудач, сомнений, забиться в долгом сне.

Через несколько минут пошел мелкий морозящий дождь, однообразно шумя по ельнику. От него тянуло холодной, пронизывающей сыростью. Отяжелела темень. Ничего нельзя было различить в седой мгле ночи.

Старый олень не замечал нас, продолжал стоять у холодного огнища. Годы, тяжелая работа то в упряжке, то под вьюком высушили его бока, на спине проложили черные лоскуты потертостей, сделали его безразличным ко всему окружающему. Нижняя губа отвисла, уши упали, дыхание стало чуть заметным. Мошка за лето разъела ему ноздри, веки, толстым слоем копошилась в складках кожи, по всему брюху. Но его уже не тревожила боль и не пугало одиночество. Верность человеку не позволила старому оленю покинуть стоянку, хотя люди и не баловали его своей лаской.

Павел, растроганный преданностью старого оленя, подошел к нему и стал растирать разъеденные мошкой места.

Я разжег костер, и мы с Павлом отправились на поиски оленей. За громадами гор возшла в тучах луна. Небо чуточку посветлело, и из темной глубины ночи встали черные перелески. Мы долго бродили по топкой равнине, по ложкам, с трудом различая проходы. Олени стояли у брода через Реканду, сбившись в кучу, явно намереваясь перейти реку и уйти куда глаза глядят от брошенного людьми табора.

Но Илья, уходя, привязал всем им на шею тяжелые метровые поленья -- чанхай, которые при быстрой ходьбе били животных по ногам, цеплялись за кустарники, за кочки, всячески тормозили ход. Именно чанхай и задержал их у брода. Илья это сделал, конечно, ради Долбачи. Ему он не мог напакостить. И за то спасибо!

Возвращаемся с оленями на табор, угощаем их солью, снимаем чанхай, и животные уходят в темноту на кормежку. С ними уходит и хромой олень.

Я сижу у жаркого костра за дневником. Павел готовит немудрящий ужин. Он, как факир, священнодействует над пшенной кашей, колдует на моих глазах. Насыпает в котелок кружку пшена и заливает тремя кружками воды. Дает каше прокипеть минуты две, не больше, бросает в нее мелко нарезанный лук, чеснок, снимает с огня и плотно заворачивает в телогрейку. Сверху накрывает плащом. Через пятнадцать минут каша готова.

Непогода загоняет нас под пологи. Залезаю в спальный мешок. Хорошо, что судьба не лишила нас этого блаженства! Стараюсь скорее погрузиться в иной мир, где нет забот, загадок. Но голова тяжелеет от дум. Не знаю, на что можем рассчитывать. Мы, кажется, беспомощны разобраться во всем. Был бы с нами Карарбах!

И сегодняшней день ни на шаг не приблизил нас к разгадке. А улики, что собрали, как будто еще больше запутывают поиски. В нашу жизнь ворвалось нечто совсем необычное, непонятное, и не напрасно ли тратим мы время?

Из неведомых уголков души поднимается тревожное чувство, растет возмущение разума перед непостижимостью событий.

Не могу отвязаться от мысли проникнуть в тайну исчезновения людей. Пытаюсь найти связь между гильзой от берданки, разбросанными на вершине Ямбуя камнями, котелком и сбежавшим каюром. Предположим, Илья убил Елизара, а отчего погибли Петрик, Евтушенко и два эвенка? Кто так тщательно замаскировал следы

преступления? И почему все эти события произошли на Ямбуе? Случайность? Нет. Тогда что же?..

Наверняка причина гибели людей одна и та же, хотя они и погибли в разное время года: Петрик — весной, эвенки — летом, остальные — осенью. Допустим, смерть их поймала в зыбуне. Но ведь весной, да почти и до середины лета зыбуны еще мерзлые. Не могли они все попасть в ловушки — такое предположение невероятно. Видимо, надо начинать расследование с котелка, кто и зачем забросил его на лиственницу?

Ко мне под полог забрался мокрый Загря. Никогда этого с ним не было. Даже зимою в лютые сибирские морозы он не искал убежища в палатке. У него теплая шуба, с густым, как войлок, подшерстком. Обычно в непогоду он зароется в снег, соберется в комок, спрячет нос в лапы, в шерсть. Даже вой пурги до него не доходит.

— Зачем ты пришел? — спрашиваю собаку.

Она пристально смотрит на меня теплым взглядом, вот-вот заговорит. Я подтаскиваю ее ближе к себе. Каким дорогим кажется мне этот серый мокрый комок после ночи в западне, да и Загря, как видно, почувствовал ко мне еще большую привязанность! Это и привело его под полог. Он тряхнул шубой, окатив меня водяной пылью, и улегся рядом.

Я уже засыпал, как подо мною вздрогнула земля и тяжкий, долго не прекращавшийся грохот потряс уснувшую равнину.

Кажется, будто рушатся горы, падают вершины, и мы слышим, как со зловещим рокотом скатываются по крутым откосам глыбы скал, как трясется в испуге земля и воют ущелья, цирки, воздух!

— Камнепад в ущелье! — кричит Павел. — Считаю, совсем завалит Елизара!

Видимо, и Павел не спал, терзаемый теми же мыслями, что и я.

На дне ущелья еще долго ворчал обвал, и еще долго слышно было, как скатывались камни.

Наконец-то мы оба с Павлом засыпаем под шум дождя и шелест падающих листьев...

В тишину сочится шепот, все смелее, громче. Как чист и полон этот звук! То дрозд возвещает утро, тот самый дрозд, что вчера, провожая день, пел на закате.

И тут я замечаю сквозь матерчатую стенку полога, что наступил рассвет.

Загря потянулся, громко зевнул; неохота и ему покинуть теплое место.

Небо ясное. Ни одной тучи. День обещает быть солнечным.

— Ух, как морозит! Осень вступает в права! — восклицает Павел, разминаясь у огня.

В голубеющей вышине неба — распластанные крылья: медленно парит черный коршун. "Не очень-то радостное предзнаменование", — подумалось мне.

— С чего день будем начинать? — спрашивает Павел за завтраком.

— Надо осмотреть ущелье, заодно и камнепад.

— Вместе пойдем?

— Пойду один. Ты оставайся на таборе, свяжись со штабом, собери оленей и разожги дымокур. Иначе мы растеряем животных. Что скажет тогда нам Долбачи, да и не на чем будет выбраться из этого проклятого места. Потом к часу дня выйдешь на Ямбуи. Я постараюсь быть там.

— А дальше что?

— Дальше... Обследуем вчерашнюю тропку, где нашли котелок. Больше ничего не успеем сделать.

— Вы идите налегке, продукты я принесу.

— Нет уж, возьму сам. Знаешь эвенкийскую поговорку: мясо в котомке не тяжесть. Налей-ка еще чайку, да покрепче, и я буду собираться.

По марьям, редая, ползет серый туман, сглаживая волнистую поверхность нагорья, и стелется, нависая над шумливой Рекандой. Склоны Ямбуя угрюмо чернеют в робких лучах только что поднявшегося солнца.

Настроение у Загри хорошее — он рвется вперед. Это подбадривает и меня.

Пересекаем с ним замшелое болото. Чуть заметная звериная стежка, обходя топь, уводит нас в чашу и пропадает у высокой морены. Взбираемся на нее. Дальше глубокий каньон урезает Ямбуи с юга. Скалы нависают над ним почти отвесно. Шагаем по его каменистому дну.

Сюда не проникают живительные лучи солнца. До скал не доходят теплые ветерки, не обжигают их и снежные бураны. На крутых стенах гранита и в расщелинах лежат вечные тени и затхлая, никогда не продуваемая сырость. Но меня не это поражает. Нет! Я вижу на выступах древних скал прилепившиеся пучки зелени, в трещинах и между обломков крошечные ивки, папоротники, осочки; вся эта живая растительность — поэма борьбы, торжества жизни.

За второй мореной неожиданно оказываемся у входа в огромный цирк, выпаханный ледником, некогда покрывавшим Становой.

Дно цирка прорезает только что увидевший свет ручеек. Выбегая из-под вечного снежника, он скачет по камням, как мальчишка, догоняющий свою ватагу. Буйствует на крутизне, обдавая береговую зелень белой пеной. Ниже в него вливаются струйки боковых истоков, kloкочущие и холодные, родившиеся в пластах скал. Так начинаются все реки, берущие начало в горах.

Я придирчиво осматриваю скалы, спадающие в цирк почти от вершины Ямбуя. На крутых скатах они отполированы зимними обвалами и постоянным камнепадом. "Если Илья убил Елизара тут, на вершине гольца, и каюр знал о существовании камнепада, то труп он сбросил в пропасть", — вспоминаю слова Павла. В лиловую глубину цирка, к подножью северных скал, падает утренний луч солнца. От его прикосновения дрогнул лежащий на уступах туман. Посветлело.

Я вдруг почти физически почувствовал на себе чей-то взгляд сзади. Оглянулся — никого. Не ветерок ли подшутил надо мною! Перешагиваю ручей. Подбираюсь к левым развалинам, а сам нет-нет да и оглянусь; мне все еще кажется, что кто-то пристально следит за мною.

Шаги, стук камней, шелест кустарника необыкновенно певуче отдаются в тишине, будто звуки эти рождает баян, и скалы долго повторяют их. Из зарослей рододендронов доносится человеческий стон, да так ясно, что я тотчас же крикнул: — Елизар!.. Елизар!..

Вот сейчас из зарослей встанет Быков, позовет меня... Что за чертовщина! Не мерещится ли все это мне? Стою, прислушиваюсь — никого! В зарослях — никаких следов. Кричу, прошу отозваться. Цирк наполняется разноголосым гулом, затем наступает мертвая тишина. Ловлю на себе спокойный взгляд Загри, и сам успокаиваюсь. Конечно, меня подводят нервы. Но будь на моем месте Карарбах, попробуй убедить его, что это не злой дух Харги идет следом!

Выходим на последнюю морену. Цирк как на ладони. У крошечного озера ледникового происхождения гурт белых куропаток. Увидев нас, они сгучились, прижавшись к ягельной подстилке.

Все дно цирка завалено камнями. Дальше, слева, начинается осыпь. Всюду следы ночного камнепада.

Я слежу за поведением Загри. Если труп Елизара тут, кобель почует его даже под метровой толщей щебенки. Проходим с ним в одном направлении по осыпи, потом обратно, — никаких признаков! Или Елизар погребен слишком глубоко, или его здесь нет.

Перехожу на другую сторону цирка, чтобы наметить подъем на вершину Ямбуя. Правее от меня непрерывные, уходящие к вершине гряды скал. Они недоступны. Между ними неширокие полосы обнаженного гранита, по которым, как по лоткам, стекают потоки камней — место, не подходящее для подъема. Надо бы вернуться и выйти на гольц по своему вчерашнему следу. Но от этой мысли я сразу отказался. Попробую подняться именно тут, авось одолею крутизну, и, может быть, там, среди обломков, мне удастся обнаружить следы преступления.

В начале все идет хорошо. Небольшие, частые выступы помогают шаг за шагом набирать высоту. Где ногами упруешься, где схватишься рукою и перешагнешь щель.

Но выше круче, труднее, напряженнее.

Надо мною сырые стены, внизу пропасть. Я на крутизне среди скал. Они стерегут каждый мой шаг. Шаткие камни от чуть заметного прикосновения срываются, летят вниз, наполняя воздух гулом.

Дно цирка уже далеко позади. Из-за туч появляется солнце. Оно обнаруживает меня в тот момент, когда я ползу на четвереньках по карнизу. Горячие лучи приятно обжигают потный затылок. Свет и тени искажают неровности, изменяют очертания обломков и скал, затрудняют передвижение. С минуту передыхаю, пока глаза привыкают к контрасту, и лезу дальше, до первого гребня, спадающего с вершины Ямбуя.

Из-под ног срывается камень. Я успеваю схватиться руками за выступ. Гул уходит в глубину ущелья и там, дробясь, замирает вместе с эхом. Подтягиваюсь, восстанавливаю равновесие, приседаю на прилавок. Дальше не очень-то радостная перспектива, но отступать уже поздно. От частых снежных лавин и камнепадов гребень здесь сильно расшатан. Ни до чего нельзя дотронуться, все предательски ненадежно. Сажусь как на подпаленном динамите.

Из-под правой ноги срывается обломок, с грохотом летит вниз. Я теряю опору, меня тянет глубина. Сильнее прижимаюсь к откосу, но не удержаться, и начинаю сползать вместе с камнями в пустоту. Уже ощущаю ее край...

И тут, в момент смертельной опасности, какая-то сила, не подчиненная разуму, кидает меня с камней влево, на гладкий, почти отвесный откос гранита. Падаю, лечу вниз, но тут же вскакиваю. Меня настигают обломки, тянут за собой. Ноги чудом доносят меня до противоположного гребешка, бросают с силой океанского прибоя на карниз: хватаюсь скрюченными пальцами за угловатый камень, повисаю.

До боли напрягаю мышцы, подтягиваюсь на руках, с трудом раскачиваюсь и перебрасываю тело на карниз.

И тут же прихожу в себя. С ужасом смотрю вниз, прислушиваюсь к гулу скатывающихся на дно цирка камней. Ради чего этот безрассудный риск! Сколько раз я давал обет не ходить напрямик по незнакомым местам!

Через несколько минут снова карабкаюсь по гребню. Сверху спускается ко мне Загря. Мы рады встрече, будто давно не виделись.

Дальше крутизна ломается. Идти легче. Я осматриваю осыпи, гребешки скал, уступы, заглядываю в расщелины, прислушиваюсь — никаких признаков Елизара.

На вершине нас встречает мошка. Солнце жжет по-летнему. Становой дремлет в полуденном мареве.

У людей моей профессии, кому пришлось большую часть жизни проводить среди дикой природы и подолгу оставаться наедине с собою, есть тайный советчик. Бывает состояние, когда я ощущаю в самом себе присутствие второго "я", как будто находящегося в постоянных противоречиях с первым, способного спорить, отрицать и утверждать. Но это второе "я", как бы двойник, не подчинено мне. Появляется внезапно, чаще, когда, кажется, уже найдено решение и нет повода для спора. Он начинает внушать новые мысли, сомнения, доказывать противоположное. Эти внутренние силы в минуты больших затруднений помогают найти правильное решение, разобраться в сложной обстановке.

К сожалению, пока этот советчик остается безучастным свидетелем моих размышлений.

Из-за последнего прилавка появляется Павел. Дышит как паровоз. Чуб и лицо мокрые.

— Спешил, еле выбрался. Ну и круто!.. Что в ущелье? — спросил он, немного передохнув.

— Никаких следов... Все это нам с тобою померещилось.

— Да? — Павел как-то сник. Еще одна надежда пропала.

— А у тебя что нового?

— Плоткин запрашивает согласие высадить нам в помощь группу парашютистов-солдат. Договоренность с воинской частью уже есть.

Я обрадовался.

— Ты бы Плоткину подсказал — Не ждать моего согласия, а перебрасывать солдат. Завтра погода может измениться, и мы упустим такой случай.

— И верно, надо было! Не догадался. — Павел виновато опустил голову. — Вечером сообщим.

— Так вот, слушай: завтра мы разобьем северный склон Ямбуя на квадраты и, как только придут наблюдатели, начнем тщательно их обследовать. Людей хватит. А сегодня займемся загадкой котелка.

Мы подходим к пирамиде. Еще раз читаем описание тропки, ведущей к ручью. Задерживаемся у края площадки.

Далеко впереди парят два старых беркута. В их полете — спокойствие владык, в размерах крыльев — могущество. Они кружатся над краем восточного отрога. Что привлекает внимание хищников? Может, беркуты ждут, когда с озер поднимутся пролетные гуси, или наблюдают, как колонок съедает чибиса? А может быть, под ними у большой добычи пируют старшие собратья, земные хищники, не терпящие их присутствия, и беркуты выжидают, когда нажрются те и настанет их черед.

Не этих ли беркутов я видел позавчера? Поднимаю голову — где же птицы?.. Небо чистое, пустое. А ведь только что были! Куда они девались? Вот уж непростительно, прозевал!

Спускаемся с вершины, повторяем вчерашний путь. Спала жара, прохладой повеяло с равнины.

Останавливаемся у срубленной лиственницы, где вчера нашли котелок. Никаких новых открытий. Или наши глаза притупились, ничего не замечают, или следы стерты временем.

Спускаемся по тропке до ручья, куда ходили геодезисты за водой.

Дальше тропка становится менее заметной. И вдруг неожиданность... отпечаток сапог на ягеле! Не очень старый. Но точно угадать трудно, ведь на лишайниках след держится годами.

Кому принадлежит этот след, Петрику или Евтушенко?

Спичкой измеряю длину следа — тридцать один сантиметр, это соответствует сорок третьему или сорок четвертому размеру. Я не знаю, кто из погибших носил такие большие сапоги.

День жаркий, в густохвойном настое, в запахе отогретых россыпей и влажных распадков. Мы иногда на минуту задерживаемся на краю прогалины, чтобы осмотреться. Павел разводит руками, что-то шепчет про себя. Потом вдруг кричит:

— Елиза-а-р!..

Никто не отвечает.

Стороной, молча, словно тайком, летят на юг птицы. В просини лесов теряются дали. Во всем пейзаже скорбь по ушедшему лету, которое отжило свой век и теперь уходит в глухие туманы, в неуютную зимнюю стужу.

Тропка ведет нас вниз по гребню и, не дойдя до края метров двести, сворачивает на запад.

Загря неожиданно натянул поводок, глотнул влажными ноздрями воздух, остановился. Уши встали торчком, вывернулись вправо. Что-то взбудоражило кобеля.

— Близо зверь! — шепнул Павел.

Слабое дыхание ветерка доносило до Загри какие-то еле уловимые запахи или шорохи из стланика. С минуту мы стояли не шевелясь, наблюдая за собакой.

Обычно, если близко зверь, Загря мгновенно это чувствовал и проявлял нетерпение. Но сейчас он медлил. Не спеша, осторожно, как балерина, шагнул вперед... Пошел по тропке, обнюхивая пни, разглядывая какие-то невидимые нашему глазу следы на земле. Остановился, стал прислушиваться... И зашагал дальше, тихонько, ни разу не натянув поводка. Склон стал более пологим. Беркутов не видно. Не зря они эти дни кружатся тут над гребнем. Я хотел свернуть, но собака заупрямилась, повела нас немного вправо от тропы -- теперь более энергично, готовая броситься вперед. Вижу, вздрогнула, уши сошлись острыми концами... Кто-то близко. Кобель остановился. Я

не слышу ничего, кроме собственного дыхания да бьющегося сердца. Стоим секунду... две... пять...

Загря срывается с места, делает огромный прыжок, тащит меня дальше. Я сбрасываю с плеча карабин. Слышу впереди шумное хлопанье крыльев. В воздух поднимается молча стая воронов. Они быстро скрываются за вершинами низкого леса. За ними беспорядочной стаей взлетают кукушки.

Разгоряченный Загря рвется вперед. Ошейник до хрипоты сжимает ему горло. Ноги гнутся от натуги, впиваясь когтями в податливую почву. Я не могу сдержать кобеля, бегу за ним.

Чаща редее. Появляются широкие просветы. Еще сотня метров — и мы выбегаем на поляну, замкнутую со всех сторон невысоким стлаником.

Все, что тут росло: мелкий кустарник, голубика, густо-зеленый мох, ерник — все сломано, вырвано с корнями или затоптано. На разбросанных камнях красные, как кровь, пятна раздавленной брусники. Всюду на взбитой земле следы лис, колонков, медведей и помет осторожных беркутов.

На поляне пировали хищники, и, кажется, долго. Неужели?!

Под ногами черный ватный лоскут от телогрейки, остаток рукава рубашки, медная буссоль — спутник геодезистов.

Достаточно беглого взгляда, чтобы представить весь ужас разыгравшейся на поляне трагедии. Ее следы всюду. Вот металлическая пряжка от пояса с огрызком ремня, клочок светлых волос, вдавленный чьей-то тяжелой лапой в ягель, куски разорванных штанов, патроны от дробового ружья. И всюду кости...

— Кого же растерзали? — почему-то шепотом, едва не плача, говорит Павел.

— Только не Петрика, у него были рыжие волосы. Это Евтушенко.

Мы стоим подавленные. Не могу понять, что привело Евтушенко на эту поляну, так далеко от вершины гольца и от стоянки, в стороне от тропы, ведущей к ручью?

Дня остается совсем мало. Уже с глубоких ложбин Ямбуя веет прохладой, и с болот доносится грустная переключка утиных стай, готовящихся в ночь покинуть родные места.

Отходим от поляны метров на двадцать; надо найти входной след Евтушенко. Я иду по кустарнику вправо, Павел — влево. Ниже мне попадаются остатки сапога — обгрызенная резиновая подошва с задником и каблуком. Измеряю длину — тридцать один сантиметр, как и тот след, который я заметил на тропе. Значит, там проходил Евтушенко.

Тропка, по которой мы спустились с гольца, ведет к ключу. Очевидно, Евтушенко спускался за водой и должен был вернуться на гольц. Что же привело его на поляну? Нигде на ягеле не вижу следа сапог — тут Евтушенко не проходил. Не злой же дух Харги сюда его принес! И вдруг замечаю волок — кого-то тащили по земле к поляне. Мох на ней сдернут, валежник разворочен, стланик примят в одном направлении.

Идем вместе с Павлом по волоку. Попались внушительные следы медведя на мягкой почве. Судя по отпечатку лап, зверь шел с поляны как бы против волока, и поэтому мы не придали им значения.

— Шапка! — кричит Павел, показывая рукой вперед.

Она лежит под колодой, зацепившись за сук.

— Да, это шапка Евтушенко. Сам он ее шил из черного каракуля, на кожаной подкладке.

Дальше мы находим ружье с перерванным ремнем, лосевую рукавицу. Я случайно заметил, что медведь наступал на землю, сильно вдавливая пятки задних ног. И тут нам все сразу раскрылось: медведь, пятясь задом, тащил на поляну мертвого человека.

Откуда он его взял?

Метров через полтораста выходим на тропку геодезистов. Тут тоже все взбито, протоптано, разворочено — следы борьбы. На стволе лиственницы находим мазки запекшейся крови и клоч светлых волос.

— Евтушенко убили здесь, на тропе, — сказал Павел. — Но с какой целью? Отнять документы? Ограбить? Какие могли быть при нем ценности? И неужели из-за этого надо было лишать парня жизни?

— Не торопись с выводами. Пока что мы видим лишь звериные следы. Не ранил ли Евтушенко медведя? Ружье у него одноствольное, одним выстрелом не свалил, а перезарядить не успел, как тот напал на него, — вот что скорее всего.

И я проверяю ружье. Оно заряжено, но ствол чистый, выстрела не было.

— Нет, не медведь! — возражает мой спутник. — Будь один случай с Евтушенко — другое дело. Не иначе тут банда живет.

— Тогда почему они не взяли ружье?

— Оно не нужно им. Они боятся, что люди, попадающие сюда, к Ямбу, могут обнаружить их и донести кому следует, вот и убивают свидетелей. Мне кажется, и мы ведем себя слишком беспечно.

Его слова не на шутку встревожили меня. Точно я пробудился от долгого сна. Теперь малейший звук заставляет настораживаться. Окружающий нас кустарник наполняется подозрительными шорохами.

Мне хочется взглянуть на поляну глазами, для которых многое на ней уже не составляет тайны.

Оттащив труп человека от тропы, медведь поступил с ним так же, как и с любой добычей, будь то заяц, кабарга или сохатый. Он содрал на поляне мох, брусничник, повырывал кусты, натаскал валежника и всем этим прикрыл свою жертву. Этот хищник предпочитает мясо с душком...

Мы собрали все, что осталось от Евтушенко, сложили вместе и накрыли стланиковыми ветками.

Возвращаемся на тропу. Ружье Евтушенко оставляем, а шапку, рукавицы берем с собою. Направляемся к подножью.

— Стойте! — Павел хватает меня за руку. — Не там ли, где нашли котелок, погиб и Петрик?

— Все может быть. Давай вернемся, осмотрим близкие поляны.

Не могу освободиться от ощущения близости опасности. Не она страшна, а ее предательская внезапность.

Идущий позади Загря неожиданно прорывается вперед, поднимает морду и начинает носом деловито втягивать воздух. Его пушистый хвост, накиннутый кольцом на спину, медленно расправляется. Что это означает?

Где-то недалеко, там, куда была обращена морда собаки, послышались подозрительный шелест стланика и шорох камней, как будто кто-то поспешно удалялся.

У Загри дрогнули стоячие уши. Переступая с ноги на ногу, он легонько натянул поводок и снова замер, весь обращенный в сторону стихшего шороха.

Павел схватил меня за руку.

— Слышали? Ей-богу, это человек! — прошептал он встревоженно, и я почувствовал, как неприятный холодок расползся по моей спине.

Загря, не поворачивая морды, скосил на меня глаза, точно и он понимал, кто ходит возле нас.

Конечно, это не зверь, собака вела бы себя иначе.

Павел не в силах сдержать себя и, чтобы разрядить напряженность, поднял ружье и выстрелил. Звук всколыхнул стланик и, растекаясь по склону, долго тревожил тишину глухих ложков. За озерами смолкло эхо, а напряженность осталась и в воздухе и в кустах.

Выстрел снял страх. Снова тихо в вечеряющих зарослях. В ближнем перелеске, ссорясь, громко кричали вороны.

— Как вы думаете, ушел или затаился? — спросил Павел, все еще прислушиваясь. Я неопределенно пожал плечами.

— Давай-ка подобру-поздорову возвращаться на табор. Ночью тут нечего делать. Завтра разберемся, — предложил я, поворачивая назад.

Загря стоит, что-то по-своему соображает и, натягивая поводок, вышагивает вперед, направляясь в сторону, где заглох подозрительный шорох. Иногда он деловито нюхает воздух. Мы держим ружья наготове и все время наблюдаем за стланиками. Даже шорох под ногами точно током пронизывает меня.

Кобель на ходу тычет влажный нос в старый звериный след, то вдруг приподнимает морду и, вывернув уши, прислушивается. Все это он делает без задора, как бы ради забавы.

Вдруг знакомое бормотанье беркутов. Вот они где!

Птицы, звонко хлопая крыльями, отрываются от земли и, не показавшись на глаза, улетают. Мы выходим на поляну. Видим ту же картину, всюду следы расправы, только более ранней, чем с Евтушенко.

Все было понятно без слов — мы нашли останки Петрика.

— Негодяи, каких парней убили!.. — не может сдержаться Павел.

Я окончательно теряюсь. Не могли же Евтушенко и Петрик ранить медведя с одним и тем же исходом. Неужели на гольце живет банда? Но ведь на всем склоне нет следов пребывания тут людей, кроме нас.

— Идите сюда! — Павел раздвинул стланиковые кусты.

Я заглядываю через его плечо — и столбенею: на камне лежит человеческий череп оскалом к нам, облитый ярким светом солнца.

Немного поодаль, под соседним камнем, в трещине мы увидели порванный бумажник. Внутри были истлевшие бумажки, несколько монет и обманки для ловли хариусов. И там же, у пня, — пучок рыжих волос.

Я хорошо знал Сергея Петрика. Мы много с ним бродили по тундре нашего Севера, по тайге. Он был верным товарищем в трудных походах, в беде и весельчак в жизни. Кто мог подумать, что парень так нелепо закончит свою жизнь...

Мы опустили череп в щель между камнями и заметили это место.

— А что делали тут беркуты? — спросил Павел. — Съестного ничего же здесь нет.

— Да, это странно.

Решили найти их следы, Я спустился к нижнему краю поляны. Заметил свежие ключья шерсти. Вот оно что!.. На камнях лежали остатки недоеденного ягненка снежного барана. Беркуты принесли его с гольца и здесь растерзали. Присматриваясь, я увидел разбросанные повсюду давнишние заячьи и лисьи кости; видимо, эта поляна служила многим хищникам местом их пиршеств. Но почему здесь оказались и останки Петрика?

Мы уходим вниз по тропке к ручью. Уходим, еще больше озабоченные таинственной гибелью товарищей.

Тишина в кустарниках давит тяжестью, а шаги кажутся слишком шумными. Павел то и дело оглядывается. Да и у меня ощущение, будто кто-то предательски целится в меня сзади...

Скорее бы выбраться на марь!

Ниже того места, где был убит Евтушенко, мы нашли котелок. Это подтвердило, что и Петрик и Евтушенко, спускаясь с гольца за водою, нарывались на засаду.

Но каким образом котелок Петрика попал на лиственницу, пока что остается загадкой.

В мареве вечерней дымки растворялись болота, и на зеркальную гладь озер ложился тусклый свинцовый мрак надвигающейся ночи.

Неужели Павел прав, что где-то здесь, в глубоких складках Ямбуя скрываются преступники? Теперь нет сомнений, что Елизар и эвенки тоже убиты.

Как назло, стало быстро темнеть. Во мраке тонут зыбуны, равнина. Звезды стали ниже, ярче и теплее. Идем долго, с трудом переставляем уставшие ноги.

Наконец-то минуем последний перелесок. Проходим знакомую марь. И вдруг сквозь мрак ночи гостеприимно моргнул огонек — кто-то живой на стоянке.

Отпускаю Загрю. Он несется через кочковатую марь, исчезает из глаз. До нас доносится незнакомый звон боталов. Мы приближаемся к нему. Боталы звенят дружнее. Вот и стадо пасущихся оленей. Увидев нас, животные перестают кормиться,

настораживаются. В черноте с какой-то внезапностью возникает человеческая фигура. Мы останавливаемся, захваченные врасплох. Фигура молча надвигается на нас. Что-то угрожающее в медлительных движениях, в небольшой сгорбленности, в крадущихся, бесшумных шагах.

Позади в тучах блеснула молния. В мелькнувшем свете я увидел... Илью, готового разрядить бердану. Я мгновенно отбросил предохранитель затвора, шагнул к нему. Наступила та самая страшная минута, когда ты не владеешь собой и достаточен маленький повод, чтобы палец потянул за гашетку.

— Не надо стрелять, — произнес Илья и с облегчением опустил бердану.

Я отвел в сторону ствол карабина. Снова затажно моргнула молния, осветив на миг усталое лицо каюра. Вешаю на плечо ружье, и мы продолжаем стоять друг против друга в темноте.

Закапал крупный холодный дождь, и, кажется, от него стало легче на душе. Павел закурил, предложил Илье папиросу. Он не взял, достал из-за пазухи трубку, пригубил, зажег спичку.

— Все люди сюда пришел. — Илья кивнул в сторону лагеря, откуда доносился лай чужой собачонки. — Моя с ними назад вернулся. — Он произнес это как-то просто, без злобы и длинно затянулся.

— Ты лучше скажи, где искать Елизара? — спросил я.

— Ямбуя ходи, назад нету! — ответил он и, чуточку подавшись ко мне, с жалобой в голосе добавил: — Моя худо ему не делай. Не делай худо, понимаешь! — И это было сказано так искренне, что нельзя было не поверить.

— Мы вчера нашли на гольце твою гильзу от берданы и свежие окурки. Кто был на этих днях на вершине? — спросил я как можно ласковее.

— Елизар.

— Но ведь он не курил!

— Окурки Елизара. Он потерял накомарник, брал у меня махорку и бумагу, чтобы курить, мошку дымом отгонять. И гильзу я давал, он свистел в нее, рябчиков подманивал... На Ямбуя я не был...

На стоянке людно. У большого костра нас встретили опечаленные товарищи. Они узнали от Ильи, что случилось под Ямбуем с Елизаром. Мы здороваемся, стоим молча, будто виноваты.

Прибыло подразделение Георгия Цыбина: четверо геодезистов и два каюра. Павел уже трясет в своих объятых рыжего Степана — шутника и задиру, нашего общего любимца.

Бородатые, обветренные, изъеденные комарами лица при свете костра неузнаваемы. На них усталость и привычное безразличие. Одежда выцвела, поизносилась, украсилась латками. Этим людям уже ничем не удивишь.

Присаживаемся с Цыбиным на бревно возле костра. Цыбин среднего роста, прекрасно сложенный и закаленный в тайге, спортсмен. Густая черная борода окаймляет молодое обветренное лицо.

— Как же вы искали Евтушенко? — спросил я его. — Он ведь лежал убитый почти на тропе, что идет с вершины Ямбуя к ручью. Там же, немного выше, был убит и Петрик.

— Мы искали их живыми, а не мертвыми. Никто и не подумал тогда искать их на склоне гольца, а тем более убитыми. Все считали, что они заблудились на болотах, — ответил наблюдатель и скосил на меня черные глаза, в которых полыхали отраженные блики костра.

— Кто же убил? — спросил Рыжий Степан, яростно толкнув головешку в огонь.

Наступила глубокая тишина. Все повернули ко мне обросшие щетиной лица.

— Не иначе кто-то скрывается на Ямбуе, — убежденно ответил за меня Павел и, выхватив из жара уголек, запалил сигарку. — Бандиты! Они не терпят присутствия людей. Несколько раньше убили двух эвенков. На счету этих негодяев еще есть кто-то.

— И Елизара убили? — спросил Цыбин дрогнувшим голосом.

— Вероятно. Мы не нашли его трупа, но он вряд ли может быть исключением.

— Ну и дела, будь они прокляты! — возмущается повар Федор.
— Где нашли останки Петрика и Евтушенко? — спросил Цыбин после долгой паузы.
— В стланиках на северном склоне гольца.
Все глянули на лежащего поодаль от костра кобеля. Кто-то бросил ему кусок копченки.
За эти дни я чертовски измотался. А сегодня особенно. Мне даже трудно встать, чтобы дойти до полога. Ни о чем не хочется думать. Спать, спать и спать!.. Только бы добраться до спального мешка!
— Павел, — зову я радиста. — Дай мне журнал. Не забудь после ужина накормить и привязать Загрю.
С трудом вспоминаю, что именно надо сообщить в штаб экспедиции. Пишу:
"Плоткину. На склоне Ямбуя в нижней зоне стлаников обнаружены останки Петрика и Евтушенко. Возможно, они были убиты на тропе, по которой наши люди ходили с вершины гольца за водой. Если это так, то убийцы живут в районе Ямбуя. Обстановка очень сложная. Поторопитесь с переброской солдат и с ними опытного работника уголовного розыска. Быков еще не найден. Отвечайте семь утра".
— Слушай, Цыбин, — обратился я к наблюдателю. — Мне кажется; надо назначить на ночь дежурных. Пусть четыре человека поочередно караулят лагерь по два часа. Только не спать. Костра большого не разводить.
— Все будет сделано.
— В случае чего сразу будите меня, и люди пусть спят настороженно. Чем черт не шутит! Всякое может случиться.
Я отказываюсь от ужина — даже голод отступает перед усталостью. Усилиями воли заставляю себя сесть за дневник. Но о чем писать? Так много событий прошло за сегодняшний день. Не могу отобрать для записи главное, забыл, как строить фразы. Пишу чужим, неразборчивым почерком, и мне кажется, что мысли рождает сам карандаш.

НОЧЬ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Успеваю стащить с ног сапоги и, не раздеваясь, зарываюсь в меховой мешок. Сон быстро овладевает мною, отступают земные дела, будто проваливаюсь в небытие... Остается живым только слух, но и в нем жизнь отражается, как отдаленное эхо. Вот он что-то уловил важное, какая-то тревога врывается в сон. Не могу прийти в себя, открыть глаза, не знаю, где и кто я, — крепок сон уставшего человека в тайге. И только когда залаял Загря, я, как от грома, мгновенно пробудился.
От Реканды, залитой лунным светом, приближалось пощелкивание копыт груженых оленей.
— Кто идет? — раздается в тишине строгий окрик дежурного Цыбина.
— Что орешь, как сумасшедший, не видишь, олень пугается, — слышу, узнаю голос Лангары. — Лучше чай грей, дорога длинный был.
— Какая нужда ночью по тайге оленей гнать? — удивляется Цыбин.
— Плохую новость везем начальнику, — говорит Лангара.
"Что еще случилось? Неужели Аннушка умерла?" И я тороплюсь выбраться из спального мешка. Но меня опережает Лангара. Она отбрасывает край полога и не присаживается, а падает на подстилку. На ее лице и усталость от долгого пути, и тревога. В ожидании, что вот сейчас с ее уст сорвется что-то страшное, забываю даже поздороваться.
— Амакан твой люди кушал! — выпаливает она и ловит пронизательным взглядом мои глаза.
— Медведь?! Не может быть!
— Ха! Думаешь, напрасно два дня оленей маяли, скоро ходили, догоняли тебя?!
— Постой, постой! Уж ты-то, Лангара, отлично знаешь, что медведь боится человека и по своей доброй воле вообще не нападает, разве только шатун, а ведь ваши и наши люди погибли летом, когда не бывает шатунов.

— Это дурной амакан, не шатун. Шибко плохой зверь. Он постоянно люди кушай.

— Людоед? Медведь-людоед?!

— Во-вот, людоед!

— Я никогда не слышал о медведе-людоеде. Не ошибаетесь ли вы с Карарбахом?

— Нет, — твердо говорит она. — Раньше не было — это правда, а теперь есть. Человеку не дано все сразу знать. Вот послушай! Мы три дня назад встретили альгоминских пастухов, они сказали: на Ямбуе людоед. Карарбах тоже не верил, потом говорил мне — надо скоро ходить, догонять начальника, а то его съест амакан. Вот мы и пришли.

— Спасибо и тебе и Карарбаху. Но, право же, трудно поверить, что всех ваших и наших людей съел медведь. Почему ты думаешь, что альгоминские пастухи не ошиблись?

Лицо Лангары кривит ироническая улыбка.

— Когда тебе под ноги падает шишка, не топчи ее, надо поднять, хорошо смотреть, пустая она или с орехами. Карарбах не погнался бы оленей, если бы не верил, что люди съел амакан.

— А как же с Харги? Ты же меня убеждала, что на Ямбуе злой дух и что это он посылает людям несчастье.

— Э-э!.. — Она грозит мне пальцем, шепчет: — Не говори так. Мы еще не знаем, где стоит чум злого духа и кто толкает амакана кушать людей. Сам амакан не догадается. Это я тебе правильно толмачу.

— Пока мы с вами, Лангара, кочевали, — тут еще один наш человек пропал.

— Недавно?

— Несколько дней назад.

— Ую-ю!.. — удивилась старуха. — А ты не веришь, что в людоеде злой дух живет. — И, легко поднявшись на ноги, она спешит с этой новостью к Карарбаху.

— Лангара, — кричу ей вслед, — почему ты ничего не сказала про Аннушку? Шива ли она? Старуха приостанавливается.

— Ей лучше. За нее тебе Битык стрелы к луку прислал.

— Спасибо. — Бесконечно обрадовала она меня. — Ты же говорила, что от этой болезни нет лекарства. Человек, как видишь, оказался сильнее Харги.

Лангара отбрасывает со лба нависший клочок седых волос, смотрит на меня леденящим взглядом и, не проронив ни слова, уходит к Карарбаху.

Весь лагерь на ногах. Всех потрясла новость, привезенная эвенками. Никто не слышал такого случая даже в охотничьих побасенках.

Пока Карарбах развешивал оленей, старуха рассказала ему о гибели Елизара. Эта новость поразила его не меньше, чем нас весть о людоеде.

Он протягивает мне обе руки с потертыми ладонями, жилистые, в трещинках, со скрюченными пальцами. Я сжимаю их, и мы молча смотрим друг на друга. На его старческом, всегда печальном лице неловкость, будто он виноват в нашем несчастье, в гибели Елизара.

На огне уже бушует чайник. Уставшие гости присаживаются к костру. Лангара достает из потки посуду, лепешки, сахар, отварное мясо. Карарбах тайком осматривает лагерь, людей, палатки, вьюки. Подолгу задерживает взгляд на незнакомых предметах снаряжения наблюдателей.

Цыбин разливает эвенкам по кружкам чай.

— Чего смотришь, голодный? — обращается ко мне старуха. — И она срезает ножом с ребра толстую стружку трехслойного жирного мяса, откусывает, остаток подает мне.

— Садись, ешь, мясо сокжой шибко хорошо. Сказали, что ты медведя убил.

— В стланике осталось, поздно было, торопились... Это, верно, и был людоед.

— Почему ты так думаешь? Может, ошибаешься, амакан одинаковых много?

— Я его хорошо приметил. Он позавчера чуть не съел меня, спасибо Загря выручил.

— Он тебя ловил? — Она перестала жевать, смотрит на меня удивленно.

— Ловил, да не поймал.

— Ты узнал его?

— Ну конечно.

— Однако такого амакана пуля не берет. — Лангара проглотила тугой комок нежеваного мяса и, обратясь к Карарбаху, занятому едою, стала оживленно рассказывать ему о нашей встрече с людоедом.

А я вдруг вспомнил случай в ловушке, свирепость зверя, поверил, что и Петрик, и Евтушенко, и эвенки — наверное, и Елизар Быков — были схвачены и растерзаны медведем. Это более вероятно, чем все наши предположения. Только поведение Ильи остается пока загадочным.

Карарбах внимательно выслушал Лангару. Его не обрадовала новость и даже жирное мясо убитого медведя. Он неопределенно повел плечами и недоверчиво посмотрел на меня. Разве старик поверит, что можно убить медведя, в котором поселился злой дух?!

— Он тоже говорит, ты ошибся. Такого амакана убить — все равно что Харги убить, а ты разве не знаешь, что злого духа даже пуля шамана не берет. Ты убил другой амакан.

— Нет, нет, то был людоед, я узнал его.

Время перешагнуло за полночь. Мы сидим молча у тлеющего огонька. Хорошо, что покончено с людоедом, остается найти Елизара и — прощай печальное нагорье!

Лангара, оторвавшись от дум, подсовывает к огню чайник, поворачивается ко мне.

— Ты говорил, что на Утуке встречал Хутаму с двумя одинаковыми ребятишками?

— С близнецами.

— Во-во. Она в Альгому шла, на стойбище к матери, так?

— Ну и что?

— Ее мать тоже амакан кушал, тут, на Ямбуе.

— Людоед? — удивился я.

— Он, он. Чай пью, потом расскажу.

— Почему же ты мне не сказала об этом при нашей первой встрече?

— Сама не знала. — И Лангара, отодвинувшись от огня, склонилась над блюдцем.

Пила не торопясь, долго...

Воспоминания уносят меня в тот трудный год, когда мы делали первую попытку проникнуть в глубь Станового, в самую таинственную часть гор, изорванную пропастями, увенчанную скалами, изрытую цирками. Шли мы от Ивакского перевала на запад к Утуку вдвоем с Трофимом Королевым. С нами тогда путешествовал пес Кучум. То был один из наиболее интересных и трудных маршрутов по дикому и малодоступному в этой части Становому (*Этот маршрут подробно описан мною в книге "Смерть меня подождет"). Память с удивительной ясностью воскресила передо мною страницы тех печальных дней, когда мы оказались неспособными преодолеть препятствия и были спасены Хутамой -- пастушкой из Ироканского стойбища.

На третий день путешествия у Трофима разлезлись сапоги. Вернуться на Ивакский перевал было поздно, там никого не оставалось. Два дня еще он шел босиком. Израненные ноги Трофима распухли, и я вынужден был оставить его одного в глубине неласковых гор, надеясь вернуться за ним, как только встречу подразделение нашей экспедиции.

Километров через пять идущий впереди Кучум вдруг заволновался и потянул меня влево, на верх отрога. Вначале я пытался сопротивляться, но кобель проявил упорство, и, оказавшись наверху, я услышал детский плач. Трудно было поверить, что тут, в глуши необетованной земли, живут люди. Да и не было признаков их пребывания.

Мы не шли, а бежали с Кучумом. На поляне, у затухшего костра, стояли четыре оленя, отбиваясь ногами от мошки. А рядом, под старой лиственницей, лежал эвенкийский скарб: потки с продуктами и вещами, свернутые в трубку берестяные полотнища от чума, седла. Из груды вещей доносился неистовый крик ребенка.

Я бросился к малышу, откинул брезент, извлек крикуна. Но их оказалось двое. Достал и того. Симпатичные близнецы-мальчуганы! Оба плосколицые, узкоглазые. Орут изо всех сил, брыкаются, а я не знаю, что делать.

Кажется, не бывает более нелепого положения, чем то, в какое попал я. Брожу с ними по поляне, баюкаю, и они умолкают, даже улыбаются. Но стоило мне остановиться, как малыши начинали дружно орать.

Наконец-то в дальнем углу поляны появилась женщина верхом на учаге, с вьючным оленем в поводу.

Хутама, так звали ту женщину, оказалась пастушкой из колхоза "Ударник", чье стадо кочевало по южным отрогам Станового. Она пробиралась в Альгому, через труднопроходимые горы, без примет, по рассказам стариков, чтобы показать матери своих малышей.

Узнав от меня, что я оставил товарища в горах, Хутама, напившись чаю, пригнала оленей, оседлала их и, расспросив, где я оставил товарища, отправилась за ним.

Караван вернулся по темну. Хутама привезла Трофима на своем учаге.

Заночь она сшила Трофиму олочи, а мне дала "насовсем" свои штаны. И мы с ее маленьким караваном спустились по реке Утук до слияния с Иваком и там встретили своих.

О Хутаме мы больше ничего не слышали.

Это я вспоминал, пока Лангара пила чай. Но вот она убрала посуду, закурила, передала трубку Карарбаху и стала рассказывать. Она говорила долго, однотонно, будто во всей этой истории, что случилась с Хутамой и ее матерью, ничего трагического не было.

В тот день, когда мы распрощались с пастухами по пути к Ямбуу, они встретили двух альгоминских эвенков, пробиравшихся в горы к своему стаду. Все ночевали у добычи Карарбаха. Встреча с людьми здесь редкость. И уж так положено в тайге с древних времен — при встрече обмениваться новостями. Для такого случая у каждого эвенка непременно найдется что рассказать. Как ни однообразна здесь жизнь, в ней не бывает дней, похожих один на другой. Какая-нибудь новость для соседа или гостя найдется. Вот почему кочевники всегда рады гостю, особенно дальнему.

За кружкой чая, у жаркого костра, Лангара рассказала альгоминцам о нашей встрече, о гибели на Ямбуе двух участников экспедиции. Это была большая новость для гостей. Но те неожиданно для всех ответили тоже потрясающим известием.

Как оказалось, Хутама после нашей встречи на Становом добралась до родного стойбища Альгомы, но матери не нашла — она переселилась к Ямбуу. Туда и направилась Хутама. Чум старушки стоял ниже нашего теперешнего табора, на устье ручейка, вытекающего из ближайшего болота.

Можно представить, сколько было радости у этих женщин при встрече! Но она оказалась короткой.

На третий день утром Хутама спустилась к ручью с чайником за водой. Близнецы еще спали в чуме. Мать у костра чистила рыбу для завтрака. День был теплый, осенний. В воздухе висел комариный гул. Ничто не предвещало опасности.

Возвращаясь от ручья, Хутама увидела внезапно появившегося сзади матери медведя. Она не успела крикнуть, как зверь ударом лапы сбил старушку на землю и навалился на нее. Хутама бросилась к чуму, схватила бердану. Но сгоряча только ранила зверя, и он исчез с глаз....

Большое горе постигло эту мужественную женщину. Надо же было пройти тяжелый путь через Становой, да еще с близнецами, чтобы стать свидетелем гибели матери.

На другой день Хутама с племянником сделали корыто из плах, уложили в него старушку и незакрытым установили на высоких пнях. По обычаям эвенков, нельзя нарушать тишину, окружающую покойника, нельзя ему напоминать о земных делах: рубить дрова, разжигать костер, варить пищу, и Хутама с парнишкой свернули табор, ушли с оленями на озеро. Там они наткнулись на множество медвежьих следов. Тогда и созрела у Хутамы мысль — сделать медвежьей ловушкой в ельнике, ту самую ловушку, в которую попал я, отомстить зверю за смерть матери. Когда ловушка была готова, случилась новая беда — парень рассек топором ногу.

Хутама из суеверия решила, что возле Ямбуя худое место. Она не стала настаивать на ловушке, собрала оленей и вместе с племянником ушла через

Становой на южные склоны гор, к своей семье.

Закончив рассказ, Лангара продолжала сидеть, высоко подняв согнутые колени, прикрытые ситцевой юбкой. Старческими печальными глазами смотрела она, как в огне дотлевали лиственничные головешки.

Род эвенков с древнейших времен славился мужественными женщинами, бесстрашными, умевшими преодолевать нечеловеческие трудности. Нищие кочевники в прошлом, они не знали теплых стен дома. Их руки никогда не вскапывали землю, вечно в пути, в поисках пищи они жили случайной добычей, в постоянной борьбе с пургой и стужей.

Все разбрелись по палаткам. Луна, огромная, круглая, уходила за лохматый лесной горизонт, и на скалистой вершине Ямбуя потухал ее холодный фосфорический свет. Влажные туманы лежали на болотах. Карарбах и Лангара продолжали пить чай, сидя перед тлеющим камельком.

Я бесшумно пробираюсь в палатку, чтобы не разбудить Павла. На ощупь нахожу журнал радиogramм, возвращаюсь к костру и пишу;

"Срочно Плоткину. Отставить переброску парашютистов. Выяснилось, что в районе Ямбуя много лет свирепствовал медведь-людоед. Он растерзал наших геодезистов и трех эвенков. Вчера этот медведь был убит. Таким образом, причины гибели людей устранены. Сегодня Цыбин приступит наблюдениям пункта Ямбуя. Я задержусь, пока не найдем Быкова".

Подкладываю в огонь остатки дров. Лангара и Карарбах, прикрывшись одеяльцем, спокойно спят, как спят люди, исполнившие свой трудный долг.

Ну как не проникнуться уважением к этим старым пастухам-кочевникам! Что заставило их два дня "маять ноги оленям" и самим мучиться? Эти люди чужую опасность считают своею, и не ради награды они вернулись к нам, а ради долга, человеческого долга.

Где-то за сумрачными грядками гор в бездонье пробуждается утро. Еще не стукнул дятел. Еще рассвет не распахнул свои сонные ресницы. В предрассветной мгле земля кажется плоской, уставшей. На южном горизонте лежат без движения плотные облака. Изредка доносится гул камнепада. От этого тяжелого звука жутко на душе.

Я забираюсь под полог, зажигаю свечу. Раскрываю дневник и перечитываю все, что было написано в нем вчера, — Лангара опровергла все наши догадки и предположения.

Мы знаем, хотя и редкие случаи, описанные натуралистами, когда крупные хищники, тигры, львы, леопарды, занимались людоедством. Чаще это старые звери, уже неспособные поймать быстроногую антилопу, серну или схватиться с диким кабаном. Бывает, что эти признанные цари прерий и джунглей, никому не уступающие в силе и храбрости, одряхлев, питаются даже падалью. И если им удастся напасть и убить человека, они становятся людоедами.

Но я не слышал, чтобы медведь был людоедом.

Желна громким криком растревожила запоздавший рассвет. Ей ответила гагара на болоте. Какая-то птичка, заикаясь, вспоминала забытый мотив. И, как сигнал к пробуждению, загремел посудой повар.

До слуха долетел его разговор с Рыжим Степаном, выбравшимся по своим надобностям из палатки.

— Знаешь, Степан, — говорил он басом, полушепотом, растягивая слова, — людей-то поуменилось, оставят нас с тобой на Ямбуе подавать световые сигналы, больше ведь некому.

— Вот и хорошо, светить — не лес валить! На этакой работенке скоро не поседеешь! Рыжий Степан третий год работает в экспедиции. Пришел он к нам хилым паренком, замкнутым, молчаливым, будто обиженным судьбою. Товарищи неохотно взяли его в поле. Но, попав в тайгу, в горы, столкнувшись с опасностями, познав настоящую дружбу, он приободрился, повеселел. Совершенно неожиданно для всех раскрылся в нем талант музыканта. Будто родился он, чтобы воспеть это скупое и суровое нагорье. В походе отряд присядет отдохнуть, Степан достанет губную гармошку,

припадет к ней влажными губами, зажмурит глаза и заиграет — так заиграет, что забудешь про путь, про невзгоды, про все на свете. А кончит играть — и усталости как не бывало!

Я выбрался из-под полога, да так и остался стоять, вслушиваясь в сонный лепет еще не опавших листьев осины и всматриваясь в далекий рассвет. Голубоватый свет, необыкновенно нежный, отделил небо от земли. Горные вершины поднялись из мрака ночи и точно замерли, пораженные величественной картиной пробуждения.

Узнать бы, что день готовит нам: раскрепощение от тяжких дум или неотвратимую тревогу, награду за мучения или приговор? На душе беспокойно.

Ночь торопилась в чащобы, падала на дно глубоких провалов, покорно уходила в болота, под туман. Алмазной каплей дрогнула в крошечном озере последняя звезда и погасла за поникшей осокой. Загремели бубенцы — поднялись олени. Все повернулись к рассвету, стоя встречали утро нарождающегося дня... Где-то рядом, в сырой ложбине, скорбно кричала одинокая чайка, отставшая от стаи. На юг устремились стаи мелких лесных птиц. Они летели низко над землей, придерживаясь перелесков.

"День... день... день..." — вестил ворон.

У костра уже пили чай Карарбах и Лангара.

— Что стоишь, иди сюлюкать (*Сюлюкать — пить чай), — зовет меня Лангара.

Я присаживаюсь к костру. Просыпается лагерь, наполняясь людскими голосами.

— Какая нужда разбудила вас так рано, отдохали бы! — говорю старухе.

— Чай — разве не отдых?.. Потом всякие-разные думы есть. Карарбах спрашивает: ты хорошо узнал, что людоеда убил? Может, не он? Старик хочет ходить сам смотреть его.

— Ошибиться не мог. Два медведя на одном месте жить не будут. Но если он хочет, я поведу его к убитому зверю, пусть посмотрит.

Старик утвердительно кивает головой.

— Спасибо тебе, Лангара, и тебе, Карарбах, что не сочли за труд предупредить нас о людоеде. Не знаю, как рассчитаюсь я с вами.

Лангара подняла голову.

— Так не говори. Не знаешь, что ли, — люди должны помогать друг другу.

— Хорошие слова сказала ты, Лангара.

— Это живет в нашей крови от предков.

Нам остается только найти Елизара. Думаю, что поиски не будут трудными. Он, вероятно, тоже где-то там, в кустарнике, на северном склоне гольца. Затем проведем наблюдения на вершине Ямбуя и уйдем навсегда из этого безлюдного края. Но почему беспокойство не утихает в душе? Какая тревога затаилась во мне?

— Какой план на сегодня? — спрашивает Цыбин, подходя ко мне и доставая кисет.

— Надо начинать наблюдения и поторапливаться — вот-вот завьюжит.

— Мы не задержим. Позавтракаем — и на голец. — Цыбин прикурил от уголька, затянулся и продолжал: — Мне для наблюдений понадобится всего один человек, остальных используйте на розыски Елизара.

— Вот и хорошо. Здесь останутся Павел для связи со штабом и Лангара. Остальные пойдут со мною искать Быкова. Передайте оружие и личный пистолет тем, кто пойдет на поиски Елизара. Вам оно на пункте не нужно. Каждому, в том числе и каюрам, выдайте двухдневный запас продуктов, спички... Через час выходим.

— Эй, хлопцы, подъем! — кричит Цыбин в сторону большой палатки.

Оттуда донеслись сонные вздохи.

У каюров свой костер под толстой лиственницей. Кроме Ильи и Долбани, тут еще двое незнакомых мне эвенков: один — старик, маленький, сгорбленный, с приветливыми чертами на задубленном от ветров лице. И второй — помоложе, длинный, сухой и подвижный, с продолговатым лицом и с усталыми глазами.

У каждого свой чайник. Пьют из блюдец, молча, с нескрываемым наслаждением.

Я присел на бревно рядом со стариком.

— Вы должны все пойти с нами искать Елизара. С оленями останется Лангара, — обратился я к ним.

Но мои слова никакого впечатления не произвели на них.

— Они думают, что ты не убил медведя, — поясняет Долбачи.

— Если убил, покажи шкуру, — добавляет старик.

— Зачем же мне обманывать, с этим шутить нельзя.

— Я не верю. Такого убить нельзя, он притворился, — продолжал старик, — обманул тебя, а ты хочешь обмануть нас. Голец ходи не могу.

— Зачем мне обманывать, подвергать опасности себя и других? Никто на это не пойдет. Говорю, с людоедом покончено. Пока Цыбин будет наблюдать, надо найти Елизара, без этого мы не можем уехать отсюда.

Каюры молча продолжали пить чай... Я не стал настаивать.

Потом с ними говорил Цыбин. Не Илья ли их настраивает, иначе чего бы им упрямитесь?

— Лангара, — обратился я к старухе, — каюр Илья из вашего стойбища?

— Как же, из Омахты.

— Ты знаешь его?

— Мало-мало.

— Как думаешь, плохой он человек? Лангара двинула плечами.

— Если у тебя сердце будут рвать руками, ты будешь смеяться?

— Кто-то сделал ему больно?

— Три года назад Омахта пришел экспедиция. Илья с женой у них ходил каюром. Все лето хорошо ходил. Потом начальник брал у него жену. Илья думал, он совсем взял, уступил, сам остался с двумя детишками, даже не стал сердиться, думал, так надо. Доброе сердце тогда было у Ильи. Но начальник обманул. После работы увез ее далеко устье Учур, сам до своей баба ушел, а эвенку бросил. Говорили, даже денег не дал ей обратно вернуться или продукты купить. Какой плохой люди!

— А где же она теперь?

— Жена не вернулась на стойбище: может, стыдно было, что поверила лючи, бросила детей. Илья ходил на устье Учюра, спрашивал у людей, но никто не знал, куда она делась. Там он всю зиму ходил по тайге, искал ее след, но не нашел. Одна, в чужой тайге, без чума, без пищи, пропала. Илья потом вернулся одичалым. На стойбище не живет. Он что-нибудь пакостил тебе? -- неожиданно спросила она.

— Нет, Лангара, это я так спросил, к слову.

Так вот оно в чем дело! Надо же было какому-то подлецу вмешаться в жизнь этих двух людей, до наивности доверчивых, сделать доброе сердце Ильи злым и мстительным! Мне становится вдруг стыдно за себя и Павла, за нашу подозрительность и, может быть, несправедливое отношение к Илье. Мне хочется немедленно поговорить с ним, объяснить эвенку, что он не должен срывать обиду на людях, совсем не причастных к его несчастью, и вернуться жить на стойбище.

Не знаю, с чего начать разговор с Ильей, но поговорить надо. Он настораживается и чуточку отодвигается от меня.

— Илья! — начинаю я решительно. — Мы с Павлом действительно заподозрили тебя в убийстве Елизара, в этом виновато твое поведение... Извини нас. Ты не отворачивайся, а слушай. Сейчас Лангара рассказала мне про твое горе. Ну разве можно за одного подлеца мстить всем! И среди эвенков есть, наверное, плохие люди, так неужели в этом виноваты и другие? Не надо обижаться на всех, — и я дружески кладу свою руку ему на плечо. — Тебе, Илья, надо вернуться к детям, жениться и жить по-человечески, как живут все.

Каюр осторожно отстраняет мою руку, долго сидит задумчивый и безразличный, будто он уже много раз слышал это, и мои слова не утешают его. Ведь он не протестовал, что жену увезли от него. Ее воля была. Но бросить в чужой тайге женщину — все равно что убить ее, и даже хуже! Вот этого он не может простить и делает вид, что не слышит меня.

Всем как будто неловко за меня и за Илью...

Знаю, не скоро у него заживут старые раны. И не так просто забыть ему обиду. Только время да доброе, сочувственное отношение людей помогут ему.

Наскоро завтракаем — и в путь. Уже накинут за плечи груз.

В последний момент стали собираться и каюры. Но Илья с нами не пошел. Он так и остался сидеть у затухающего костра, одинокий, отчужденный, со своими тяжелыми мыслями.

Нас десять человек.

Я наблюдал за сборами Карарбаха. Он внимательно перебрал самозарядные патроны для своей старенькой берданы, взял с собою только те, которые считал надежными, проверил предохранитель затвора, любовно оглядел все ружье. Видимо, оно его никогда не подводило.

Затем старик кинул за плечи котомку, перехватил ремешком лямки на груди. Во всех его движениях была точность и уверенность. Но мне показалось, что он был взволнован и уносил с собою какую-то тревогу.

РЫЖЕМУ СТЕПАНУ ПОВЕЗЛО

Сегодня первый заморозок, первый иней на лохматых кочках, первый ледок на камнях в ручейке. Вода стала густой и медленной. Нет ветерка. Не шелохнется трава, прихваченная морозом. И птицы сегодня не будили утро.

Идем гуськом по острому ребру крутого склона гольца. С нами поднимаются листовенницы. Они хмурятся, собираются толпами над крутизной, как бы задерживаются в нерешительности. И только смельчаки-одиночки сопровождают нас дальше. Затем и они попадают реже, отстают. Мы их встречаем и выше, но они тут живут лежа, распластавшись по земле, точно разведчики, тайком ползут по каменистой почве.

Во главе цепочки нагруженных людей шел Карарбах. Его никто не уговаривал быть впереди идущим. Видимо, старик уверен в себе и считает своим долгом принять на себя все неожиданности пути.

Он ведет нас грядами, образующими стены каньона, начинающегося у южных скал Ямбуя. Тут мы впервые. Нас встречают холодные порывы сквозного ветра, вырывающегося из извилистых щелей. Хаотическое нагромождение каменных глыб преграждает путь. Перепрыгиваем, ползем с одной на другую. Дальше из развалин скал встают останцы чуть ли не до неба.

На крутизне, по прилавкам и по ребристым гребням цепочка рвалась, люди, как муравьи, расползались между обломками упавших скал. Порой снизу доносился крик отставших, но старик все так же не спеша брал уступ за уступом, подбираясь все ближе и ближе к вершине. Шаги его явно мельчали, и из груди все чаще вырывался тяжелый вздох.

Не те годы!

Подножье остается далеко внизу. Небо кажется низким и легким. Уже близка пологая лощина гольца. Мы ее не видим, но она вот-вот покажется. У последних скал делаем пятиминутный привал. Никаких разговоров. Двадцать пять килограммов за плечами — не шутка! Рыжий Степан разувается, перематывает портянки. Цыбин достает кисет, начинает крутить козью ножку. Крутит он привычно, медленно, с наслаждением и, кажется, именно в этом процессе находит наибольшее удовольствие. Долбачи угощает Карарбаха дымящейся трубкой.

"Ку-ули!... Ку-ули!..." — где-то стороною обходят голец кроншнепы. Следом, туда же, на юг, торопится стайка дроздов. Эти летят молча, готовые в момент опасности укрыться в тайге. Старик долго смотрит на меня, показывает сначала на свои олочи, затем тычет пальцем в землю и, отрицательно качая головой, произносит что-то непонятное.

— Он говорит, — поясняет Долбачи, — тут Елизар не ходил, не оставил след.

Опять под ногами карнизы, уступы, крутые россыпи. Плечи горят от взмокших лямок. Старик устает. Он распахивает дошку, подставляет грудь волнам, струящимся с гор,

дышит открытым ртом. Не ветерок ли родных гор, наполненный запахом снежных вершин, возвращает ему силы?

Наконец-то перед нами купол гольца, и над ним, теперь уже совсем низко, голубое небо. Еще немного усилий, последний потуг — и отряд у цели.

Все отдыхают, любуясь панорамой гор с многочисленными вершинами, будто соски, обращенные к небу. Делать наблюдения в этот полуденный час нельзя -- большие горизонтальные колебания, невозможно добиться нужной точности. Только вечером изображение будет четким. Но до вечера у наблюдателей на пункте много дел.

А время неумолимо — уже одиннадцать часов. С Цыбиным остается Рыжий Степан. Остальные разбиваются на три группы. Каждая самостоятельно займется поисками Елизара. Во главе первой — Долбачи. Эта группа обследует склон гольца полосой в полкилометра по восточной тропе, на которой были убиты Петрик и Евтушенко. Вторую группу поведет каюр-старик. Она осмотрит западную часть гольца, рядом с гребнем, где мы поднимались, шириною примерно в триста метров. Мы же вдвоем с Карарбахом спустимся тропкой, по которой геодезисты ходили за дровами, и осмотрим стланики между участками первой и второй групп.

На душе у меня спокойно. Людоед убит, и мы без опаски займемся поисками. Но Карарбах словами и жестами предупреждает всех быть осторожными у тупа Елизара, если он будет найден. Там можно встретить другого медведя, нарваться на засаду.

В каждой группе по две винтовки. Уславливаемся: если кто найдет Елизара, оповестит об этом двумя выстрелами с небольшим промежутком между ними и разведет дымовой костер.

Долбачи и старик со своими людьми уходят. Мы с Карарбахом немного задерживаемся.

Еще раз, как могу, жестами и словами объясняю своему спутнику наш маршрут. Он утвердительно кивает головою и, поглядев на солнце, торопит меня.

— Амакан, амакан, — произносит он неразборчиво, хрипло, показывая пальцем вниз. Старик напоминает мне, что надо сегодня успеть сходить к убитому медведю.

Я иду следом за Карарбахом. Загрят плетется у меня на поводке, все время следит за ветерком, налетающим снизу, и изредка продувает свой влажный нос. С первого шага старик сосредоточивается. Глаза его наполняются живым блеском, от них ничто не ускользает. Сдвинут ли камень, примята ли трава или сорван мох — все замечается. Иногда старик приседает на корточки, что-то рассматривает.

И тут, среди мертвых курумов, следы осени. До этого трудно было заметить в щелях скал, под камнями живые ростки зелени, чудом растущие без почвы, без влаги и без солнца, затаившись в вечном сумраке или прильнув к шершавым плитам. А в осеннее время эти осочки, папоротники, камнеломки, лук — дикая пахнущая зелень — будто все разом впервые за свою недолгую жизнь расцвели. Точно брызнул кто-то густым багрянцем по безмолвному граниту, по серым россыпям.

Карарбах пропускает меня с Загреей вперед. Знаками дает понять, что в кустарниках, к которым мы подходим, собака более надежный проводник.

По чуть заметной тропке обхожу последний скальный выступ. Загрят неохотно идет следом, все время натягивает поводок, оглядывается. Меня это раздражает. Я тяну за ремешок, насильно увожу его вниз. Но он упрямится. Угрожаю пальцем — он совсем заупрявился, ни с места!

Где-то далеко стукнул камень. Я не придавал этому значения. Но Загрят будто током прошибло, откинув голову в сторону гребня, откуда донесся звук, весь насторожился. Карарбах тоже остановился. Заслонив ладонью свет солнца, он смотрел в ту же сторону, что и собака.

Загрят неожиданно рванулся, но поводок сдержал его. Старик показывал на вершину гольца: дескать, там что-то неладное. Однако ничто не подтверждало его тревоги. И я уже хотел продолжать спускаться к подножью Ямбуя, как с вершины донесся душераздирающий человеческий крик.

Загря вздыбил, рванулся изо всех сил. Я отстегнул поводок. Собака с первого прыжка взяла максимальный разбег, понеслась по россыпи напрямик к вершине. До нее более километра, к тому же надо пересечь глубокую лощину.

Я дважды разрядил карабин, и вся округа всколыхнулась от выстрелов. Далеко откликнулось эхо.

Карарбах ни о чем не спрашивает, сбрасывая котомку, дошку, закладывает в бердану патрон. Скулы его судорожно вздрагивают.

Я тоже снимаю телогрейку, котомку и устремляюсь вперед. Старик не поспевает за мною, отстает. Не могу понять, что случилось с наблюдателями на вершине. В криках, что доносятся с вершины, мольба о помощи.

Я безрассудно на первом подъеме взял сразу слишком большой темп. Сил хватило только выбраться на излом. Сердце разбушевалось, легким не хватает воздуха, ноги плохо повинуются. Останавливаюсь, еле переводя дыхание. В зловещей тишине крик все тише, все реже. Он, как вихрь, подстегивает меня.

Сверху доносится злобный лай Загри. Лай быстро отдаляется вместе с грохотом камней. И на вершине Ямбуя все стихает.

Поднимаюсь теперь шагом, так легче и быстрее. Загря бежит где-то за главным гребнем все дальше и дальше. Потом оттуда доносится медвежий рев.

"Неужели я ошибся, не людоеда убил?.. Нет, не может быть!"

Отдыхаю под шапкой гольца и минут через пять выхожу на вершину.

Рыжий Степан висит на пирамиде, обняв в смертельном страхе заочневшими руками визирный цилиндр. Глаза навывкате, как у сумасшедшего. Сам весь необыкновенно длинный, будто вытянутый. Правая нога разута, ступня разорвана, тур облит кровью.

Взбираюсь на пирамиду, пытаюсь помочь ему сойти на землю, но не могу разжать сцепившихся пальцев. Степан глядит на меня ничего не видящими глазами.

Тут появляется Карарбах. При виде этой картины он забывает про усталость, спешит на помощь. С трудом поднимается старик на тур, поддерживает Степана, и мне удается оторвать его от цилиндра, спустить на землю.

— Где Цыбин? — спрашиваю у Рыжего.

Он бессмысленно смотрит на меня, молчит. Я со всего размаха бью ладонью его по щеке, и он выходит из шока.

— М-медведь! — выпаливает он.

— Где Цыбин?

— Там, — парень качнул трясущейся головой в сторону обрыва. Хотел еще что-то сказать, но стал заикаться.

Мы усаживаем его на камень, бросаемся к обрыву. По осыпи свежий след огромных прыжков. Где-то далеко внизу, у невидимых с вершины скал, сыплются камни.

— Угу-у!.. — кричу я в пустоту, и эхо разносит протяжный звук по всему ущелью.

Через минуту, точно из подземелья, оттуда глухо доносится ответное:

— Угу-у!..

Сто пудов сваливается с плеч. Я поясняю старику, что Цыбин жив и находится внизу. Но об этом он догадывается и сам по огромным прыжкам, след которых хорошо заметен на осыпи, и по тому, что за Цыбиным никто не гнался.

Карарбах нервно растирает тыльной стороной ладони капли пота на лбу и, глянув на меня, неодобрительно качает головою, потом с досадой объясняет, что напрасно поверил мне: нельзя убить медведя, в которого вселился злой дух. Теперь-то я и сам догадываюсь, что убит не людоед, а другой медведь. Какой дьявол затуманил мне разум! Стою перед стариком, как маленький, виноватый.

Карарбах берет меня за руку и уводит от обрыва к Степану.

Тот нервно икает и, как пугливый зверек, озирается по сторонам. Рана у парня ужасная, по всей ступне.

Отпарываю у него от телогрейки бинт с флакончиком йода, заливаю рану, забинтовываю. Парень приходит в себя.

— Хорошо, что ты не сбобел, — успокаивающе говорю Рыжему.

— Будь это медведь как медведь, а то какое-то страшилище: морда длинная, как у крокодила, губастая, лапы загребущие. Как оно вывернулось из-за скалы, жилы у меня на ногах ослабли, не могу бежать. В жизни такого не видел! Кинулся на пирамиду, она, дьявол, скользкая, только успел схватиться за крестовину, а чудовище уже тут, как рявкнет, точно из пушки, я и повис. А оно поймало меня за ногу и давай стаскивать. Сапог возьми да и соскользни с ноги. Пока зверюга с ним расправлялся, не помню, как я до цилиндра добрался... Не будь Загри, стащил бы, подлец, обязательно стащил!..

— Считай, тебе повезло! — говорю я.

— Что и говорить... Злой, как сатана, а пасть — во какая! — Степан широко развел руками и, немного помолчав, сказал тоскливо: — И чего меня понесло в экспедицию...

— Живой, Рыжик! — обрадованно и в то же время удивленно кричит только что появившийся Цыбин.

Он без шапки, одна штанина разорвана, растерянный, бледный, точно обескровленный.

— За малым не съел, сатанюка! — отвечает ему, поддерживая пораненную ногу и кривясь от боли, Степан.

— А ты, Рыжик, плюнул бы ему в глаза, — пытается шутить Цыбин.

— Спасибо скажи, что он задержался возле меня, а то бы побаловался тобою... Ну и работенка, будь она проклята!..

— Вы же говорили, что с людоедом покончено! — с явным упреком обратился ко мне Цыбин.

— Покончено, да не с ним. Надо же было подсунуть мне другого медведя!

— Наверняка все тут людоеды. Медосмотра же им не было... И хорошо, что так кончилось. А могло... — Цыбин не договаривает.

— Ты, кажется, сегодня мировой рекорд побил по прыжкам, а? -- спрашиваю его.

— Нечего греха таить, изо всех сил старался. Когда мы увидели зверя, я сразу догадался, что это людоед. Прет на нас махом и как заревет, некогда было думать. Подбежал к скату, а зверь тут как тут, страшный. Я и рванул, да так рванул, что только у скал задержался. Будь бы ружье со мной или пистолет — не сробел бы. Не верите?.. Ну, как хотите.

Карарбах дождался, когда Цыбин закончил, легонько толкнул меня в бок и стал с жаром жестикулировать руками, повторяя одни и те же знаки. Он упрекал меня в том, что я слишком понадеялся на себя, обманулся — никакого медведя не убивал. Так подстроил злой дух, чтобы посмеяться надо мною. Затем старик уселся поодаль от нас на плиту, — видимо, чтобы самому разобраться во всем случившемся.

Старик нервно крутит головою, жмурит глаза, точно прячась от каких-то назойливых мыслей. Что делать ему: покорно уйти из этих мест, где властвует злой дух, пока не поздно, или остаться с нами, коль уже нарушил завет предков, пришел сюда? А может быть, думает, что теперь наши дела еще больше касаются его, что нельзя оставлять людей в беде и что никому другому, а именно ему придется исправлять мою ошибку, даже если для этого придется встретиться в поединке с Харги. Во всяком случае, хотелось, чтобы старик так думал в эти минуты.

Необходимо поговорить с ним. Но как? Лангара объясняется с ним жестами рук, движением губ, иногда прибегает к помощи всего тела. Между нею и глухим стариком давно установился контакт, они легко понимают друг друга. Но я испытываю затруднения. Пытаюсь объяснить ему, что мы действительно убили медведя и туша его лежит в стланике под Ямбуем, куда должны будем идти.

Карарбах силится понять смысл моих жестов и заставляет меня без конца повторять одно и то же.

Наконец-то старик утвердительно кивает головою, — кажется, понял. Он явно удивлен моей ошибкой. Уж ему-то стоило один раз взглянуть на медведя, и он бы узнал его, живым или мертвым, даже через год.

Так неожиданно рухнули наши планы. Придется все начинать сызнова. Видно, не так-то просто покончить с людоедом. Он слишком обнаглел, ведь до этого ему здорово везло. К тому же на его стороне большое преимущество: он хорошо знает местность и может появляться перед жертвой внезапно.

Прежде всего надо доставить пострадавшего на табор и заняться раной. Кто знает, какой яд носит этот хищник в своей клыкастой пасти! И беда еще в том, что в наших аптечках нет ничего от заражения крови. Придется сразу по рации вызывать врача.

Сейчас Степан чувствует себя неплохо. Он даже пытается шутить. Третью сигарку курит.

— А как же с наблюдениями? — спрашивает Цыбин.

— Ну и дела, черт побери! Как бы не завязнуть нам тут, — вырывается у меня с досадой. — Рисковать больше не будем. Мы и так слишком дорого заплатили за Ямбуи. Оставьте здесь инструмент, снаряжение — словом, все, что нужно для работы, и давайте решим вопрос, как спустить Степана с гольца.

— На руках, — отвечает он.

— Легко сказать, на руках, а по карнизам?!

— И по карнизам спустим. Можно попробовать. Встань-ка, Степан! — И Цыбин помогает ему подняться.

Идти он, конечно, не может, нога у него опухла и сильно кровоточит. Малейшее прикосновение к ней вызывает острую боль.

Мы усаживаем больного на сцепленные руки, он обнимает нас за шеи, и мы идем, идем неудобно, боком, иначе нельзя. Тут, по скалам да по шаткой россыпи, и без груза, того и гляди, завалишься или сорвешься. Но другого выхода у нас нет.

Я обращаюсь к Карарбаху, прошу его как можно быстрее спуститься на табор, передать записку. Тут же сажусь и пишу:

"Павел, опять беда — на гольце появился людоед. Сильно ранен Степан. Немедленно, по любым каналам, свяжись со штабом, нужна срочная консультация врача, что надо предпринять, чтобы не допустить заражения крови и других осложнений. Мы с Цыбиным несем его с гольца".

Цыбин упаковывает инструмент, складывает снаряжение, накрывает брезентом и заваливает камнями.

До нас долетает грохот камней. Мы с ружьями бросаемся к бровке.

— Ого-го!.. — доносится снизу голос Долбачи.

Проводник появляется вместе с двумя рабочими на последнем прилавке. Они спешат, оглядываются. Явно удирают от какой-то опасности.

Долбачи кричит издали:

— Амакан, большой амакан там! — и показывает на восточный край гольца.

Все они, запыхавшись, выбегают к нам и, увидев сидящего возле тура Степана с забинтованной ногою, без слов догадываются, что на вершине побывал медведь. У них падает и без того неважное настроение.

Теперь нас шесть человек. Принимаю другое решение. Я и Долбачи, дождавшись Загри, отправляемся вниз в кустарник тропкой, которой геодезисты носили на голец дрова. Эта тропка — кратчайший путь с вершины до озера, которым мог воспользоваться Елизар, спускаясь туда на охоту. С собакой не страшно будет встретиться и в зарослях с людоедом. Карарбах пойдет, как намечали, на табор с письмом. Остальные трое поочередно понесут раненого.

Неожиданно из южного ущелья донесся затаенный скрежет, тяжелые разрывы, и долго не смолкал дробный гул падающего потока камней. Не очень-то приятно находиться на вершине, когда под тобою рушатся скалы, и кажется, вот сейчас дрогнет сам Ямбуи и, разваливаясь, поглотит тебя...

Я подвожу Карарбаха к краю западного ската гольца, показываю в сторону табора, скрытого где-то за изломами, и легонько толкаю вперед, — дескать, скорее иди!

Он спрашивает меня жестами, куда я пойду? Говорю ему, что с Долбачи отправляемся в кустарник искать Елизара. Он взбудораженно что-то сердито мычит. Идет к Долбачи, отдает ему записку, машет рукою в сторону табора. Сам же

решительно стягивает на груди ремешки дошки, дает мне понять, что пойдет со мною.

Я объясняю, что глухому человеку очень опасно идти сейчас в заросли. Он резко протестует, гневается.

Удивляюсь, на что старик надеется. Забыл ли он, как важен для охотника слух, когда он имеет дело с хитрым и бесстрашным медведем, или считает для себя унизительным получить скидку за счет глухоты? Но что с ним поделаешь! Я не стал уговаривать, да это и невозможно. Он не привык, чтобы другие отменяли его решения.

Долбачи уже гремел камнями далеко внизу.

— Не забудьте: как только доберетесь до табора, сделайте Степану перевязку и проследите за температурой, — говорю я Цыбину. — Если до нашего возвращения появится в эфире врач, запишите все то, что он предложит, и выполните точно.

— Не беспокойтесь, все сделаю.

Странная процессия медленно скрывается за гранью ската. Я стою, прислушиваясь, как следом за ними медленно сползает в глубину грохот камней.

ДВА ХОЛМИКА НА ПОЛЯНЕ

Нам надо дожидаться Загрю. Мы усаживаемся на краю площадки. Карарбах закурил. С какой-то удивительной бережливостью он смаковал каждый глоток дыма и задумчиво всматривался в мгlistую даль нагорья. Морщины на лбу шевелились, толстые брови нависли над глазами впадинами, выдавая беспокойство. Трубка была его советчиком и другом, к ней он всегда прибегал в тяжелые минуты жизни.

Выкурив трубку и положив ее за пазуху, Карарбах пребывал в том же положении, глубоко погруженным в думы. Он не может оставаться безучастным к нашим делам — это завет предков, и в то же время он во власти суеверия, убежден, что в людоеде дух Харги и бороться с ним — значит накликать беду.

День уходил на запад. Тень облака, прикрывавшего солнце, соскользнула по гольцу вниз, упала на равнину, погасив на ней блеск холодных костров. Померкли озера. Но вддали, на дне речной ложбины, еще золотился осенний туман. В сырых долинах он теперь постоянный гость.

Карарбах хватает меня за руку, показывает на восточный гребень. По нему бежит Загря.

— Слава богу, живой! — обрадовался я.

Загря с разбега падает на плиту возле меня. Из его рта, как из выхлопной трубы, бьет горячий воздух. Я отдаю ему остаток лепешки, но ему не до еды. Весь он трясется, захлебываясь от нехватки кислорода. А сам не сводит с меня своих умных глаз. В них и торжество и верность.

Спускаемся с Карарбахом по тропке, ведущей вниз, к северному краю подножья Ямбуя. Там, у кустарников, она раздвоится: одна направится к ручью, вторая влево — к лиственничному редколесью. По этой тропке мы еще не ходили.

Ветер от нас — это плохой ветер. Идем, все время оглядываясь, чтобы не наскочить на засаду. Какое непростительное ротозейство допускали мы в прошлые разы, спускаясь по этому склону! Ничего бы удивительного не было, если бы тогда меня с Павлом слопал медведь. Очень хорошо как-то сказал Улукиткан: мать дает жизнь, а годы — опыт. Именно опыта часто нам и не хватает!

В этот день нашей охоты на медведя я ощутил на себе неотразимую силу влияния Карарбаха. Как быстро этот глухой, неразговорчивый старик подчинил меня себе! В нем чувствуется не знающая отступлений воля, выкованная в неудачах, не позволяющих старику доверять другому свою жизнь. Он как бы напоминал мне нашего далекого предка, идущего на поединок с пещерным медведем, — человека, обладающего природным даром охотника, для которого охота почти сущность жизни. Солнце уже на краю неба. Мари лежат в золотой прозрачной мгле. По извилистым кромкам хмурятся синие ели. Вода в озерах не колыхнется, словно отяжелевшая.

Над ними в вышине парит одинокий коршун.

Подходим к тому месту, где вчера видели отпечаток сапога. Еще метров сто — и тропинка раздвоилась. Левая, по которой идет наш путь, исчезает в низкорослом кустарнике. Мы приостанавливаемся. Тут все возможно: внезапная встреча, засада, нападение с тыла. Чаща — неподходящее место для охоты, тем более на медведя.

Стоим, как бы не решаясь войти в кустарник. И вдруг перед нами закачался стланик. Ветра нет, и воздух недвижим, а стланик качается взад-вперед, как бы преграждая нам путь. Карарбах мрачнеет — недобрая примета. Мне тоже как-то не по себе. Любой из нас, кто провел долгие годы наедине с природой, невольно начинает верить, хотя и невсерьез, в приметы, в счастливые и несчастливые дни, в предчувствия. Хочешь ты или не хочешь, такая обстановка как бы возвращает тебя к предкам. И хотя ты втихомолку подсмеиваешься над собою, но продолжаешь верить и не огорчаешься, что обманываешь сам себя.

Карарбах срывает пучок сухого ягеля, сильно разминает его в пыль и бросает в воздух. Мельчайшие частицы лишайника как бы повисают в пространстве голубоватым облачком. Затем начинают медленно отклоняться от нас на север, куда лежит наш путь.

Самое невыгодное направление течения воздуха.

На лице старика я замечаю признаки колебаний. Вытягиваю шею, он бросает взгляд куда-то влево. Беспокойно смотрит на низкое солнце.

— Пойдем... — говорю я старику и делаю первый шаг по тропинке в кустарник.

Он ловит меня за руку, возмущенно смотрит в глаза, дует сквозь сжатые губы, тычет пальцем мне в лоб и насмешливо выпаливает какие-то слова. Вероятно, говорит, что у меня пусто в голове, если я решаюсь идти к опасности по ветру. Затем показывает влево, на голый, каменистый гребень, врезающийся глубоко в стланики, предлагает идти туда и, не дожидаясь моего согласия, выходит вперед.

Он идет короткими шагами вдоль кустарника, ступает бесшумно, как лань.

Только попав на гребень, я понял замысел Карарбаха. Он хочет пересечь заросли стлаников примерно посередине, под прямым углом к течению воздуха. Это оградит нас от внезапного нападения.

Пройдя по гребню метров полтора, Карарбах остановился. С высоты гребня хорошо был виден пологий склон гольца, заросшего двухметровым стлаником.

Оба с минуту стоим, прежде чем шагнуть в темные закоулки зарослей, в подозрительную тишину. Для медведя кустарник — его дом.

Не слишком ли мы рискуем, решаясь в этот поздний вечерний час войти в переплетенную стволами заросль, не накроет ли нас тут людоед? Может быть, лучше отложить на завтра?

Но поддайся этому соблазну, и тобою овладеет омерзительный страх, и ты никогда больше не заставишь себя пойти навстречу опасности.

— Пойдем вместе, или как? — спрашиваю я жестами Карарбаха, уже готового покинуть гребень.

Старик просит дать ему Загрю. Затем долго и трудно объясняет мне, как действовать. Если труп Елизара или людоед окажутся справа, откуда идет на нас течение воздуха, то их непременно обнаружит Загря и даст знать. Я должен идти на расстоянии пяти шагов от него и контролировать левую сторону, откуда до Загри запахи не будут доходить и опасность может быть более реальной.

Карарбах достает нож и подрезает наполовину поводок у ошейника Загри. Если людоед бросится на старика, Загря сильным рывком порвет ремешок и отвлечет на себя ярость медведя, а старик тем временем успеет вскинуть бердану и выстрелить. Ружье он несет наготове.

Мы продвигаемся со всевозможными ухищрениями, стараемся быть незамеченными, всецело положившись на чутье Загри.

Шаги у старика узкие и мягкие, как у кошки. Голова как маятник все время качается то вправо, то влево. Изредка он бросает короткий взгляд на идущую впереди собаку.

Я иду его следом, иду и думаю: ружьишко-то у тебя, друг, ненадежное, старенькое, еще с прошлого века, скрепленное проволокой, железками от консервных банок. Да и патроны самодельные, не всегда разряжаются... И удивляюсь, что он так надеется на свое ружье. Старик верит в себя, и эта вера помогает скорее увидеть добычу, разрядиться патрону, спасает от многих неприятностей.

Для меня ничего не существует, кроме Карарбаха и зарослей слева.

Идем долго, хотя не так уж много прошли от гребня. Время сглаживает напряженность. Но вот слева, как сигнал тревоги, далеко крикнула кукушка. Загря вздрогнул и замер, подняв высоко морду с раздутыми ноздрями. Его шерстистый хвост, накинутый веером на спину, стал выпрямляться, вытягиваться. Поднялся загревок. Карарбах почти незаметным движением руки подал мне знак — быть настороже.

Я шагнул вперед, к просвету слева от старика. Загря, потихоньку переставляя ноги, двинулся вперед, громко глотнул воздух, еще и еще, и, оторвавшись от поводка, привязанного к поясу Карарбаха, огромным прыжком бросился в стланик. Затем послышался быстро удаляющийся шорох, и все смолкло, точно провалилось в пустоту.

Старик, не опуская берданы, кивком головы напомнил мне, что нельзя без присмотра оставлять тыл. Но тут залаял Загря. Послышалось сильное хлопанье крыльев, и из стлаников поднялись два старых белохвостых орлана. Они быстро пронеслись мимо нас.

Карарбах проводил подозрительным взглядом птиц, обернулся ко мне. Я жестами объясняю ему, что лает Загря. Он пропускает меня вперед, заставляет идти на лай.

Загря лает без азарта, редко, лениво. Это не на медведя.

На узкой россыпушке кобель встречает нас и моментально поворачивает назад. Мы прибавляем шаг. Ветки хлещут по лицу, руки не успевают защищаться. Ноги застревают между стелющимися стволами. Загря выводит нас на край небольшой котловины.

— Ую-ю... — вырывается у Карарбаха удивление.

Посреди котловины возвышается продолговатый холмик из лесного хлама. Поверх него торчат четыре медвежьи лапы, вскинутые кверху истоптанными пятками, со скрюченными в предсмертных муках когтями. Низкий густой ерник, что покрывал котловину, вырван с корнями, стланик изломан, камни разбросаны, всюду клочья шерсти, кровь и глубокие ямы. На свежеизрытой земле отпечатались медвежьи лапы: крупные и поменьше.

С одного взгляда мы догадались, что здесь, в котловине, встретились два лесных великана.

Холмик насыпан совсем недавно и был теплый от солнечных лучей. Я сбросил с мертвого зверя землю, мох, ветки. Это была молодая самка лет трех, страшно изувеченная сильным противником. Он перегрыз ей горло и переломил позвоночник. Со спины содрал широкий ремень кожи и переломал ребра. Видно, и после ее смерти медведь еще долго творил над ней расправу.

Такая злоба к своим собратьям живет, вероятно, только у медведя. Особенно это проявляется у самцов в годы полного расцвета сил. Тогда они беспощадны ко всему живому. В старости же, когда притупляются у них когти и клыки, они становятся жертвой своих собратьев.

Орланы уже выклевали глаза у медведицы.

Что же не поделили тут эти хищники? Неужели из-за орехов? Не может быть!

Старик тоже озабочен. Он начинает осматривать холмик. Низко пригибаясь, идет по кромке котловины, ищет следы. Я стою на карауле.

Загря, разнеженный вечерним теплом, беспечно развалился на каменной плите, дремлет с закрытыми глазами. Но уши начеку.

Длинные тени деревьев ложатся на широкие просветы болот. В зарослях дразнятся кедровки. Кричит куропатка, созывая на вечернюю кормежку свое беспокойное семейство. Под просторным куполом неба парят две птицы.

Карарбах возвращается в кустарник, склоняется к земле, что-то ощупывает руками и молча зовет меня к себе. Не поднимаясь, показывает на небольшой отпечаток лапы медведицы. Наступая на мягкий ягель, она вдавила в него алюминиевую ложку. Откуда взялась ложка? Я поднимаю ее. На ручке выбиты точками две буквы: "Е. Б.". И хотя мы были подготовлены к самым ужасным открытиям, эта находка поразила нас.

Мы напали на след Елизара.

Карарбах тащит меня в котловину, и метров через шесть мы увидели на мху под стлаником лежку крупного медведя. Старик тычет пальцем в глубокие следы когтей в земле и прыжка и всем корпусом изображает схватку зверей. Он объясняет, что медведь под кустом устроил засаду и отсюда напал на свою жертву. Но почему именно здесь, в котловине, он подкарауливал медведицу?

Старик идет по кромке котловины вниз. Вот он останавливается, нагибается, показывает рукою под ноги. Я подхожу к нему, вижу волос и крупные следы медведя на нем, обращенные пятками к нам. Несомненно, тут хищник, пятясь задом, тащил через стланик по мху и камням Елизара. Я поднимаю с земли пуговицу, вырванную с клочком ваты, хочу показать Карарбаху, но он уже шагает по волоку влево...

Его морщинистое лицо стало вдруг вытягиваться, руки с берданой опустились, губы что-то шепчут.

У нижнего края котловины, за единственным стланиковым кустом, мы обнаружили второй холмик, как будто прикрытый телогрейкой. Мне показалось, что при нашем появлении телогрейка приподнялась и медленно опустилась, точно кто-то под нею испустил дух. Потом я еще долго не мог освободиться от этого видения.

Елизар лежал вниз лицом, возвышаясь над холмиком скрюченною спиною. Кожа, содранная когтями с головы, от лба прикрывала рану на затылке. Он был схвачен и убит медведем, очевидно, сзади и так внезапно, что не успел даже повернуться лицом к опасности.

Мы с Карарбахом стоим у изголовья покойника, сняв шапки, подавленные. С печалью вспоминаю я о погибших здесь других людях. Они были все молоды, в том возрасте, когда трудности путешествия кажутся сладостью, они мечтали увидеть под собою побежденные вершины гор, незнакомую тайгу, реки. Но на пути к цели они неизбежно должны были столкнуться в этом суровом краю с большими трудностями, должны были рисковать собой. И в этой борьбе за освоение необжитых пространств геодезисты оставляют вот такие, часто безыменные, могилы.

Кончается день.

Карарбах подает мне знак торопиться.

К ночи медведь непременно вернется к своей добыче, чтобы оградить ее от других хищников. Вернее всего, он явится сюда, чтобы устроить пир. А в темноте на его стороне будут все преимущества.

Карарбах хватает меня за телогрейку, тянет за собою вниз, к озерам. Предупреждает, что встреча с медведем около его добычи слишком опасна.

Что делать? Неужели бросить труп товарища на растерзание хищникам?

Решение приходит сразу, само по себе, помимо моей воли.

Останавливаю старика, произношу медленно по слогам:

— Я остаюсь караулить Елизара, — и показываю рукой на землю и на холмик.

Старик не понимает меня, но догадывается, что я затеваю что-то безрассудное.

Подтверждаю еще и еще свои слова более убедительными жестами. У Карарбаха поднимается кожа на лбу, взгляд становится строгим, неуступчивым. Он снова изо всех сил пытается тащить за собою непонятливого лючи.

Уговариваю Карарбаха идти на табор. Но старик садится на землю, не хочет оставлять меня одного, убеждает, что оставаться в котловине на ночь, даже вдвоем, равносильно смерти. Эта настойчивость трогательна. Однако я непреклонен в своем решении и не хочу думать о том, что ждет меня.

Может, ночью повезет и я встречу с людоедом, постараюсь рассчитаться с ним.

Хочу перехитрить старика, отослать его с запиской. И тут обнаруживаю, что забыл на Ямбуе записную книжку. На чем же писать, когда нет бумаги? Иначе не отправить старика. И надо торопиться: не ровен час, людоед может захватить нас врасплох. Случайно взгляд падает на руку старика. Смачиваю слюной его ладонь, пишу химическим карандашом:

"Цыбину. Найден труп Елизара. Остаюсь караулить его. Приходите утром с рабочими похоронить погибших".

Говорю старику, что это очень важное сообщение и что его надо как можно скорее доставить на табор.

Карарбах неохотно сдается. Отрываю от штанины лоскут, бинтую им исписанную ладонь, но так, чтобы при необходимости можно было свободно владеть ружьем.

Старик окидывает тревожным взглядом местность и тащит меня к нижнему краю котловины.

— Тут... тут, — говорит он, приседая.

Дескать, здесь садиться надо, и объясняет, что ночью течение воздуха будет сверху вниз и людоед, придя в котловину, может не догадаться, что его здесь подкарауливает человек. Это был очень дельный совет, и я, чтобы успокоить старика, положил на этом месте телогрейку.

Прежде чем скрыться в зарослях, Карарбах оглянулся. Я помахал ему рукой. И вдруг показалось, что от меня уходит последний человек, что больше мне не суждено увидеть людей.

Загря лежит с поднятой головой, непрерывно прядает ушами, как говорят эвенки — собаки слышат даже вздохи комара. Поэтому для Загри никогда не бывает тишины в природе: окружающий мир всегда полон шорохов, звуков, но только немногие из них возбуждают в нем любопытство.

НОЧНОЙ ПОЕДИНОК

Растеклись по синеве тучи. От звезд чуточку посветлело. Обозначилась котловина, и даже просветы в зарослях. Свежая струя воздуха набегает на лицо. Это очень хорошо: ветерок уносит наш запах от котловины к подножью гольца, и появление медведя мы сможем заметить раньше, чем он обнаружит нас.

Невидимая птичка пикнула в чаще и смолкла, точно умерла. Загря, не шевелясь, посмотрел на меня, как бы пытаюсь разгадать, какое впечатление произвел на меня этот первый ночной звук. Но вдруг кобель мгновенно вывернул уши влево, туда же скосил глаза, и редкая щетина на его нижней губе задрожала.

Затаив дыхание, слежу за ним. Кто-то рядом наступил на опавший ольховый лист, послышалось еле уловимое дыхание. Руки инстинктивно хватают карабин. Загря и теперь не повернул головы на звук, только сильно скошенные глаза неподвижно застыли на каком-то предмете.

По направлению взгляда собаки появился живой рыжий комочек. Бурундук! Зверек догадался, что обнаружен нами, поднимает крик. Я угрожаю пальцем Загре — лежать! Он как будто успокаивается, но с его морды не сходит напряженность.

А бурундук носится вокруг скрадка, то взберется на стланик, то на пень и писком своим явно выражает протест. Наверное, под нами находится вход в его нору и из-за нас он не может попасть в нее. А уже пора спать, дни-то у него в эту пору полны больших забот.

Загрю раздражает близость бурундука, и хорошо, что тот догадался вовремя исчезнуть, а то бы кобель не посмотрел на мои предупреждения.

Появились желтоглазые совы, настал и их час. Они беззвучно, как тени, носятся над котловиной, кружатся над холмиками, ненадолго исчезают в темноте. Оживает притихший на время мир. На добычу выходят ночные хищники. Они тоже неслышно бродят всюду по закрайкам болот, по перелескам, шныряют по кустарникам. Всю ночь тревожно спят и их жертвы.

В темноте возникают два светлячка. Они проплывают над котловиной, как блуждающие огоньки, и гаснут у ближнего холмика. Справа доносится писк. На болоте вдруг неистово закричал гусь, захлопал предсмертно крыльями и смолк.

Ночная жизнь леса, жизнь болот и перелетных птиц, хищников всегда захватывала меня. Что-нибудь да подсмотришь, откроешь для себя новое, но сейчас все это проходит где-то стороной, не задевая сознания и не отвлекая от напряженного ожидания.

Из-за Станового высунулась лиловая туча и угрожающе нависла над Ямбуем. Справа и слева от нее сомкнутыми рядами ползут хмурые дождевые облака. Их подгоняет сухая гроза. На землю падает холодный ветерок.

В надежде, что тучи пронесутся мимо и будет звездная ночь, я решил устроить скрадок на том месте, где советовал Карарбах. Настроение у меня бодрое, даже воинственное. Может, мы и встретимся.

Наламываю хвои, выстилаю ею место, где предстоит мне провести ночь. Я буду в десяти метрах от тела Елизара, и примерно в пятидесяти метрах от медведицы. С тыльной стороны меня будет защищать от внезапного нападения мощный куст стланика, а чтобы остаться незамеченным со стороны котловины, устраиваю искусственный заслон из хвойных веток, высотой чуть ниже сидящего на земле человека.

Мне не впервые караулить зверя ночью, одному, окруженному таинственным молчанием тайги. Я приобрел навык стрелять в темноте по еле заметному силуэту. Но все это было в другой обстановке, когда ты убежден, что в случае, если тебя обнаружит зверь, он не замедлит исчезнуть. Здесь же наоборот, он постарается напасть. И исход будет зависеть от обстоятельств, которые я не смогу предвидеть.

Пользуясь вечерним светом, запоминаю, что находится в створе холмиков на горизонте — это очень важно знать для ночной стрельбы по зверю.

На стланиках, на болотах еще колыхается розоватый отсвет заката и румянятся нижние края толстых туч. В чаще кустарников смолкли последние звуки дня.

Опускаюсь в скрадок. Рядом укладываю Загрю. Над нами смыкаются кроны стлаников. Под их сводом нас трудно заметить, но нам хорошо видны поляна, холмики, край зарослей.

Привязываю Загрю к стволу стланика, надрежаю ременной поводок, как Карарбах в прошлый раз, чтобы при сильном рывке кобель мог разорвать его. Заряжаю карабин, еще четыре патрона остаются в магазинной коробке.

Ночь ложится на плечи, прижимает к земле, и я замираю, точно растворяюсь в загадочных зарослях стланика.

Снова поднимается, гудит в вышине ветер, угоняет тучи. На далеком горизонте лиловый след угасшего заката. Какое-то слабое оживление заметно в кустарниках, будто только сейчас их ночные жители поверили, что не будет дождя, выбрались из своих убежищ. На болотах слышатся распри пролетных птиц, не поделивших места на илистых берегах. Появляются летучие мыши. Их много. Но они быстро рассеиваются в ночном пространстве, и только пара продолжает бесшумно носиться над холмиками.

Какая-то тень быстро проشمыгнула по котловине, и возникший шорох оборвался у трупа медведицы. Затем послышалось ворчание, что-то хрустнуло и стихло.

"Соболь", — мелькнуло в голове.

Загря всполошился было, вскочил и за это получил по носу щелчок. Но ему трудно сдерживать себя, если ветерок забивает нос острым соболиным запахом, который всегда будоражит его до бешенства.

Еще одна тень вынырнула из густой тьмы стлаников, застыла на миг пенечком и бросилась к противнику, затаившемуся у трупа медведицы. Писк, драка, возня взбудоражили уже устоявшийся покой ночи.

Клубок сцепившихся соболей, гремя камнями, катится вниз, все ближе к скрадку. Хищники уже в пяти метрах от нас. В яростной схватке они рвут друг друга, храпят, задыхаясь от злобы, и вдруг клубок разрывается, посрамленный зверек бросается

наутек, ищет спасения в стланиках. Погоня затихает в зарослях кустарников. Драка соболей привлекла филина. Он кружится над холмиками лохматым силуэтом. Ухнул, будто стрельнул холостым зарядом, и исчез.

Сторожкая ночь сгустилась над котловиной. Только ветерок веет прохладой в лицо да табун бесформенных туч молча наплывает на небо.

Над ближним холмиком вспыхивают светлячки, они мигают на одном месте, как свечи у гроба. Потом внезапно гаснут.

Но что это? Холмик шевелится и как будто разваливается. Меня словно током пронизывает, окатывает холодным потом. Хватаю всполошившегося Загрю, подминаю под себя. В темноте замечаю, как с Елизара сползает телогрейка. Покойник в чем-то светлом поднимается на четвереньки, смотрит в нашу сторону живыми глазами. У меня леденеет кровь. А Елизар еще чуточку приподнялся. В ужасе протираю глаза... Нет, это не привидение и не галлюцинация. Покойник снова припадает к холмику, и под ним звонко треснула сухая веточка. Мои руки, как бы сами по себе, выбрасывают ствол карабина вперед, к небу, и немую темень ночи разрывает огненный взрыв...

В блеске мигающего света я увидел на теле Елизара рысь, узнал ее по светлой шубе, по куцему задку и по злому кошачьему взгляду. Она, словно отброшенная звуком, рванулась в кустарник и бесследно исчезла, растаяла в черных зарослях.

Выстрел снимает страх. Все остается на месте, лишь обманутое сердце еще тревожно стучит. С болью думаю, что ночь ведь только начинается. Что же будет со мной дальше?

Хорошо, что со мною мой верный друг! Хочу поймать его, прижать к себе и не отпускать, но он неожиданно вскакивает и, сгорбив упругую спину, настораживается. Повернув голову к восточному склону гольца, нюхает воздух, вдыхая его короткими глотками, и нервно переставляет передние ноги — верный признак присутствия зверя.

Я приподнимаюсь. Темень захватывает котловину. Загривок у Загри щетинится, острые когти глубоко вонзаются в землю, и, чуточку осадив назад, он уже готовится к прыжку.

Я даю ему в бок пинка, но собака не обращает на меня внимания. Где-то там, на склоне гольца, откуда слабый ветерок набрасывает подозрительный запах, ходит зверь, но какой?

Вдруг четко доносится грохот камней под чьими-то торопливыми шагами.

Стук камней обрывается у нижней границы россыпи. Снова тихо-тихо. Медведь, кажется, догадывается, что возле его добычи кто-то есть, неслышно крадется по просветам зарослей.

У меня словно лопнуло сердце, и горячая кровь хлынула по всему телу.

Опять загремели камни, и уже совсем близко.

Загря не выдерживает, вырывается из скрадка, тащит за собой и меня.

Теперь наша встреча неизбежна. Но проклятая темень, ничего не вижу!

Уже у самого края зарослей стукнул отброшенный в прыжке камень, еще и еще...

Ближе хрустнула веточка... И опять все оборвалось. Нет, не грохотом камней страшна эта ночь, не гневом зверя, не темнотою, а молчанием, затаившейся тишиной.

Зверь сползает в ложок вместе с шорохом потревоженной им россыпи.

В углу котловины, куда направлена морда кобеля, возникает большое тусклое пятно. Это он! Прикладываю к плечу карабин и холодею — не вижу ни мушки, ни ствола, между нами сомкнулась тьма... Но вот пятно вдруг оживает, становится заметным, увеличивается, наплывает на нас...

Дорога каждая секунда. Окаянные тучи окончательно заслонили свет. Загря отрывает ремешок, вырывается вперед. Я шагнул было за ним и остановился в беспросветной тьме. Отчаянный лай собаки взбудоражил тишину. Зверь бросается на Загрю, но у него не хватает ловкости поймать его. Я не стреляю — не вижу цели. Поражаюсь своему спокойствию, точно окаменел в эту решающую минуту.

Кобель работает с невероятным остервенением и, отступая, ведет на меня зверя. Вот он вырисовывается из мрака бесконтурной глыбой, уверенный, злой, все ближе и ближе. Я крепко прижимаю ложе карабина к плечу. Проклятье, опять не вижу мушки! Лай собаки, стон зверя, грохот камней сливаются в один нескончаемый гул. Вижу, черное пятно уже подходит к холмику с медведицей, но вдруг ринулось напролом в ночные заросли... Медведь не бежал — канул без единого шороха, растворился в темноте.

Потом где-то за логом снова залаял кобель, затрещал стланик, послышалось тяжелое сопение. Наперерез бы надо, наперерез, да куда побежишь, ничего не видно!

На востоке голец отделился от неба, и облачко над ним посветлело. Где же луна? В грохот камней на россыпи ворвался вой Загри, и я услышал удаляющийся бег зверя. Но он не удрал, нет, стал обходить меня с тыла и затаился совсем недалеко от котловины.

Что же я буду делать, если людоед налетит на меня? В двух шагах ничего не вижу.

Проходят долгие минуты ожидания. Ни медведя, ни Загри.

Взошла луна. Как же непростительно она опоздала!

От холмика, у которого я стою, беззаботно уплывают в чашу два светлячка, и там гаснет их прерывистый холодный свет. Прощмыгнула горбатая тень соболя и замерла в недвижимом воздухе хищным силуэтом. Пониже котловины раздался короткий, дрожащий крик совы; серебристым лоскутом она плавно парит над просветами и исчезает в сумраке.

Кто-то в зарослях протяжно простонал и смолк. Кто бы это мог быть? Не почудилось ли?

Вот опять донесся стон, долгий, протяжный... Боже, да ведь это же Загря! И я, не рассуждая, забыв про опасность, бросаюсь в заросли.

Бегу по еле заметным просветам. Перескакиваю через рытвины, кустарник, спотыкаюсь о камни, замаскированные лишайником.

За волнистым гребнем на россыпи в ложке лежал Загря с беспомощно болтающимися в воздухе ногами. Увидев меня, пес с трудом пошевелил головой, попытался встать и от боли заскулил.

Хватаю его за передние лапы, вырываю из щели. Он ревет, болезненно поджимает левый бок, хватая пастью мою руку, но не кусает. На пальцах чувствую липкую влагу, кровь. Видимо, медведь хватил его так сильно, что кобель, проделав в воздухе сальто, попал спиной в щель между крупных камней и не мог сам выбраться. Но вот что удивило меня: зверь не растерзал его.

Скорее назад! Скорее из зарослей, где все враждебно и где ночью в темноте ты беспомощен, как слепой щенок!

Загря припадает на все четыре ноги, еле поспекает за мною. Вид у него неважный.

Вот и котловина. От холмика бросаются во все стороны вспугнутые нами тени. Видимо, уже по всей округе среди хищников разнеслась весть о медвежьей добыче, и любители поживиться сбегались на ночной пир. Из темных закоулков чащи за нами следят соболи, колонки, слышится злобное фыркание горносталя.

Большая ночная птица прощмыгнула низко над котловиной и, исчезая во мраке, бросила протяжно: "Куу-и... Куу-и...".

Стою у тела Елизара. Рядом у ног лежит Загря. Он как будто оглох, потерял чутье. Тяжело дышит и, изредка вытягивая морду, безучастно смотрит в пустое небо, "Неужели Загря после этого случая будет бояться медведя?" — с горечью подумал я. Накрываю Елизара телогрейкой, отброшенной рысью. Укладываю Загрю под холмиком. Боже, еще только одиннадцать часов, а я уже поглядываю на восток, жду рассвета. Как нестерпимо медленно тянется время!

Неодолимой тяжестью наваливается сон. Не знаю, как бороться с ним... Одним рывком разрываю рубашку на груди — так, кажется, легче.

Дремлют скалы, мари. За каменными грядами Ямбуя спят люди, бубенцы на шеях оленей, речные перекаты. Все спит, и только я один стою, будто распятый, у холмика.

Незаметно теряю связь с окружающим, опять забываю, зачем я здесь, кого жду. И кто-то добрый незаметно уводит меня в чудесный мир, не знающий тревог...

Из рук выпадает карабин, больно бьет по ноге, и я вырываюсь из пагубного забытья. Сбрасываю телогрейку, разорванную рубашку. Остаюсь полуголым с патронташем на животе. Проходят минуты. Мороз впивается в тело. Пальцы замерзли, не подчиняются мне. Я дышу на них, растираю, пока они не оживают. Сам немного отогреваюсь.

И, как всегда в трудные минуты, вспоминается далекий родной Кавказ, с седыми снежными вершинами, со сторожевыми пиками, с тенью чинар, с костром под ними, с пасущимися конями на душистой поляне и с луною, холмы, что виднелись за станицей, таинственные дебри лесов... Эти грезы детства ушли со мною в жизнь светлыми; я храню их, как бы проверяя временами: о чем мечтал еще веснушчатой мальчишкой у околицы и чего добился в пятьдесят...

Вскакивает встревоженный Загря. И вдруг взгляд задерживается на светлой полоске под темным сводом стланика, метрах в двадцати от меня. Пытаюсь вспомнить, была ли она раньше? Отвожу взгляд влево и снова подвожу его к пятну. Нет, не была!

Прикладываю ложе к плечу.

Но не успеваю выстрелить — пятно исчезает.

Вижу, правее, в том же провале, снова появляется пятно, но больше и яснее. Это, кажется, белая манишка на груди людоеда.

Чувствую, как в меня впиваются звериные глаза, и будто полчища муравьев бегут по спине вверх и вниз... Пятно приземлилось, сузилось, зверь как будто готовится к прыжку.

Выстрел моргнул ярким светом. Я увидел зверя. В следующее мгновение он метнулся к закрайку, упал и остался на еле заметном ягеле темным бугром.

Струдом переставляя ноги, неслышно подошел к нему. Зажег спичку... У ног лежала убитая росомаха.

Ноги подламываются, не могут удерживать тяжесть тела. Опускаюсь на землю, приятная слабость растекается по всему телу. Нащупываю руками Загрю, прижимаю к себе. И вдруг в полудремоту врывается вой: "Ую-ю!.."

Вскакиваю.

Это ветер. С жутким посвистом он налетает на стланик, расползается по склонам гольца, уходит на болота. Повалил густой, липкий снег. Будет ли когда-нибудь конец этой ночи! Или так и останутся мрак, холмик и воющий стланик?

У подножья гольца протяжно взревел зверь. Мне почему-то показалось, что в руках у меня не карабин, а палка. С ужасом ощупываю ружье: не начинается ли у меня галлюцинация?

Возникают новые сомнения: а есть ли в карабине патроны?.. С нервной поспешностью отбрасываю затвор и с облегчением убеждаюсь, что все в порядке.

Чертовски обидно, но что поделаешь, если мне сегодня не везет.

До рассвета еще два часа — целая вечность. Вряд ли так долго я смогу бодрствовать. Всю ночь стою на ногах, как за какую-то провинность. И не сойду Ли я с ума от этих безнадежных ожиданий? Разве уйти из котловины, забраться в россыпи, разжечь костер?.. Но и там, у огня, не спасешься от людоеда. Да и нельзя бросить Елизара.

Ударил дятел. Расползся долгожданный звук по зарослям, свалился в равнину.

На востоке горизонт отделился от хмурого ночного неба. Тронулись тени. И как-то сразу, точно по сигналу, на болотах послышался птичий гомон...

Утро. Какое счастье! Даже не верится, что я дождался его, что снова увижу людей, солнце, смогу отогреться у костра.

— Ого-го!.. — перекрывая звуки наступающего утра, сползает с россыпей человеческий голос.

— Ого-го! — отвечаю я и окончательно убеждаюсь в том, что я жив и что уже утро.

Слышу людские голоса. Хочу пойти навстречу товарищам, но не могу сдвинуться с места — ноги не мои. Из чащи с берданой наготове высовывается Карарбах. Я

пытаюсь улыбнуться. У старика на морщинистом лице вспыхивает удивление. Он вскидывает ружье на плечо и, вытянув вперед руки, спешит ко мне. Хлопает загрубевшей ладонью по моему плечу и что-то бормочет на своем непонятном мне языке.

За ним появляются Цыбин, Павел, Долбачи. Они разом подходят к Елизару, снимают шапки. И все мы долго стоим молча.

У Павла затуманились глаза, дрогнули подбородок и губы. Он опустился на колени.

— Прости, Елизар, я не думал, что так получится, — прошептал он. Ко мне подошел Цыбин.

— Здесь, видимо, все против нас, — проговорил он. — Было страшно?

— Хорошо бы сейчас костер развести и согреться, потом все расскажу.

Карарбах и Долбачи не стали дожидаться моего рассказа. Им захотелось самим разгадать, что произошло в котловине ночью. Они долго ходили по просветам в кустарниках, рассматривали следы. Потом подошли к убитой росомахе.

Стланиковые дрова разгораются быстро. Лежа у костра, я с наслаждением глотаю горячий, смольный, разбавленный дымком воздух, подставляя огню то грудь, то спину. Я не сопротивляюсь усталости, отдаюсь ей полностью и засыпаю.

МОГИЛА ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ

Меня будит неожиданный звук, будто гул набатного колокола в широкой степи. Хаотически всплывают, как нечто очень далекое, жуткие отрывки ночи, рев зверя и клыкастая пасть медведя.

Со страхом открываю глаза. Вечнозеленый стланик окружает меня кольцом одиночества. Небо пустое, высокое. Земля кажется чужой, ни звука на ней, ни шороха. Кто-то стоит с ружьем у костра. Знакомый овал спины и латки на одежде.

Кто этот человек и почему днем горит такой большой костер?

Человек подходит ко мне, улыбается, помогает подняться. С трудом встаю, все болит, ноги не повинуются.

— Хорошо спал? — спрашивает он, ощупывая меня пристальным взглядом.

Я молча киваю головой.

Лицо у него плоское, будто молотом приплюснутое, где-то уже встречалось мне, но где — никак не вспомню!

— Моя вода тащи, чай варим, потом ходить будем, а ты хорошо кругом смотри, — предупреждает он меня и, захватив чайник, скрывается в чаще.

Вижу под стланиковым кустом скрадок, и тут как-то сразу все встало на свое место. В прозрачном утреннем воздухе стоит знакомый Ямбуи, впаянный в неподвижную синеву неба. Вокруг вчерашняя тайга, одетая в лохмотья осеннего пурпура, и контур свинцовых озер у подножья гольца. Слышу крик осиротевшей чайки на болоте. И все события ночи, до мелочей, стали реальными. Вспомнил и эвенка — это же переводчик Цыбина — Тешка. Он с ружьем караулил меня у костра.

В котловине ни трупа медведицы, ни Елизара. Куда они девались?

Снизу доносится стук топора. Это наши что-то делают у подножья гольца.

Из-под стланикового куста смотрит на меня пара собачьих глаз. В них боль и усталость. Загря!

У собаки поранен правый бок. Зверь ударил кобеля лапой, содрал лоскут кожи. Я переносу Загрю на поляну, достаю нож. Собака недоверчиво следит за мной, готовая защищаться. Беру осторожно свисающий кусок кожи на боку и одним взмахом отсекаю его.

Кобель вскакивает, вырывается и со всех ног бросается в кустарник. Оттуда тайком поглядывает на меня.

У изголовья, где я лежал, замечаю сверток. Развертываю. Вид лепешки и куса отварной оленины, чуточку пахнущей чесноком, окончательно отрезвляет меня. Жадными пальцами отламываю кусок лепешки. Какое блаженство! Я действительно жив и не рехнулся!

Загря пристально следит за мной из глубины кустарника. Он голодный, как и я. С отвисшей губы стекают на землю прозрачные струйки слюны. В широко открытых глазах ожидание,

— Иди, Загря, помиримся, — и я показываю ему кусок мяса.

Сломилась обида. Кобель поднимается, встряхивает лохматую шубу, подходит ко мне, следит, как я делю лепешку и мясо на две равные части. Одну отдаю ему. Он, как тигр, набрасывается на кусок, мгновенно проглатывает"

— Ну и дурень же ты, Загря, слопал без удовольствия!

В стланиках послышался шорох. Засунув недоеденный кусок в карман, хватаю карабин, Загря поднимается, громко тянет носом воздух. А шорох ближе.

Крайний куст вдруг качнулся, раздвоился, и из темной глубины зарослей высунулся ствол берданы, затем показалась голова Ильи.

Он окидывает спокойным взглядом поляну, чуточку задерживается на костре, уже развалившемся на угли, и, увидев меня с карабином в руках, смотрит, точно впервые встретились. Из-за его спины появляется голова Карарбаха с копной нечесаных волос.

Илья пропускает вперед Карарбаха, недружелюбно косится на меня.

— Где люди? — спрашиваю его.

— Там. — Он кивает головой в сторону, откуда давно доносится стук топора. — Елизара тащили в тайгу, могилку делают. Цыбин говорил, тебе скоро надо идти туда. В голосе каюра по-прежнему неприкрытая враждебность. Видно, никогда этот вольный и доверчивый житель леса не переживет обиды и не простит жестокости людей.

— Сейчас пойдем, — и я вскидываю на плечи котомку, привязываю к поясу Загрю. Только теперь заметил, какой у нас с ним жалкий вид!

Карарбах разгребает посохом тлеющие угли, вытаскивает наружу медвежий череп и кости.

— Зачем сожгли медведя? — спрашиваю Илью.

— Старик сказал: не надо оставлять амакану пищу. Когда он сытый, все равно что люди, много спит, его не увидишь, а когда голодный — туда-сюда ходит, везде след оставляет, можно скоро найти его, — поясняет Илья. -- Карарбах хочет посмотреть место, где амакан убил Елизара.

Появляется Тешка. Он принес чайник воды и полную чашку спелой голубики.

— Я мало-мало чай пью, потом ходить буду туда, — он показал рукой в сторону, откуда слышался стук топора.

— Хорошо.

Мы все покидаем поляну. Впереди идет старик. Он ведет нас по волоку, где несколько дней назад медведь тащил Елизара. Лицо проводника спокойно, как застывший базальт. В руках у него бердана.

По его поведению ни за что не подумаешь, что он совершенно глухой. Я серьезно начинаю верить, что у старика развито какое-то неизвестное нам чувство, позволяющее ему ощущать невидимый глазу мир.

Идем густым стлаником. Небо не разъясняется, повисает над нагорьем серыми взлохмаченными тучами. Но осень становится все щедрее на цветы. Сегодня, в отличие от вчерашнего, она по-новому украсила землю, все золотистее делаются ее бесконечно разнообразные краски. Киноварью забрызгала склоны Ямбуя, лазурью залила озера, а от подножья гольца до самого края равнины положила густой, тяжелый пурпур. Прошла его тончайшими голубыми ручейками. И какими бы ты заботами ни был обременен, не можешь оставаться равнодушным к этой чарующей картине увядания природы.

Даже старик нет-нет да и остановится, окинет взглядом лежащее у подножья в осенней позолоте нагорье.

Илья не отстает. Неслышными шагами он притаптывает мой след.

Неожиданно Карарбах наклоняется к земле, что-то поднимает. Расческа! Проходим еще метров двадцать — сапог, подальше — второй. Рядом клок волос, вдавленный

сильной медвежьей лапой в ягель, и всюду на волоку ватные лоскуты от телогрейки. Вот и чуть заметная тропка, протоптанная геодезистами, по которой мы с Карарбахом должны были спускаться вчера. На земле кругом следы схватки: мох взбит, россыпь сдвинута, земля в ямах и на бледно-желтом ягеле лежат темные пятна еще не смытой дождем крови. Здесь и произошла неожиданная встреча Елизара с людоедом. Видать, нелегко досталась медведю добыча.

Карарбах предлагает нам с Ильей наблюдать за кустарником, а сам, не выпуская из рук берданы, начинает тщательно обследовать место. Крючковатыми пальцами он ощупывает каждую вмятину, внимательно осматривает следы сапог и лап, постепенно восстанавливая картину схватки медведя с человеком. Но и теперь на обветренном лице старика не прочесть, что его тут удивило или опечалило.

Старик нашел входной след Елизара в стланике, и, по его заключению, парень шел по тропинке ровным, спокойным шагом, не предчувствуя опасности. Справа от тропки под густым стлаником Карарбах заметил лежку медведя. Видимо, затаившись, зверь ждал свою жертву. Чуть поодаль от куста остались два глубоких отпечатка задних лап зверя, сделанных в момент сильного прыжка.

Из уст Карарбаха срывается крик. Я спешу к нему. Он что-то объясняет мне, тычет пальцем в след зверя и явно досадует, что я не понимаю его.

Подходит Илья.

— Видишь, у амакана левая задняя лапа кривая, — говорит он. — Однако зверь — калека.

Да, след левой задней лапы вывернут внутрь, и она заметно меньше ступни правой ноги.

Вот Елизар, будто с разбегу, вдавил в податливую землю оба каблука, поставленные на ребро, прополз с полметра и, падая, припечатал задом мох. Карарбах хватается себя за затылок левой рукой, как пастью, и знаками объясняет, что медведь напал на Елизара сзади, и так внезапно, что тот даже не успел повернуться к зверю.

Ниже мы увидели несколько глубоких отпечатков сапог. Значит, Елизар не сдался, вскочил на ноги и какое-то время еще сопротивлялся стоя. Но где же ему устоять против звериной силы? Он был снова сбит и боролся лежа. Там, где он упал, был больше всего изломан стланик. Однако волок начинался в другом месте.

Карарбах наклонился, что-то ощупал. Молча машет рукою, зовет нас. И показывает на нож, сильным ударом воткнутый в ствол лиственницы.

Это открытие больше всего поразило нас. Продолжая борьбу с людоедом, Елизар сумел выхватить нож, но промахнулся, всадил его в сырой ствол дерева.

Я с трудом вырвал нож. На его тополевой, изящно изогнутой ручке, во всю длину лежала глубокая резная надпись: "Аленка".

Немного ниже, почти на тропе, мы нашли котелок, несомненно принадлежавший Елизару.

В момент нападения медведя он был отброшен далеко вперед.

Случайно ли то, что все погибшие геодезисты были с котелками? Нет ли между ними и нападением людоеда какой-то связи?..

Через полчаса мы без приключений добрались до своих, расположившихся на голом мыске. Тут они решили устроить братскую могилу погибших товарищей. С мыска был виден весь Ямбуи, суровый, строгий, и южный край Алданского нагорья во всем своем печальном убранстве.

Заморосил мелкий прохладный дождичек и точно дымкой окутал землю.

В неглубокой яме, вырытой у самого обрыва скалы, прикрытой полотнищем старенького брезента, лежал Елизар, чуточку сгорбленный, с откинутой назад правой рукой. У его изголовья — останки Петрика и Евтушенко.

Вспыхивает костер. Дым уходит в серое безмолвное небо. От земли поднимался запах зеленой хвои и душистого рододендрона. На снежные вершины Станового упали тени застывших в небе облаков. Они казались траурными черными знаменами, приспущенными над свежей могилкой. С болота донесся крик чайки; он звучал в воздухе материнским плачем.

На обелиске, вытесанном из толстенной лиственницы, сделали скромную надпись: ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ГЕОДЕЗИСТЫ: Е. ПЕТРИК, С. ЕВТУШЕНКО, Е. БЫКОВ, ОТДАВШИЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА КАРТУ РОДИНЫ.

Настала последняя минута прощания. С золотистых листьев молодой осины, как слезы, падают на свежий холмик капли дождя. Все молча стоим, склонив головы...

Мы ушли от могилы, когда уже не было дождя. Ушли с чувством, что навсегда покидаем этот скалистый мыс. Время все сотрет, исчезнет холмик, упадет обелиск, умрет осинка, и ничто уже не напомнит историю трагической гибели людей. Вечны только жизнь и смерть.

Но пока жив человек, он не должен забывать эти оставленные в глуши тайги могилы. Если когда-нибудь сюда, к подножью Ямбуя, придут люди — туристы, геологи или случайно забредут охотники пусть они взойдут на мыс, он хорошо виден с озер, и положат на его вершину, где похоронены землепроходцы, зеленую веточку в знак того, что мы, живущие, помним о них.

Спускаемся к озеру. В вечерних сумерках оно кажется огромным, слившимся с беспредельностью. Озеро отделено от мыса неширокой полоской пожелтевшей осоки. Ничто не тревожит его свинцовый лик.

Я сбрасываю с плеч котомку, нагибаюсь к воде умыться. Она настолько прозрачна, что кажется, глядя в нее, можно увидеть грядущее...

Подожли остальные и тоже стали умываться.

Солнце уже коснулось вершин сухостойного леса и, утопая в нем, опалило огнем всю равнину, до самого горизонта, весь Ямбуй и скопище лохматых облаков, только что прикорнувших на груди Станового. Все преобразилось, расцвеченное нежнейшими красками позднего заката.

Налетел ветерок, прошумел по осоке, всколыхнул озерную гладь и стих. Живые светлячки мигали у кромки воды.

Еще полчаса, и землю обнял густой, тяжелый вечерний мрак. Идем, с трудом нащупывая ногами звериную тропку. Она ведет нас сквозь заросли кустарника, по мшистому болоту к далекому огоньку.

Иду последним. Загря еле плетется по следу, болезненно припадая на задние ноги. Путь кажется бесконечным, ничего не обещающим.

Не хочется думать о завтрашнем дне, о людоеде, о горячей лепешке на таборе у костра... Уснуть бы, только уснуть!..

И вдруг мне показалось, что одинокий огонек, пробивший теплом мрак наступившей ночи, мигает у родного очага. С каким наслаждением я сейчас появился бы там и у знакомого порога сбросил с плеч таежные невзгоды, мучительные дни неудач и километры, разделяющие меня с домом!

Ветерок бьет прохладой в лицо, набрасывает запах жилья, оленей, затухших дымокуров.

Мы прибавляем шаг.

Карарбах уже зашлепал ногами по воде. Впереди, сквозь темноту, показалась знакомая ширь болота. Из ночного леса наплыл лай собачонки. Прорезались силуэты палаток, освещенные бивачным костром, показались люди в настороженных позах. Это были наши друзья эвенки.

— Что, убил амакана? — спросила меня Лангара, поднимаясь и отходя от костра.

При свете огня ее лицо, покрытое бесчисленными морщинами, казалось истомленным ожиданиями. Она в упор смотрела на меня.

— Нет, напрасно промучился ночь, — ответил я, тяжело опускаясь на бревно у огня.

Старушка, присев рядом, шепчет мне в лицо:

— Карарбах говорил, что в этом амакане злой дух Харги поселился. Однако это правда, иначе он не мог так много людей кушать.

— Пустые разговоры, Лангара! Попадись этот медведь кому-нибудь на пулю — не спасет его и Харги.

— Ты не гордись! Если силы мало — не надо драться. Говорю, еще не было человека сильнее духа. Сам видишь, этот не как другой, шибко сердитый. Тебе не убить его!

— Ты попроси Карарбаха помочь нам. Старушка удивленно посмотрела на меня. Она откинула от лица нависшие пряди волос, покачала отрицательно головой и ушла за костер.

Наконец-то можно отдохнуть, освободиться от Забот, от беспокойных мыслей! Поесть — и спать.

Под лиственницей, поодаль от костра, на спальном мешке лежит Рыжий Степан, растрепанный, не сводит с меня печального взгляда.

— Плохо? — спрашиваю его. Нижняя губа у Степана, как от внезапной боли, вдруг задрожала, замигали влажные глаза.

— Павел! — кричу я. — Ты говорил с врачом? Из палатки высовывается голова радиста.

— Когда же говорить, Долбачи пришел ночью, ни одна станция уже не работала, а сегодня воскресный день. Хоть волком вой — никого в эфире нет. С утра бьюсь...

— Рану смотрел? — спрашиваю его.

— Как же, промыл марганцем, залил йодом; температура у него нормальная.

Рыжий слышит наш разговор, лежит, затаившись, будто нет его тут. Не сводит с меня глаз, ждет приговора. Парень понимает, что беда подкрадывается к нему, и он притих, лежит покорный.

— Потерпи, Степан, утром вызовем врача, и все обойдется хорошо, -- пытаюсь я успокоить его.

Из палатки появился повар Федор. Он протирает сонные глаза, удивленно осматривает нас поочередно, как бы не веря, что все вернулись живыми.

— Федор, — кричит Цыбин. — Нас кормить будешь?

— У меня все готово. — Федор показывает на ворох одежды и начинает раскрывать его.

Говор смолк. Все следят за Федором, гадают, чем он будет нас потчевать. А тот сдергивает брезент, телогрейку, байковое одеяло, и мы видим котел, доверху наполненный гречневой кашей.

— Остыла, дьявол, не мог уж укрыть как следует, — ворчит кто-то из рабочих.

Федор, не огрызаясь, кладет в котел кусок масла, запускает в кашу большую самодельную ложку и начинает ворошить ее. Каша вдруг дохнула горячим, ароматным паром, стала лениво разваливаться, рассыпаться на отдельные крупинки.

— Давай накладывай! — не терпится Цыбину.

Федор взглянул на него через плечо, ничего не сказал. Не торопясь, снова накрыл котел байковым одеялом, подбил под котел края и сверху накиннул телогрейку.

— Пусть она, голубушка, понежится, без этого какая из нее каша!

Я и не заметил, как свалились тучи к горизонту, широко распахнув звездную синеву опрокинутого над нами неба. Огромный простор вселенной, будто внезапно открытый, как никогда, казался необъятным. Никогда и звезды не были такими далекими и такими холодными, как в эту ночь.

Сегодня есть что записать в дневник, пока еще не стерлись впечатления от пережитого, пока свежи детали. В этом случае для записей легко находятся и точные слова, и нужные краски, да и оценка событиям дается более беспристрастная, какой бы горькой ни была истина...

Повар загремел посудой. Я закрываю тетрадь, выбираюсь из-под полога. В лагере сумрачно. Еловые головешки горят вяло — больше треску, чем огня. И что я вижу! Илья, опустившись на колени перед Степаном, разбинтовывает его больную ногу.

Он осторожно отдирает от раны присохшую марлю, сам кривится, как от боли. А Степан терпит, лежит с закрытыми глазами, то и дело вздрагивая. Больная нога заметно опухла, посинела, рана сильно загноилась. С нее свисали обескровленные лоскутки мяса. Их надо бы сейчас же удалить, иначе рана не заживет, но как это сделать без совета врача?

К Илье подходит Карарбах, приседает на корточки рядом, тоже деловито разглядывает больную ногу, что-то говорит. Илья одобрительно кивает головой.

Иду к ручью, умоюсь и займусь Степаном. Надо промыть рану — большего ничего придумать не могу.

К ночи резко похолодало. Вода звенит по скользким камням, уходит в темноту. Раздеваюсь догола, захожу на середину ручья. Выбираю поглубже место, хочу схватиться с бурунами... Но тут в ночную тишину врывается душераздирающий крик. Он повторяется еще и еще, будит уснувшую ночь.

Быстро одеваюсь, бегу на стоянку. Под лиственницей собрались почти все обитатели лагеря.

— Ну и мастак! С маху, без наркоза оперировал! — встречает меня Павел.

Илья обеими руками держит ногу Степана. Тот дико ревет, бьется, пытается вырваться. Рана в крови. Карарбах вытирает лезвие ножа о засаленные лосевые штаны. Рыжий в гневе поднимает здоровую ногу, обутую в солдатский сапог, нацеливается, хочет вlepить кованым каблуком в лицо Ильи. Каюр не отодвинулся, не стал защищаться, смотрит на Степана добрыми глазами. Все вокруг стоит в оцепенении. У Степана вдруг спадает гнев, опускается на подстилку нога. Заскрежетав зубами, он смолкает.

Илья пододвигает к себе котелок с густой коричневой жидкостью, хочет промыть ею рану.

— Что это у тебя за раствор? — спрашиваю его.

Слышу сзади голос Лангары:

— Он хорошо делает. Его отец умел лечить всякие болезни. Утренняя роса, почки осины, брусничник, корни папоротника, троелиста, зверобоя, цветы багульника — его лекарства. Он много добра делал людям. Илью мало-мало учил. Сейчас он варил из маральего корня и разной травы лекарство, это поможет Степану. Ты только не мешай, — она властно отталкивает меня от больного.

Я положился на Илью. Когда долго живешь в окружении дикой природы и в какой-то степени предоставлен самому себе, проще смотришь на все эти вещи. Мне много раз в походной жизни приходилось лечить раны народными средствами, и я не отношусь к ним с недоверием. К тому же понимаю, что у Степана нет злокачественного процесса, но что-то надо было предпринимать, и, может быть, хорошо, что с нами оказался Илья. Каюр продолжает сидеть перед больным, заботливо промывая рану отваром.

Потом он долго отпаривал над кипящим чайником листья подорожника, смазал их зеленой мазью, сделанной тоже из каких-то трав, наложил на рану. Я помог ему забинтовать ее.

Степан сник. Не сводит глаз с Ильи. Ему, кажется, стыдно. А Илья кладет на спальный мешок его забинтованную ногу, встает и, не взглянув на больного, уходит к своей палатке. Уходит прежним, замкнутым, непримиримым.

— Ужинать! — кричит повар.

Каши, конечно, не хватило, все ведь здорово проголодались, к тому же она действительно была вкусной.

Лангара разлила по чашкам чай, и через полчаса лагерь стал засыпать.

Ночью будут караулить поочередно три человека. Первым дежурит Федор.

У восточного края земли из туч вырвалась огромная луна и замерла у края небосклона, точно не узнав вечно старую землю, иссохшую в недугах, в латках из марей и болот. И тотчас же из тьмы вышли косматые лиственницы, купы стлаников и обозначились горы. Побежали по болотистой равнине синие тени. Олени, отдохавшие у затухающих дымокуров, поднялись и лениво разбрелись по лунным полянам.

Перед сном я подхожу к Карарбаху, допивающему чай, как всегда, одинокому. Лицо его осунулось. На щеках впадины, еще более приплюснутым кажется широкий нос. Шутка ли, такая нагрузка в семьдесят лет!

— Лангара, помоги мне поговорить с Карарбахом, — позвал я старуху, расстилавшую у огня шкуры для постели.

Она подошла к нам и, распустив широкую юбку, как квочка крылья, плавно опустилась на землю.

— Какой у тебя разговор к нему? — насторожилась она.

— Я прошу его остаться у нас на несколько дней, пусть поможет нам убить людоеда. Лангара потянула Карарбаха за рукав. Он оторвался от чашки, взглянул безразличным взглядом, и мне стало жаль старика. Я не имел права втягивать его в это слишком рискованное предприятие. Не пора ли действительно отблагодарить их с Лангарой за помощь, оказанную нам, и распрощаться... Они и без того много сделали для нас, открыв тайну Ямбуевского гольца. Но я твердо знаю: без старика нам трудно будет справиться с людоедом.

— Карарбах толмачит: от сытого желудка голова плохо думает, отдыхать надо. Вечер не знает, что будет утром, — сказала Лангара.

— Хорошо, давайте спать. Вы завтра не собираетесь возвращаться в стадо? — спросил я осторожно.

Старуха удивленно посмотрела на меня. Она положила горящий уголек в потухшую трубку, не спеша затянулась.

— А ты уехал бы, когда люди такая беда?

— Конечно, нет! — обрадовался я.

Уходя от костра, я увидел между корней лиственницы спящего Загрю. Молча погладил его по спине; он даже глаз не открыл, только вздрогнул.

Спальный мешок после минувшей ночи у холмиков показался мне неслыханной роскошью.

Как бы я ни устал, какой бы ни была спокойной ночью, непременно пробудишься перед рассветом, когда просыпаются в тайге первые звуки утра, и на этот раз я проснулся именно в этот ранний час. По небу плыла полная луна. Теплый запах горящего сушняка смешивался с запахом поджаренной копченки. У огня, горбя спину, сидела Лангара с винтовкой, изредка поднимая голову и бросая тревожный взгляд в пространство. Красные блики костра плясали по ее лицу.

Почему она дежурит?..

Выбираюсь из-под полога. Никого нет, все спят.

За костром лежит Федор, прижавшись к стволу лиственницы и уронив беспомощно голову на грудь. Но ведь он должен был дежурить с вечера! Неужели еще полночь? Гляжу на небо, скоро рассвет.

Неслышно подхожу к Лангаре. Она вздрагивает от неожиданности.

— У тебя, однако, есть махорка? С пустой трубкой ночь шибко длинная, — говорит она.

— Еще этого не хватает, чтобы ты, Лангара, ночью дежурила!

— Я правильно делаю. Этот спи, он молодой, ему сон хорошо, — она показывает на Федора, — а те люди вчера шибко морились, вот я и сию. Да без табаку ночь не пересидеть...

— Зачем тебе эта забота? Спала бы.

— У старого человека сон отлетает, как осенний лист от березы. — Она отрывает от шипящей на углях копченки благоухающий кусок, дает мне.

— Так рано не привык завтракать, — говорю я, подавая ей кисет, но от мяса все же не отказался.

Лангара достала из-за пазухи самодельную трубку с длинным таволжаным чубуком, опустила ее в кисет, зачерпнула табаку. Я подал горящий уголек.

В палатке послышался сдержанный голос Цыбина:

— Петька, дьявол, спишь?! А ну, живо на дежурство!

Кто-то зевнул, стал одеваться, зашаркал сапогами.

Из перелеска за марью, пронизанного лунным светом, появляются рогастые чудовища — олени. Направляясь к стоянке, они лениво шлепают по болоту, размешивая серебро воды и нарушая устоявшуюся тишину.

Озарился восток голубоватым светом.

Я подхожу к Степану. Он не спит. На чуточку бледном лице спокойствие.

— Как твои дела?

— Ничего, только рана горит.

— Температура?

Он приложил ладонь ко лбу.

— Сорок два! — и рассмеялся.

— Шутишь — значит, здоров.

Холод загоняет меня обратно под полог, и, засыпая, я опять думаю о Лангаре и Карарбахе. Что бы делали мы здесь, не сведи нас судьба, не раскрой она нам добрые сердца этих суровых с виду людей

Лагерь весь на ногах. В котлах уже доваривается завтрак.

— Гляньте, снег! — показывает Павел на Становой.

Сквозь фиолетовую мглу утра выкроились по глубокому небу ослепительной белизны снежные вершины. В лучах только что поднявшегося солнца они, как белые костры, пылают по всему горизонту.

— Не вовремя снег, — говорю я, любясь снежной панорамой гор.

— Приходит его пора... Боюсь, не успеем отнаблюдать, — обеспокоенно говорит Цыбин.

— Не успеете?.. Будете наблюдать по снегу.

Цыбин ежится, неловко мнетя. Все слышат наш разговор, ждут.

— Тогда не будем медлить. Разрешите нам всем подразделением идти на голец. Нас много, и медведь не посмеет напасть.

— Вы уверены? Он молчит.

— Хватит и одного могильного кургана, за него еще надо дать ответ...

У костра каюров сидит Лангара. Против нее, на краю сучковатого бревна, примостился Илья. На него обрушивается то сдержанный, то гневный шепот старухи. Она говорит беспрерывно, долго, угрожая ему посохом. Но вот, приподнявшись, ловит Илью за волосы, откидывает назад голову, смотрит в его печальные глаза. И, как будто ничего не добившись, подходит ко мне.

— Говорю, дурак ты, Илья, надо бабу другую брать, идти работать в стадо. Он шибко хорошо олень знает... Ты тоже так скажи ему.

— Говорил, но он не очень-то слушает меня.

— Один человек скажет, другой скажет, третий скажет, все равно сделает, как говорят. Я присаживаюсь к костру рядом с Карарбахом. Он пьет чай, не торопясь, вприкуску. Иногда перестает жевать и сосредоточенно смотрит в чашку, будто пытаюсь разгадать, что сулит ему сегодняшний день. Старик живет в своем замкнутом мире, пожалуй, ни для кого не доступном, и мне было неудобно напоминать ему о наших делах.

А он, заметив меня, отставляет чашку, смотрит по сторонам, зовет Лангару. Она подсаживается к Карарбахе, отодвигает от себя разгоревшиеся головешки, чтобы треск костра не мешал слушать старика.

По тому, как уверенно звучит голос Карарбаха, я догадываюсь, что у старого охотника есть какое-то серьезное предложение. Он говорит быстро, оживленно жестикулируя. Затем старик чертит пальцем перед собою полукруг и, приподнявшись, что-то объясняет, тыча пальцем то по одну, то по другую сторону полукруга, показывает на свою левую ногу, выворачивает ступню внутрь.

Лангара внимательно вслушивалась в его голос, силясь понять смысл звуков, следила за жестами рук. Иногда она перебивала старика, просила что-то повторить.

— Теперь ты слушай, хорошо слушай. Карарбах правильно тебе толмачит. — старушка пересаживается поближе ко мне. — Амакан — калека, его одна нога портилась. Он постоянно живет тут, на Ямбуе. В нем Харги — злой дух! Его не убьешь даже из твоего сильного ружья, а только разгневаешь, тогда новые несчастья падут на людей. Но Карарбах не может оставить вас без помощи. Это закон тайги. Он говорит: лучше гнев духа принять, чем бросить в беде человека. Пойдет с тобою, но

так, чтобы Харги не узнал его. Старик найдет тебе людоеда, может, близко подведет, однако стрелять не будет: Харги хорошо знает его бердану.

— Скажи ему, я согласен.

— Еще слушай. Теперь амакан голодный, шибко осерчал, так прямо на людей ходит, — и старуха вскинула на меня обе руки. — Если ты пойдешь с Карарбахом — это помни.

— Мы должны скоро идти?

— Маленько кушай и ходи. Карарбах хочет торопиться, видишь снег, немного мороз будет; амакан уйдет с Ямбуя в большую тайгу, берлога делать, голец больше не вернется. На другой год твой люди опять пропади тут.

Я толкнул Карарбаха локтем в бок, показывая на себя, на него и на Ямбуя.

Он утвердительно кивает головой.

— Потом ты помни, — говорит мне Лангара. — Если Карарбах тебя приведет близко амакану — Загря будет мой. Ты так сам сказал.

— Да, да, я отдам тебе и Загрю, и палатку, и спальный мешок, лишь бы он помог нам убить людоеда.

Старушка довольная подходит к Загре, приседает на корточки, любовно гладит кобеля.

Идем с Цыбиным умываться к расплескавшемуся по широкому руслу ручью. В лужах ледок после первого заморозка. Он хрустко лопается под ногами, взрывается мелкими брызгами. На камнях перламутровые узоры. А там, где вода плесками покрывает валуны, красуются башни, замки, ансамбли сложных сооружений.

— Слушайте, Цыбин, возьмите одного из проводников, пойдите на марь к озерам и там, против мыса, где похоронены ребята, устройте засаду. Оттуда будете наблюдать за склоном Ямбуя, куда пойдём мыс Карарбахом. Возьмите бинокль. Если увидите медведя — подожгите дымный костер, приготовив его заранее, если же медведя обнаружите возле нас — дайте два выстрела, один за другим, и мы будем знать, что близка опасность. Но это не все и не главное. Вы можете на месте столкнуться с медведем. Мне не нужно объяснять вам, что это значит. Способны ли вы на такую встречу?

— Ну и дальше?..

— Вы не обижайтесь. Это не входит в ваши обязанности по работе, и если вы чистосердечно откажетесь — никто никогда не узнает о нашем разговоре и не упрекнет нас.

— Это моя обязанность, и я пойду. Кого из эвенков советуете взять?

— Поговорите с Долбачи, он надежный проводник, великолепно ориентируется в тайге. Имейте в виду, пойдём на два-три дня, больше у нас не будет времени. Или — или! Понимаете?

Мы вернулись к палаткам. Я позвал Долбачи. Мне не нужно было его упрашивать.

— Как скажешь, так и будет, — ответил на мое предложение эвенк, торопливо запихивая в рот толстый ломоть лепешки и такой же кусок копченки.

Ко мне подходит Загря. Садится рядом, закидывает голову, смотрит на меня в упор печальными глазами. Вид у него неважный. Он плохо ест и за все утро первый раз встал. Ему надо отлежаться. Собака как будто понимает мои мысли и едва заметным движением касается своим телом моей ноги. Я глажу его по мягкой шерсти. Он, видимо, принимает мой жест как знак согласия взять его с собой, вытягивается, качается на слабых ногах взад-вперед, виляет хвостом, уже готовый следовать за мною.

— Нет, нет, Загря, ты не пойдешь!

Но он знает, не было случая, чтобы мы ушли из лагеря без него, -- продолжает радостно потягиваться.

— Павел, — зову я радиста. — Привяжи Загрю и не отпускай. Завтра я приду за ним. Не забудь сегодня передать в штаб о событиях вчерашнего дня.

— Хорошо, передам, — ворчливо отвечает он и продолжает стоять какой-то растерянный.

— Что у тебя? Опять приснилась Светлана? Сходи, окупись разок в Реканде.
Ко мне подходит Лангара.

— Слушай, — говорит она почти шепотом. — Карарбаха надо спрятать от злого духа, обмануть Харги, тогда все хорошо будет.

— Как спрятать, он же идет со мною?

— Другой одежда надо на него надевать. Я беру старуху за руку, отвожу от костра.

— Лангара, ты умная женщина, убеди Карарбаха, что нет на земле Харги, напрасно боится его.

— Я не найду таких слов сказать ему. Он старый люди, не хочет быть другим. Старик должен идти с тобою и после всякое горе будет считать наказанием духов, но, однако, идет. Пойми, это трудно ему, а ты хочешь еще и больно сделать.

— Боже упаси, я хочу облегчить... Время духов давно прошло.

— Он лучше умрет, но не поверит, что Харги нет.

— Хорошо, — сдаюсь я. — Скажи, какую одежду ему надо?

— Все равно, что дашь, лишь бы не похож на Карарбаха.

Старик попросил остричь его реденькую бороденку, свисавшую одним пучком с подбородка, и стал переодеваться. Свою поношенную дошку, лосевые штаны, унты он туго свернул, сунул в котомку. Надел хлопчатобумажную пару, которую дали ему ребята, телогрейку. Делал он это с присущей ему серьезностью, стараясь не замечать нас. Но сапоги его страшно удивили — какую тяжесть носят лючи на ногах! Они, конечно, были более чем в десять раз тяжелее его олочь, и он от них отказался. Взял у Долбачи его старые унты.

Старик с котомкой за плечами, в Степановой кепке, с берданой внешне не отличим от нас, совсем не похож на Карарбаха! Лангара обходит его со всех сторон, смотрит на старика снизу, сдвигает набок кепку, поворачивает то вправо, то влево и раздражается неудержимым смехом.

— Он лючи, лючи! — и тычет в него концом посоха.

СЛЕДЫ УВОДЯТ В ЗАРОСЛИ

Мы все стоим плотным кругом у костра, в сосредоточенном молчании, как всегда перед походом. В эту минуту ты как бы проверяешь себя перед трудным маршрутом и будто даешь клятву в своей верности спутникам, как это, возможно, делали наши далекие предки, отправляясь на опасную охоту.

Загря, с подозрением следивший за нами, вдруг взбунтовался. Увидев, что мы уходим без него, рванулся, упал и стал вертеться на сворке. Я уже готов был вернуться и отпустить его, но благоразумие взяло верх.

— Загря, перестань, завтра приду за тобой! — кричу я,

В ответ собака завывала жалобно, долго, но нас уже поглотил перелесок.

Бредем звериной, чуть проторенной тропкой, через марь, обставленную заиндевевшими кочками, будто кувшинами с поблекшим черноголовником. Под ногами ледок. В воздухе морозная свежесть. В мышцах столько бодрости, что, кажется, унес бы на плечах весь мир.

Впереди неизменно Карарбах, следом Цыбин тяжелыми сапогами взбивает маристую воду. За ним — Долбачи, он не хочет мочить свои мягкие олочи, скачет по упругим кочкам. Я иду последним, с мыслями о Загре. Нам будет трудно обойтись без него. Не вернуться ли за кобелем?.. Уже хочу крикнуть Цыбину, чтобы он остановил Карарбаха, но ноги несут меня дальше. Смолкает вой Загри, и я успокаиваюсь.

За марью Цыбину и Долбачи идти влево, а нам с Карарбахом — вправо.

— Как облюбуете место, откуда будете наблюдать, разведите минут на десять костерок, чтобы мы знали, где вы находитесь! — кричу вслед Цыбину. — Если сегодня мы не уьем медведя, ночуем у вас. Там, среди болот, будет безопаснее.

Идем с Карарбахом вдоль перелеска. Воздух необыкновенно чист и прозрачен. Впереди заснеженные взмахи Станового, уже облитые светом пробудившегося солнца, и темные щели, на дне которых отдыхает ночной туман. Точно затаившееся

чудовище неподвижно ждет он своего часа. А ниже провала -- гранитный барьер из скалистых нагромождений, прорезанный узкими щелями, уводящими взор в самую глубину хребта.

Меня с детства привлекали горы своим величием и вечным спокойствием. Они никогда мне не надоедают, меня не утомляет их крутизна и не пугают их поднебесные вершины. Горами можно любоваться вечно, как и морем.

Карарбах вдруг останавливается, смотрит под ноги, манит меня. На зеленом мху видна глубокая вмятина, отпечаток тяжелой лапы. Медведь явно ушел к лагерю. След был чуточку затянут инеем, — зверь был здесь в предутренний час. А вот и еще след в грязи, мы сразу узнаем отпечаток левой лапы, вывернутой сильно внутрь.

Старик долго стоял, прислушиваясь. До лагеря, который хорошо виден за болотом, не больше двухсот метров. К нему хищник не пошел: побоялся огня или учуял запах собаки. Медведь вообще собаки не боится, но его, привыкшего к постоянной тишине в лесу, лай раздражает, приводит в бешенство, и он или бежит от собаки, или вступает с нею в драку.

Зверь, вероятно, решил подобраться к лагерю с другой стороны, пошел вдоль болота, но оно далеко растянулось. В воду же не полез. Лег на траву, откуда была видна стоянка. Карарбах подозрительно осмотрел лежку, обратил мое внимание на то, что примятая на ней трава не заиндевела: видимо, зверь ушел недавно, может быть, только что. Потом старик показал на обледеневшую, явно от дыхания медведя, траву впереди лежки: он лежал мордой к стоянке, что-то выжидал.

Мы оказались недалеко от лагеря, и я позвал Павла. Он перебрел болото, подошел к нам.

— Видишь? — спросил я, показывая на измятую траву. — В одиночку ни шагу из лагеря, установите суточное дежурство, держите большой костер. Понял?

— Все сделаем, не маленькие, уж как-нибудь сами себя убережем.

— Вот этого "как-нибудь" медведь и ждет, чтобы проучить вас.

— Не беспокойтесь, у нас он не поживится, — уверенно отвечает Павел.

Он уходит в лагерь, а мы идем по следам медведя. Зверь прошел еще метров сто вдоль болота, оставляя на следу раздавленный ледок и сбитый с веток голубики иней. Следы настолько свежи, что кажется, зверь идет где-то впереди нас.

Карарбах заряжает бердану, жестами предлагает мне идти рядом и при необходимости стрелять сразу, не дожидаясь его.

Каждое мгновение можно наткнуться на зверя. Здесь, на маристой почве, не сразу заметишь притаившегося медведя, его темно-бурая спина как нельзя лучше маскируется среди мшистых бугров.

Медведь вышел почти на свой след и, оставляя в грязи отпечатки лап, направился вдоль гольца. Старик задумался, куда идти? Следом медведя или, как решили с утра, — на голец? Он показал рукой на тропку и зашлепал по ней мокрыми унтами.

Мы выходим на свой вчерашний след. Долго поднимаемся по склону Ямбуя. Карарбах идет привычным неторопливым шагом. Не оглянется, как будто меня нет с ним. Он привык к одиночеству, оно не удручает его. Окружающая природа представляется ему, как нечто одушевленное, с ней он, видимо, делится своими мыслями. В постоянных скитаниях по тайге он не ищет приключений, ничем не восхищается, все принимает как должное.

За кустарниками мелкая россыпь. Мы прошли наискосок по ней к высокой скале, подымающейся над обрывами. Обошли ее справа и по крутому, заваленному обломками гребешку вышли наверх. На скале свежий, пушистый ягель, притоптанный копытами сожжоев, и всюду их помет.

Ветерок бросал прохладу в лицо, пронесся мимо. Старик остановился у самого края уступа. За ним провал и крутой, в обломках скат Ямбуя. Прищуренные глаза Карарбаха блуждали по скалистому склону, ощупывали далеко внизу волнистый стланик, ложбины. Сухие губы шептались, сжимались, снова быстро шевелились. Казалось, старик произносил какие-то страшные заклинания. Потом он строго глянул

на меня, свободно вдохнул и спокойно стал усаживаться на самой бровке скалы. Я пристраиваюсь рядом.

Ленивая, теплая осенняя тишина наполнила день.

Осенняя яркость и обилие красок смягчают пейзаж угрюмого нагорья. Но сквозь этот великолепный наряд невольно ощущаешь немые признаки великого перелома в природе. Еще немного дней, и любые бураны безжалостно сдерут с земли цветной наряд, утопят тайгу в океане снегов, и замрет на скучной белизне жизнь.

Карарбах забеспокоился, что-то его встревожило. Вытянув жилистую шею, он наклоняет голову, пристально глядит вниз, под скалу.

Под нами ребристый гребень, сбегаящий до самых стлаников, рядом извилистый лог, затянутый карликовыми ивками, а еще ниже — волнистые серые россыпи.

Нигде ни души.

И вдруг до моего слуха долетает стук скатывающихся камней. Он доносится оттуда, куда так пристально смотрит старик. Я подвигаюсь к самому краю скалы и, удерживаясь руками за выступ, тоже смотрю туда. Никого... Что же встревожило Карарбаха, если звуки скатывающихся камней до него не доходят?

Через несколько минут, как будто успокоившись, старик перевел взгляд на далеко лежавшую равнину. Но вот он опять с какой-то внезапностью посмотрел вправо под скалу, да так и застыл. Я через его плечо тоже заглянул туда. Никого нигде. Но было полное ощущение, что кто-то ходит под нами. И как бы в доказательство вновь послышался затаенный шорох камней.

Я схватил карабин, но старик отвел в сторону ствол, предупредил пальцем — не стрелять. А сам, не отрывая взгляда, следил за гребнем.

Не понимаю, каким образом глухой старик догадывается, что кто-то ходит под нами? Неужели он воспринимает звуки иным путем, нежели мы?

Опять стукнуло вниз, посыпались камни, и еще не смолк их грохот, как из-за нижнего карниза вырвалось какое-то серое животное. Узнаю самку снежного барана — обитателя поднебесных вершин. Она беспрерывно оглядывается. В ее пугливом взгляде, в быстрых, неуверенных прыжках — страх.

По обе стороны самки, почти вплотную, бегут два ягненка. Они удивительно точно повторяют движения матери, делают те же прыжки, и все трое гордо несут свои головы, поворачивая их то вправо, то влево, будто всеми ими управлял один механизм.

Вижу, самка бросается в сторону, двумя прыжками выскакивает на выступ и, повернувшись к своему следу, застывает, угрожая кому-то лобастой головой.

Самка одета не по сезону: на ней потрепанная, еще не совсем вылинявшая шуба, а ведь скоро зима. В ее нервных движениях, в настороженности печать каких-то забот. Мы следим за ней. Что приковывает ее взгляд там, за карнизом, куда она так напряженно и не без тревоги смотрит?

Самка и ягнята бросились выше по гребню, но остановились, постояли секунд пять и с такой же поспешностью вернулись на выступ.

Это показалось подозрительным, и мы, не отрывая глаз, продолжаем наблюдать за животными. Рядом с ними появляется прошлогодний ягненок — самец. Это видно по рожкам, они не как у самки, заброшены прямо назад, а несколько шире и завернуты концами наружу. В его позе уже проступают гордые черты взрослого самца-круторога. Голову он держит немного выше туловища. Ягненок в том самом возрасте, когда опасность не очень-то тревожит его.

Животные, сбившись в стайку, дружными прыжками стали набирать высоту. С какой легкостью они скачут с камня на камень, обходят обрывы, несутся по скалам, иногда на мгновение задерживая бег у обрывов. Все ближе и ближе к нам. Наблюдать животных в их естественных условиях, да еще таких чудесных прыгунов, как снежные бараны, поистине большое удовольствие!

Бараны то исчезают среди развалин, то вырастают на выступах. Курумы, покрывающие Становой, при их появлении уже не кажутся мертвыми. Даже утесы,

безнадежно нависающие над пропастями, оживают, если на них появляется силуэт снежного барана.

Почти скрываясь за гранью соседней скалы, табунчик снова приостановился. Малыши под опекой матери ведут себя беспечно. А та, вытягивая шею, заглядывает вниз. Ее что-то там приманивает и раздражает, она непрерывно бьет копытом о камень и угрожающе трясет своими маленькими рожками.

Потом все исчезли за каменными грядами, словно свалились в пропасть. Только изредка с вершины гольца доносился стук камней под их быстрыми ногами.

Карарбах накинул на плечи котомку, стал спускаться к гребню, в ту сторону, откуда появились бараны. Он почти выбежал на выступ, где самка поджидала своего непослушного ягненка, и, осторожно высунувшись, стал заглядывать вниз. Несомненно, кто-то вспугнул семейство баранов, иначе нечем объяснить поспешность, с какой они бежали на вершину Ямбуя.

Старик окинул быстрым взглядом крутой склон гольца, присел на камень. Вынул из-за пазухи трубку, набил табаком, всунул конец чубука в рот, раскрыл замшевую сумочку, пришитую к поясу, достал из нее кремь, кресало и лоскуток трута. Как шло ко всей его внешности это древнее приспособление для добычи огня! В заглубивших пальцах старика оно казалось более надежным, нежели спички. Спичками Карарбах редко пользовался. Он держал их во внутреннем кармане рубашки завернутыми от сырости в бересту. Ими он разжигал костер и только в ненастье прикуривал.

Приложив к острой грани кремня трут, он привычным движением руки ударил кресалом. Взвился тоненькой струйкой дымок. Карарбах положил горящий трут в трубку, придавил его большим пальцем. Не успев ни разу затянуться, он вырвал изо рта трубку — издал полуоткрытым ртом какой-то дикий, предупреждающий звук и показал вниз.

Далеко внизу, у самой кромки стланика, виднелось темно-бурое пятно. Медведь!

Зверь весь высунулся из-за обломков, стоял, как бы в раздумье. Он явно шел по следу вспугнутых им баранов. Над медведем в глубоком осеннем небе парит пара коршунов. Распластав крылья в просторе и почти не шевеля ими, они описывают круги, уходят выше и выше, оглядывая местность. Даже наступившие, заморозки не могут заставить их покинуть нагорье, так велика власть родных мест над этими хищниками.

Медведь постоял с минуту, вдруг резко повернул назад, прогремел по россыпи и исчез в стланиковых зарослях. Он днем, как и каждый хищник, старается избегать открытых мест. Без надобности не покидает заросли.

Карарбах предлагает спуститься в кустарник и идти по горячему следу за медведем. Я соглашаюсь, а сам думаю: "Не обманул бы он нас в стланике!"

На равнине, между двух озер, в редколесье вспыхивает дымок. Это наши дают знать, где находится их наблюдательный пункт. Карарбах долго смотрит туда, как бы запоминая это место на случай, если придется искать своих ночью.

Солнце уже миновало зенит. Быстро проходит день. Расплескалась полуденная теплынь по склонам гольца, опалились солнечным жаром ерничек, ивки и по влажным ложкам осочки — последний наряд земли.

За обрывами идти легче. Тут нет развалин, высоких карнизов и нависающих над крутизной скал. Спускаемся по голой, шаткой россыпи. Ниже она затянута бархатисто-зелеными мхами. На них всюду старые и свежие следы зверей. Среди них Карарбах сразу увидел отпечатки широких лап медведя. Даже на мхе след кривой задней ноги хорошо виден.

Метров через пятьдесят начинались заросли. Старик, точно не веря глазам, ощупал медвежьи вмятины, прикинул размах спокойного шага хищника и, повернувшись ко мне, кивнул головою в сторону стланика, как бы спрашивая, пойду я в заросли или нет.

К этому я уже был подготовлен. Карарбах одобрительно промычал. Он закурил трубку, достал из кожаной сумочки, где хранились охотничьи припасы, два патрона, положил за пазуху, а сумочку легонько завязал ремешком, чтобы при необходимости

одним движением руки можно было раскрыть ее. Склонившись на посох, он потягивал трубку, задумчиво глядя в глубину расстилавшихся перед нами таинственных зарослей. Лицо его было необыкновенно спокойно.

В эти минуты, почему-то вспомнились слова матери, сказанные ею, когда я был еще подростком. С детства моей неумной страстью была охота. Все свободное время я проводил в лесу или в горах; выслеживая куропаток, зайцев, а то и более крупную дичь, или занимался ловлей форели.

Однажды мы с приятелем загнали раненую лису в нору. Расстаться с такой добычей нам не хотелось. Нора оказалась очень старой, нежилой и, видимо, была вырыта более крупным, нежели лиса, зверем. Скорее всего волчицей. Мы договорились с товарищем: полезу в нору я, а он привяжет ремень к моим ногам и как только я задергаю ими — вытащит меня наружу. На этот безрассудный шаг мог рискнуть только я — самоуверенный мальчишка.

Ход в нору был пыльный и узкий даже для худощавого тринадцатилетнего парнишки. Но соблазн был велик. Вытянув одну руку вдоль туловища, а другую подав вперед, я стал медленно углубляться, совершенно не думая о том, что раненый зверь бывает смел и жесток.

В норе стало так темно, что, я, как ни напрягал зрение, абсолютно ничего не видел. Стараясь возможно меньше дышать, я протискивался дальше, отгребаясь связанными ногами и левой рукою, и правую держал впереди готовой поймать лису. Почему-то мне казалось, что я непременно схвачу ее за хвост. И представлялась приятно удивленная мать, как она возьмет в руки огненно-красную шкурку, встряхнет волнистый остюг и скажет: "Кормилец ты мой!.." И вдруг в эти сладостные минуты моя правая рука была яростно схвачена лисою. Потом что-то тупое и твердое стало рвать мне лицо, обдавало душным жаром. Я задергал ногами, и, пока приятель тащил меня из норы, лиса не оставила на лице живого места. Правая рука была в ужасных ранах. Хорошо, что этим только отделался, а ведь мог бы вылезти без носа и без глаз...

Так мы, посрамленные, вернулись домой.

Мать, увидев меня, всплеснула руками:

— Господи! За что мне такое наказание! У людей дети как дети, а тут, поди же, охотник выродился!... — Она заплакала, и, может быть, поэтому обошлось без наказания. Всклипывая, она говорила убежденно: — Помни, сынок, в жизнь уйдешь с ружьем — не будет из тебя человека. Охота до добра не доведет. Вместо того чтобы к земле приучаться, как другие, носишь тебя лихоманка по лесу. Ищешь ты непотерянное!

И все же много пришлось мне в жизни походить с ружьем!

Карарбах предупреждает меня, что он пойдет впереди, а стрелять буду я.

С первого шага кустарники кажутся западней. Темные закоулки, таинственный шорох стланика, хруст лишайников под ногами — все вдруг становится враждебным. Карарбах идет, почти не касаясь земли.

Медведь шел косогором, не отдаляясь от кромки кустарника и все время придерживаясь небольших открытых прогалин. Его следы лежали глубоко вдавленными в пушистый нежно-желтый ягель. Шаги были равномерными — шел зверь спокойно.

Вот Карарбах остановился, выбросив вперед ствол берданы. Я отскочил к просвету, готовый встретить опасность с любой стороны.

Оказалось, что здесь медведь сделал несколько прыжков влево по ходу и исчез. Неужели услышал нас?

Неслышно, то и дело оглядываясь, идем по его следам в непролазную глубину кустарников. Для медведя тут нет преград. Идет напрямик. Он при своем сравнительно небольшом росте везде пролезет. А нам, не будь просветов, пришлось бы передвигаться по стланику, переплетенному стволами, и мы сразу выдали бы себя.

Не теряя следа, обходим чащу извилистыми прогалинами. Ветерок встречный — это хорошо.

К моему удивлению, мы вышли на поляну, где я провел вчера жуткую ночь. Беспокойные глаза Карарбаха обнаруживают на поляне свежий след медведя. Зверь шел сюда, явно надеясь чем-нибудь поживиться. Но — увы! — ушел голодным в том же направлении, вниз, к подножью гольца.

На востоке угасал день, тянуло вечерней прохладой.

Объясняю Карарбаху, что без Загри преследовать медведя по зарослям стланика безрассудно, что лучше прекратить охоту и вернуться к своим в перелесок на ночевку. Старик улавливает мою мысль, соглашается, и мы, впервые за все время нашего знакомства, улыбаемся: довольны, что понимаем друг друга.

Старик выходит на еле заметную тропу, проложенную вчера людьми, переносившими тело Елизара с поляны на мыс. Она ведет нас по знакомым местам, все ниже и ниже, то врезаясь в заросли, то обходя их неширокими просветами или лужайками. Я стараюсь идти от проводника на таком расстоянии, которое позволяло бы мне всегда видеть его и в любой момент предупредить об опасности.

Наступает час всеобщего покоя, когда хищников еще раздражает свет и они не смеют нападать, а их жертвы полны решимости сопротивляться. Только неугомонные бурундуки шныряют по стланику, всюду слышится их писк.

Попадаем в ольховые заросли. Скоро подножье гольца. Старик оглядывается. Что-то тревожит его. Но я слеп и глух — ничего не замечаю.

С равнины доносятся подряд два предупреждающих выстрела. Звуки уходят за холмы. и там долго будоражат покой болот.

Сигнальные, выстрелы застают нас в густом кустарнике. Ни единого просвета. Где-то рядом людоед. Он или идет нашим следом, или впереди подкарауливает в засаде.

До мыска, где могила наших товарищей, остается не более ста метров.

Оттуда донесся и оборвался грохот камней. Это он. Тесно становится в кустарнике. Не повернуться с карабином. Долгая тишина. Куда же девался медведь? Убежал или залег на нашей тропке?

Карарбах, не оглянувшись, шагнул вперед, стал выбирать из зарослей.

Пересекаем последний ложок. Остается преодолеть неширокую полосу густого ольховника, и мы выйдем к мыску. Неужели людоед еще не обнаружил нас?

Опять доносится шорох камней, но теперь в нем улавливается тяжелое дыхание зверя. Он совсем близко от нас, за кустарником.

Где-то в стороне пикнула вспугнутая птичка. Возня на мыске прекратилась. Насторожилась тишина, будто все обитатели зарослей следят за нашим поединком.

Мы погружаемся в ольховник, стараемся не дотрагиваться до веток и не дышать. Я изредка останавливаюсь, чтобы перевести дыхание.

Старик делает последний шаг, высовывает голову из ольховника и весь напрягается, как натянутый лук. Надо стрелять... Но ремень ружья зацепился за сук, и он не может выбросить вперед ствол берданы. Старик что-то сигнализирует мне головой. Я ничего не вижу впереди, выскакиваю из ольховника. Не успеваю вскинуть карабин, как за узким просветом кустарников скрывается полношерстная спина медведя.

Карарбах бросился к березке и, ухватившись за нее, посмотрел вслед зверю. Его лицо искривилось, на скулах появились багровые пятна. Вдруг он задышал громко, полной грудью, точно ему в этот момент не хватало воздуха, и что-то промычал. Подняв высоко бердану, он грозно потряс ею вслед зверю.

— Что же ты не стрелял? — спрашиваю я Карарбаха.

Он отрывается от березки, подходит ко мне, все еще возбужденный, глядит на меня чистыми детскими глазами, потом мы с ним долго объясняем...

Карарбах увидел зверя близко, поджидающим нас и уже готовым к прыжку. В последнюю минуту старик решил стрелять в него, но, как после он уверял Лангару, злой дух Харги не дал, зацепил ремень берданы за сук, и хорошо, что обошлось без выстрела. А то бы не миновать беды!

Снова застучал дятел, и беззаботный ветерок, разгребая космы стлаников, тихо прошел по склону.

Карарбах выпрямляется, показывает рукой на мысок. Могильный холмик, что был насыпан вчера, весь разворочен; камни, земля выброшены, столб с надписью покосился.

Старик находит на мыске след медведя. Голодный зверь пришел сюда с подветренной стороны. Его, видимо, приманил запах свежей земли и добычи. Он набросился на холмик, и уже наполовину вытащил труп, как услышал нас. Но почему зверь не бросился на нас? Ведь около своей добычи медведь обычно не терпит постороннего присутствия.

Мрачнеют у горизонта тучи. В сумрак погружается нагорье, стланики, дали. Ушедший день оставил нам незавершенные дела...

Углубляем яму, закладываем ее крупными камнями, чтобы хищнику не легко было их выбросить.

В напряженную тишину врываются два выстрела — близко людоед.

Передаю Карарбаху сигнал. Он останавливается, у него беспомощно опускаются руки. Но старик тотчас же овладевает собою, показывает на наш след, Я поворачиваюсь к следу, старик становится спиной ко мне, лицом вперед, как шел.

Опять раздаются два выстрела с равнины. Что бы значил этот повторный сигнал?.. Неужели мы попали на засаду?..

Как на грех, стало быстро темнеть.

До слуха доносится странный звук, будто упало что-то на россыпь. Проходит одна, три, пять секунд — загремели камни на последней россыпке... Треснул сучок. Треск сучьев все ближе. Зверь, не таясь, настигает нас.

Даю понять Карарбаху об опасности. Уже слышно хриплое дыхание зверя. Старик становится плотно ко мне.

Еще секунда невероятного напряжения, и раздвигается последний куст...

— Загря! — кричу я, обрадованный и ошеломленный его внезапным появлением. — Фу ты, дьявол, как напугал!

А сам не верю своим глазам, треплю его за лохматые щеки.

— Откуда ты взялся? — спрашиваю.

Он визжит в восторге, в глазах столько радости, столько преданности! Жметя ко мне, сильно дышит в лицо. Ошейник на нем с перегрызенным ремешком.

Карарбах тоже доволен, гладит кобеля, что-то бурчит.

Старик показывает на затухающий горизонт, на опасные заросли. Мы прибавляем шаг.

Вот и подножье. Оно заканчивается голой россыпью, за которой видна в сумрачном одеянии уже засыпающая равнина. Путь перерезает ручеек. Вода тихо выбегает из темного неподвижного болота, густо заросшего троелистом. Чем-то древним веет от этих вечнозеленых, водяных зарослей. Кто-то живой неловко коснулся их края, качнул гладь болота. Мы с Карарбахом смотрим в глубину темно-лиловой воды, тронутой чуть заметными кругами. Кажется, сейчас из воды покажется чудовище, но мы не удивимся — так таинственны эти приамбуйские болота, окруженные уродливыми, засохшими лиственницами, как призраки идущими рядом с нами.

Шлепаем по топкой, кочковатой мари. Негостеприимная темень отнимает последние ориентиры. Идем уставшие, голодные. А тут еще эти топкие болота на нашем пути, полные сапоги ледяной воды и грустные мысли о том, что мы идем в какую-то бесконечность!

Вдруг мигнула зарница, осветив уснувший туман над мокрой равниной, дальний горизонт и наш путь по болоту. Мы пошли смелее.

Загря тянется на поводке, ему неловко идти по узким проходам, между кочек. Отпускаю его, так легче и мне. Кобель прорывается вперед и, окатив нас холодными брызгами, исчезает во тьме.

Еще какое-то время шлепаем по болоту. И наконец выбираемся на сухую землю. Нас встречают корявые дебри перелесков. Карарбах одной рукой закрывает лицо, другой

посохом, как слепой, ощупывает в чаще путь. Меня за его спиной не хватают ни сучья, ни деревья, ни хлесткие ветки кустарников. Внезапно из темноты навстречу нам пробивается сигнальный свет. Старик останавливается и, устало склонившись на посох, отдыхает, долго смотрит на мигающий огонек.

Это Загря сообщил о нашем приближении. Цыбин зажег факел, показывает путь, зовет нас.

Ветер в тучах шевелит темноту. Иногда он яростно падает на перелесок, лохматит деревья и, срывая листья приземистых берез, бросает их в утробу ночи.

Карарбах грузным шагом полез по чаще. Ночью теряется понятие о расстоянии. А огонек то вспыхнет, будто рядом, то вдруг стыдливо замигает, отступит, уйдет в пространство, и ты еще сильнее почувствуешь всю тяжесть своего уставшего тела.

Я обгоняю старика. Огонек дрожит одинокой звездой, как бы в перевернутом небе.

Иду, отбиваясь от сучьев и веток, а сам думаю: ведь это не последняя тропа, не последняя усталость и еще неизвестно, какую каверзу готовит нам Ямбуи.

— У-гу-гу... — доносится человеческий голос.

Еще сотни метров, и мы выходим к костру, скрытому за поворотом. Нас радостно встречает Загря, ведет на стоянку.

Какой великолепный ночлег ждет нас на этом сухом клочке земли! Уже разостлан пахучий хвойный лапник, заготовлен ворох дров. На легком огне висит синий эмалированный чайник. Поодаль от раскаленных углей лежат горячие лепешки. Котомки, ружья повешены на сучьях ели.

— Слава богу, — с душевным облегчением вырывается у Цыбина. — Вы знаете, что людоед следил за вами от мыска и уже готовился напасть, когда мы подали сигнал вам? Хорошо, что в этот момент появился Загря.

— Куда же он ушел? — спрашиваю я, расправляя онемевшие плечи.

— К Реканде, нашей тропкой... Боюсь, как бы он не нашкодил в лагере.

— Что вы, они предупреждены, приказано всю ночь дежурить и держать большой костер.

— Проспят, дьяволята! — перебивает меня Цыбин. — Я пойду с Долбачи к ним.

— Ни в коем случае! В темноте вы слепые, а он зрячий, сами придете ему в пасть.

Цыбин подается немного ко мне, говорит шепотом:

— А нападет на сонный лагерь, что наделает? Говорю, проспят! Разрешите, вдвоем не страшно.

— Не будем торговаться. Я знаю: Павел не, проспит.

Карарбах внимательно следит за Цыбиным, затем просит Долбачи объяснить ему, какую новость Цыбин рассказывал мне. Узнав, что Цыбин хочет идти ночью в лагерь, старик строго глянул на него темно-лиловыми при свете костра глазами, покачал головой.

Освобождаемся от тяжести на плечах, от беспокойных мыслей, присаживаемся к костру, Вот и заслуженный отдых!

О ЧЕМ ДУМАЕТ СТАРЫЙ ЭВЕНК

Тепло заползает под одежду, растворяет усталость, отнимает ноги, руки. Ни о чем не хочется думать в эти блаженные минуты покоя. Ради них можно было еще и еще идти по корявым перелескам, месить ногами черную воду болот.

Цыбин открывает ножом две банки мясных консервов, пристраивает их к жару. Наливает Карарбаху кружку крепкого чая. Старик ставит ее перед собою, достает из котомки огрызок сахару, но не пьет чай. Не отрываясь, долго смотрит в огонь, где тлеют синие угли и пламя качается по ветерку.

Мне казалось, что Карарбах вдруг очнется, смахнет ладонью с онемевшего лица раздумье и с жаром начнет рассказывать Долбачи о каком-то необыкновенном случае, вдруг вспомнившись ему в этот вечер или о встрече со смертью... Нет, Карарбах молчит. Другие думы занимают старую голову эвенка.

— Собака голова прячет, холод чует. Однако к снегу, — обрывает молчание Долбачи и, откинув голову, смотрит в ревущую под ветром темень неба.

В корнях лиственницы, растущей несколько поодаль от стоянки, лежит Загря, уткнув свой нос глубоко в пушистый хвост и обжигая нас двумя живыми синеватыми фарами.

Долбачи уходит за водою. Я рассказываю Цыбину о неудачной встрече с людоедом, а сам не свожу глаз с Карарбаха. Его чай давно остыл, он сидит все так же, скрючившись, обхватив в коленях костлявыми руками длинные, худые ноги. Иногда на лице его вздрогнет скула, подадутся вперед сжатые губы, над переносицей сомкнутся лохматые обрубки поседевших бровей. А глаза непрерывно продолжают следить за синими вспышками костра.

Не вспомнилось ли ему прошлое, недавнее и уже давно приглушенное временем? Может быть, перед ним сейчас с воем взметнулась пурга, воскресла встреча в безмолвии с звериной яростью, пятидесятиградусные морозы у неразожженного костра, длительные голодовки, боль в теле от медвежьих когтей — все это было в жизни старика... Нет, я не жалею его, я по-настоящему ему завидую!

Ночь дохнула сыростью. Исчезли звезды. Над стоянкой нависли тучи. Пошел дождь, зацокал по листьям, по болоту, ушел через равнину на север, оставив после себя мокрые заросли. Долго еще падали капли с лиственницы на расплавленные угли, на головы, разбивались о камни на мелкие брызги. Еще более неприветливо стало на этом скудном клочке земли.

Я легонько толкаю в бок сидящего рядом Карарбаха, показываю на кружку — чай остыл!

Он разрывает сцепленные пальцы рук, не глядя, на ощупь находит на притоптанном ягеле кусочек сахара, кладет в рот и начинает пить. Но чувствуется, что все еще не может он оторваться от каких-то дум, принесенных сюда на стоянку.

Неожиданно, точно подброшенный взрывом, старик вскочил, схватил бердану и, повернувшись в сторону мыска, вытянулся во весь рост. В глазах, обращенных в темноту, блеснула ярость.

Угрожая кому-то ружьем, Карарбах крикнул что-то непонятное.

— Кому он угрожает? — спросил я Долбачи.

— Я тоже плохо понимаю. Однако он так сказал: "Я убью его!"

— Кого его?

Долбачи удивленно посмотрел на меня, не ответил. Он долил чайник и повесил на огонь.

Старик продолжал стоять, подставляя грудь ветру, всматриваясь вдаль.

Я легонько взял Карарбаха за руку, усадил к костру. Цыбин поставил перед ним дымящуюся банку с консервированным мясом, кусок лепешки, и мы молча стали ужинать.

С озер налетает ветерок, стланик вздрагивает от его прикосновения. Где-то в темноте поет дождевой водой ручеек — ночная музыка глухих, далеких перелесков.

Карарбах начал что-то рассказывать Долбачи. Говорил он возбужденно, иногда кивая головой то в мою сторону, то в сторону Ямбуя. Затем старик взял у собеседника трубку, потянул раз, другой... Долбачи пересел ко мне, стал переводить.

— Он говорит: когда два люди ходят вместе, амакан их боится. Поэтому он сегодня не напал на вас. Вдвоем его не убить. Понимаешь? Карарбах спрашивает: ты можешь один ходить на амакана?

— Могу! — ответил я, не подумав.

— Ходить надо обязательно с котелком.

— Почему?

— Потому что все люди ваши, которых кушал амакан, были с котелками. Старик считает: когда они ходили по чаще, котелок бился о ветки, звенел, амакан далеко слышал, бежал на звук. И ты должен так ходить.

— Скажи Карарбаху, что я согласен.

— Тогда еще слушай. Старик говорит, что амакан ловит людей сзади, это место, — Долбачи хватается себя рукой за затылок, — и прыгает с правой стороны. Когда будешь идти по стланику — это хорошо знай.

— Не понимаю, — перебиваю я проводника. — Спроси Карарбаха, почему нападать медведь будет обязательно сзади и с правой стороны?

Долбачи переводит мои слова старику. Тот удивлен, как это я сам не догадался. Карарбах долго складывает из жестов и непонятных мне звуков фразы, выворачивает ступню левой ноги внутрь, как у медведя.

— Ты все равно что сова днем: глаза есть, а не видишь, — переводит Долбачи. — Он думает, у амакана левая нога кривой внутрь, прыгать ему можно только так, — проводник махнул обеими руками справа налево. — Понял? Ты же видел, Елизара он тоже ловил справа и сзади. Это тебе забывать не надо.

— Я должен идти на Ямбуи завтра утром? Спроси Карарбаха.

Старик посмотрел в темное дождливое небо, двинул плечами.

— Сейчас никто не скажет, что даст утро.

— А что будет делать завтра Карарбах?

— Старик тоже хочет идти на голец, — сказал Долбачи.

Цыбин разворошил огонь, бросил на угли недогоревшие головешки.

Я отхожу от костра, смотрю на небо — никаких примет завтрашнего дня. С томящим предчувствием жду я его.

На небе обозначились контуры тяжелых туч, освещенных сверху далекой луной. Листья поникли. Пора увядания, надвигающихся холодов. В воздухе к запаху хвои теперь примешивается запах грибов, — последний запах перед снегопадом.

Спать укладываемся под широко распростертыми ветками старой ели. Цыбин и Долбачи по очереди будут караулить ночь и костер. Вся надежда, конечно, на Загрю. Он хотя и спит, свернувшись в клубок, но уши поставлены торчком, настороже.

Лагерь стихает. Только жаркие рубины углей светятся в этой мокрой ночи, да иногда застонет земля или под водою вздохнет уснувшая кувшинка.

Карарбах уже похрапывает. А мне не уснуть. Не слишком ли я понадеялся на себя, не повторю ли я участь погибших на Ямбуе геодезистов?

Лежу с открытыми глазами. Слышу, как с хвои гулко падают на брезентовые плечи Цыбина свинцовые капли влаги.

Мысли уводят меня в стланиковые заросли. Смотрю я на них как бы сверху, сквозь дымку прошедшего времени, и передо мною открывается картина трагической гибели людей. Вот беспечно спускается по еле заметной тропке молодой парень. За спиной ружье, в правой руке котелок. Беспечно входит он в стланик, размахивая по веткам котелком и напевая веселую песенку. Металлический звон котелка растекается по склонам гольца. Его улавливает медведь в далеком ложке. Зверь, припадая на заднюю левую ногу, уже несется по россыпи, по стланикам, изредка останавливаясь, чтобы определить, в какую сторону удаляется звук. Чем ближе, тем осторожнее его прыжки. Выходит на след человека, жадно обнюхивает его, отходит вправо, на расстояние, которое позволяет ему не терять запах следа. Бесшумно нагоняет жертву. Все ближе, все меньше метров остается между ними. Из кустарника срывается бекас, пугливо проносится мимо человека, а вот и кукша тревожно прокричала над головою... Надо бы обернуться, сдернуть с плеча ружье, но нет, парень не обращает внимания, поет, идет дальше. Медведь неслышно ползет следом по чаще, выжидает удобного момента... Прыжок, второй — человек не успевает обернуться, как ржавые "лыки хищника впиваются в затылок. Сильным рывком парень отбрасывает котелок вверх, и тот виснет на макушке лиственницы. Я гашу воображение, чтобы не видеть расправы...

Издали донесся выстрел.

— Наши стреляют, — встревожился Цыбин. Он отошел от огня, прислушался. — Зря не пустили нас, нашкодит людоед в лагере.

Пожалуй, Цыбин прав. Такое невезенье!..

Тяжелый туман причудливыми космами сползал с деревьев на захлапленную землю, нависал над болотами. Как неприветлив мир, покрытый серым густым туманом!

Карарбах сидит полураздетый, прикрыв спину куском брезента. Перед ним лежит его старенькая дошка. Смотрю на нее — и глазам не верю: у доски обрезана пола — не с ума ли сошел старик! Я знаю, как трудно бывает расставаться с истрепанной в походах телогрейкой, пережившей с тобой всего лишь один полевой сезон, а ведь эта дошка для Карарбаха свидетель прожитых лет. С нею он разделил немало бурь, костров, дождей, в ней он и состарился. Не понимаю, зачем надо было ему именно сегодня расправиться со своей старенькой, латаной спутницей?

Подхожу к разбушевшемуся костру. Весь дрожу от свежей, далеко еще не закончившейся осенней ночи, оттого, что не выспался. Смотрю на старика — и еще больше удивляюсь: он шьет из отрезанного куска унты. Уже дошивает второй.

— Ночью три раза стреляли на таборе, — докладывает Долбачи, — однако беда, там людоед был!

— Может, по волкам стреляли? — спросил я.

Проводник повел плечами.

Отогреваюсь у костра. Туман качается возле стоянки, и все еще поет ночной ручей. Карарбах перестает работать, поднимает голову. Я показываю пальцем на дошку, спрашиваю, зачем изрезал ее, и для чего ему сейчас, по мокрому, унты?

Старик показывает на свои ноги, на кустарник, на свои уши и что-то говорит. На помощь приходит Долбачи.

— Он в этих унтах пойдет искать амакана.

— У него же на ногах еще крепкие, лосевые.

— Лосевые, что твои сапоги, шибко много шуму, когда ходишь по стланику, а в этих, — он показывает на унты в руках Карарбаха, сшитые шерстью наружу, — можно ходить неслышно, как рысь. Медведь не догадается, что еще другой человек ходит по стланику, непременно к тебе пойдет.

Где-то за туманом, за далью гор — утро. Но еще спят болота, мокрые от ночного дождя стланики, звери, птицы... В этот предутренний час, как никогда, чуток сон в природе.

Карарбах опускает в банку с сгущенным молоком кончик прутика, долго обсасывает его, запивая большими глотками чаю. Видно, его язык не избалован сладостями, пьет он долго, вольготно.

— Значит, идете? — спрашивает меня Цыбин.

Долбачи поднимает на меня глаза.

— Конечно, иду! Иначе не встретиться с людоедом, если он нападает только на одного человека. В этом нельзя не верить Карарбаху.

Цыбин неодобрительно покачал головой.

— Не так страшен черт, как его малюют, — говорю я. — Ведь ребята погибли, не подозревая о существовании людоеда на Ямбуе. Их подвела беспечность. А мне — куда проще: я знаю со слов Карарбаха нрав этого зверя: откуда, с какой стороны он может напасть. Значит, нелегко будет меня поймать врасплох.

— Ну что ж, ни пуха, ни пера! — говорит Цыбин, громко прихлебывая чай.

За свои годы странствий по тайге мне пришлось охотиться почти на всех крупных зверей.

Эта охота была необходима, как источник питания при работах в отдаленных, безлюдных пустырях.

Когда добываешь сохатого, оленя, серну, все очень просто. Другое дело — охота по медведю. Ведь медведь сильный и свирепый зверь. Хотя ты и убежден, что он боится человека, но тебя все время держит в тисках ощущение опасности. Эта охота требует не только навыка, знаний повадок зверя, но и большого самообладания.

Кто-то несдержанно зашлепал по болоту, прошел, никого не вспугнув, до самого подножья Ямбуя.

Карарбах свернул сшитые им унты, перевязал их ремешком, положил в котомку. Туда же засунул и кусок брезента. Встал, повесил однополую дошку на сук под елью,

отошел от огня. Долго всматривался в небо, звездное к северу и совершенно черное от туч над Становым.

Туман рассеялся и только над проточной водою лежал прозрачно-голубоватой полоской. Всплыла чернь болот, показались широкие разливы стлаников. Поднялся Ямбуи, огромный, могучий.

Идем со стариком умываться.

Мы огибаем кустарник и по мелкому ернику выходим к краю перелеска, к заливчику. Он соединен неширокой горловиной с озером. Наклоняюсь к зеркальной поверхности застывшего водоема, хочу зачерпнуть воды и чувствую, как на мою спину ложится тяжелая рука Карарбаха. Старик косит глаза влево. Смотрю туда — на озере метрах в пятидесяти от нас небольшой табунчик казарок. Они заметили нас, пугливо жмутся к противоположному, тенистому берегу, но не улетают. Странно, казарка — птица дикая и осторожная. Почему же они так опрометчиво поступают?

Карарбах тянет меня за телогрейку, показывает на гусей, затем поднимает лицо к небу. Гляжу, два белохвостых орлана кружатся в поднебесном просторе. Вот оно что — гусей в воздухе караулит смерть. Может быть, поэтому и казарки опаздывают, время их пролета закончилось.

Мы ничем не можем помочь казаркам. Законы жизни безжалостны. Делаем вид, что не замечаем гусей.

Вода холодная, леденистая, обжигает лицо.

Горы уже не в силах заслонить солнце. Теплеет воздух. Прозрачная испарина стелется по глади воды, и у берегов, коснувшись жесткой осоки, тает. Все сверкает чистыми красками осеннего утра.

У дальних болот, на сквозных вершинах лиственниц слетаются вороны. Они повисают на ветках тяжелыми черными гроздьями. Эти птицы с дерзким криком и бормотаньем кажутся зловещими. Чего доброго, они будут сопровождать нас сегодня, как могильщики, предчувствуя добычу.

Полными пригоршнями плещу на грудь и плечи прозрачную студеную влагу. Ух, как здорово! Карарбах долго мылит руки, лицо, полощет рот.

Вода в это время необычно мягкая и свежая. На земле все уже поблекло, сникло, а на озерах еще ярче зеленеют листья донных растений, плавающие островки из осоки, береговой троелист, и даже цветут удивительные по красоте, овеванные необыкновенными легендами, белые лилии — кувшинки, как их принято называть.

Рано утром ни одного цветка не было на озере. Но стоило солнцу заглянуть в озеро, как кувшинки начали тайком появляться из темной глубины водоема, раскрыли свои белые, восковые лепестки и стали хорошо заметными на фоне округлых, ярко-зеленых листьев, плавающих на голубой поверхности воды.

Живут кувшинки только днем, а с наступлением вечерних сумерек цветок бережно сворачивает лепестки в бутон и уходит на всю ночь в таинственный подводный мир, оставляя на озере приятный аромат. Эта необычная жизнь кувшинок создала почти у всех народов чудесные легенды, предания, сказки о русалках, богатырях, о человеческом счастье.

Солнце все больше отогревает землю. Бесследно исчезает туман над ручейком. Яркие брызги света рассыпаются по всем закоулкам перелеска, вспыхивают в хвое разноцветными фонариками. Мох на болоте в изумрудных каплях.

Мы с Карарбахом уходим к стоянке, где нас ждет уже завтрак.

В дневном свете костер почти не заметен: огонь от сухих дров бездымный, и на жару пламя почти синее.

— Вы с Долбачи отправляйтесь на табор, — говорю я Цыбину. — Чует сердце что-то неладное.

— Придется поторопиться. Вчера медведю не повезло. Лангара дежурила, а сегодня ребята могли проспать.

— Долбачи, спроси Карарбаха, куда он пойдет?

Долбачи дважды повторяет мой вопрос.

Карарбах молчит, отводит от проводника взгляд. Дрожащими пальцами чешет остриженный подбородок.

— Ты не знаешь, Долбачи, что с Карарбахом, что его мучит? Может быть, он кается, что связался с нами? Пусть возвращается на табор, я не обижусь.

И на этот вопрос старик не отвечает, он молча начинает укладывать котомку, запихивает в нее лепешку, чайник, сумочку с сахаром и чаем.

— Карарбах раньше таким не был, а что с ним, сам видишь, не говорит... — отвечает проводник.

День в разливе. Еще сильнее пылают осинники, горят ерники. Земля золотится осыпавшейся листвою. Сыплется хвоя с лиственниц, и просинь лесов безнадежно тускнеет.

Вдруг Загря вскочил, повернул морду к Ямбу. Оттуда донесся чей-то голос.

— Наши идут. Что-то случилось на стоянке, — поднимаясь, сказал взволнованно Цыбин. У меня не хватает терпения, иду навстречу. Из болота выбивается Павел. С одного взгляда можно было догадаться, что принес он недобрую весть.

За ним появляется Илья. Вид у обоих усталый.

— Неприятность какая? — спрашиваю я.

— Дайте отдышаться... — И Павел скидывает с плеча винтовку. -- Стервец! Всю ночь лагерь осаждал, обнаглел, стрельбы не боится, настоящий людоед. Будь ночь посветлее, отыгрался бы он у меня, — говорит Павел, все еще тяжело дыша от быстрой ходьбы.

— Всю ночь от костра не отходили, а оленей всех разогнал по тайге. Утром двух убитыми нашли — спрятал под мох. Ну и сатанюка!

Идем на стоянку.

Илья начинает рассказывать Долбачи о случившемся. Карарбах подсаживается к ним, внимательно следит за движением губ рассказчика. Кажется, и эта новость не удивляет его, будто и такое не раз было в его неласковой жизни.

Потом старик начинает что-то говорить, обращаясь поочередно то к Илье, то к Долбачи, показывает рукою в сторону лагеря. Оба собеседника соглашаются с ним.

— Карарбах и ты, — Долбачи показывает на меня, — пойдешь на Ямбу охотиться на амакана, а все другие надо скоро тайга ходить, искать оленей. Без них куда пойдешь? Потом надо караулить убитых оленей: может, амакан придет кушать их. Карарбах совет дает, пускай Лангара сидит там, — говорит Долбачи. — Она ночью хорошо стреляет. Остальные все догонять оленей будут.

— Тогда отправляйтесь.

— Дайте хоть покурить! — взмолился Павел и, достав кiset, пристраивается с Ильей к огню. — Ежели, к примеру сказать, я убью людоеда — шкура моя?

— Если свою не потеряешь! — замечает Цыбин.

— Тебе-то она для чего? — спросил я.

— Так сказать, нужен стимул для риска.

— Ну что ж, я согласен: кто убьет — тот и шкуру возьмет.

— Теперь все ясно. Не позже, как завтра утром, я этого косолапого выпущу из шкуры голеньким.

— Нож, Павел, не забудь взять с собою, а то ведь языком не освежишь.

— Смейтесь! Посмотрю я на ваши кислые лица завтра.

Карарбах отдает свою, без полы, дошку Долбачи, берет взамен его, выворачивает ее шерстью наружу, надевает на себя, перехватывает ремнем. Телогрейку прячет в котомку.

Заливаем огонь. Обходим болото слева. По пути заглядываем на озеро. На нем нет казарок. Победил ли в них инстинкт перелета, и они, пренебрегая опасностью, пустились в далекий путь или, охваченные страхом перед белохвостыми орланами, забились в береговую чащу, ждут ночи! Но небо пустое.

Перебрали топкое болото. Вышли на нашу тропку. Разулись, выкрутили портянки и разошлись. Мы с Карарбахом решили задержаться на месте, под гольцом, часа два-три, а Цыбин с остальными направились в лагерь.

Прощаясь, мы долго жали друг другу руки.

"Я УБЬЮ ТЕБЯ, ХАРГИ"

Нам надо было добраться к границе кустарников до россыпей и оттуда спуститься по знакомой уже нам тропке сверху вниз. Карарбах не стал на этот раз подниматься чаще. Ему лучше, чем мне, известно, как опасен медведь в засаде.

Под ногами звериная тропка, проложенная между замшелых мерзлотных бугорков, густо усеянная спелой клюквой. А сколько голубики! Она выползла на россыпи, стелется по кромкам болот. А грибы... То они, будто услышав наши шаги, вдруг высыпают из чащи и стоят на поляне все на виду, родовитые, с многочисленным потомством, то осторожно глянут на тебя в щелочку из-под лопнувшей корки земли, то усыплют тропу.

Пробираемся по шаткой подстилке из угловатых камней. Склон гольца в этом месте пересечен террасами. Мы поднимаемся по ним, как по гигантским, давно заброшенным, ступенькам, и у каждого излома задерживаемся, чтобы осмотреться. Карарбах караулит заросли справа, я слежу за кустарником слева.

Выше все круче. Старик тяжело дышит отогретым солнцем воздухом, на шее вздуваются фиолетовые жилы. Но ноги, привыкшие к ходьбе, идут мерным, как ход маятника, шагом.

У очередного излома он хватается за угол обломка, подтягивается на руках. Потом, закрыв глаза, припадает грудью к скошенному краю камня, долго лежит не шевелясь. Солнце не томит жаром — греет землю. Сегодня особенно чувствуется, что лето ушло. Грусть и уныние разлиты повсюду, в сухом неподвижном воздухе медленно плывет паутина.

Карарбах поднимается, разгибает усталую спину, тяжело вздыхает. Я хочу взять у него котомку. Старик протестует, отмахивается.

Путь по россыпи преграждает неширокой полоской стланик. Если людоед следит за нами, то лучшего места для засады не найти.

Карарбах дает мне знак отстать, но быть . настороже. Сам подходит поближе к зарослям, поднимает ствол берданы.

— Бек!.. Бек!.. — вдруг кричит он, бесподобно подражая голосу олененка, потерявшего мать, и ждет, прощупывая прищуренными глазами кустарник.

Потом еще кричит; теперь в голосе потерявшегося олененка отчаяние и безнадежность.

Стоит несколько секунд. Ветерок дует в спину, набрасывает на стланик запах человеческого пота. Опасность быть обнаруженными очевидна, но кругом невозмутимая тишина.

Старик осторожно входит в чащу, минуя перемычку. Я следую за ним.

Небо в чистой синеве, только у северного горизонта беспорядочно лежат облака, как бы сбившись в одну кучу.

Загряз неожиданно опережает меня, бросается влево, припадает влажным носом к россыпи.

Карарбах, горбя спину, низко наклоняется к нему, внимательно осматривает узоры разноцветных лишайников, прилипших к камню. Тычет пальцем на смятую травинку, которую я ни за что бы не заметил. Показывает на камушек, вдавленный в землю. Кто-то прошел здесь осторожно, не оставив заметного следа.

Проводник ставит правую ногу рядом с измятой травинкой, а другую выносит к камушку, прикидывает, какому зверю принадлежит такой размах шага. Неопределенно разводит руками. Он, кажется, еще не уверен в своей догадке. Делает шаг вперед, равный шагу зверя, прошедшего тут, показывает пальцем на чуть заметные отпечатки когтей. Шагает дальше, еще и еще — и вдруг припадает к россыпи, ощупывает ладонью продолговатый след, хорошо приметный на податливом ягеле.

— Амакан! — едва шевелит он губами, показывая на лишайник с отпечатком кривой медвежьей лапы.

Старик объясняет мне, что медведь где-то близко, тут, в стланике, что он ходит рядом, но не нападает, потому что нас двое, и будет ждать случая, когда мы разойдемся. И даже теперь на лице Карарбаха ни тени тревоги.

Выходим на последнюю террасу. Дальше кустарники мельчают, редуют, сходят на нет, не выдерживают натиска курумов. Вот и тропка, по которой спускались за водою Петрик и Евтушенко.

Карарбах считает, что надо переждать с час, потом идти в стланик.

Даже при самых опасных встречах с раненым медведем, когда он бывает более яростным, я был куда спокойнее. Что же это такое?.. Страх? Неуверенность в себе? Нет! Я готов к этой встрече, и она должна состояться!

Карарбах достает из котомки унты, сшитые ночью, натягивает их поверх олоч, перехватывает ремешками пониже колен и щиколоток. Высыпает на камень из кожаной сумочки весь запас патронов для берданы. Роемся в них крючковатыми пальцами, по каким-то приметам отбирает два патрона, кладет за пазуху. Перехватывает ремешками края рукавов и стягивает завязки на груди.

Затем он низко-низко пригибается к земле, делает движение руками, ногами, головой — ничто не должно мешать при повороте в любую сторону или при прыжке. Уже по этой подготовке можно догадаться, насколько серьезна даже для него, опытного охотника, предстоящая встреча.

Карарбах готов. Он стоит, склонившись на ствол берданы, напряженно всматриваясь в заросли. Лицо его грустно, морщины на широком лбу сдвинуты. Выбирая себе путь, старик что-то шепчет сухими фиолетовыми губами. Куда пойдет он?

А Карарбах, собрав немного мелкого сушняка, разжигает костерок, вытаскивает из котомки своего божка, черного от впитанного жира, кладет его на полу дошки и долго-долго смотрит на него... Что просит старик у своего божка: удачи мне или прощения для себя? Но тот, кажется, неумолим. Карарбах вынимает из кармана грязный кусочек медвежьего жира, подогревает на огоньке и размазывает по его плоскому лицу. Идол сыт, губы от жира кривятся, скулы лоснятся. Карарбах доволен, он кладет божка за пазуху, встает, убежденный в успехе.

Он бросил короткий взгляд на закат, поправил на спине котомку, пристально посмотрел мне в лицо, как бы пытаюсь узнать, готов ли я к поединку. Потом хлопает меня по плечу, кивает на стланик, — дескать, можно идти.

— А ты какой тропкой пойдешь? — спрашиваю старика.

Он показывает одним пальцем на себя, другим — на меня и соединяет эти пальцы: дескать, пойдём вместе.

— Ты же говорил, что я пойду один, — переспрашиваю его.

Он кивает головой и объясняет, что для меня он будет со мною, а для медведя — его не будет близко возле меня. Я не совсем понимаю Карарбаха, но разговор с ним отнимает много времени, а его у нас не остается, и я не стал больше расспрашивать. Если мы пойдём по одной тропе, то это даже лучше: вместе мы сильнее.

Солнце огненным шаром нависает над далекими хребтами. Карарбах торопит меня и говорит, что он будет идти следом, в десяти шагах от меня, но так тихо, что медведь не обнаружит его и даже Харги не узнает.

Только теперь, взглянув на старика, я заметил, что он действительно в этом меховом одеянии сам похож на медведя, вставшего на задние лапы.

Старик берет от меня Загрю, ласково гладит загрубевшей ладонью его по спине, привязывает к своему поясу.

До зарослей идем вместе. Лицо Карарбаха непроницаемо. Никакой тревоги. Это и меня заставляет подтянуться.

А солнце падает ниже и ниже. Что ему до наших дел!

Я выхожу вперед, спускаюсь по еле заметной тропке в заросли. Старик идет следом, но я не слышу ни его шагов, ни шороха кустарника, по которому он пробирается. Шерсть на оленьих шкурах, из которых сшита одежда старика, поглощает звуки.

Зеленый каракуль густых рослых стлаников падает вниз, по пологому склону Ямбуя. Робкими шагами вступаю я в эту враждебную чащобу.

Дальше иду, не таясь, как ходят по безопасной тропе. Только кустарник хищно теснится вокруг да из чащи проглядывает зловещий сумрак.

В правой руке карабин.левой машу пустым котелком по кустарникам. В чутком воздухе дребезжащий металлический звук расплывается по Ямбую, уходит в ложки, стекает к подножью гольца.

Убежден, что медведь уже услышал этот знакомый ему звук. И, может быть; он уже спешит мне навстречу... Нервы сдают, и я невольно шепчу:

— Спокойно... не спеши... Внезапный взрыв справа сжимает сердце. Карабин липнет к плечу.

— Хррр... — взлетает рябчик.

— Ух ты, дьявол! Как напугал! — вырывается у меня с облегчением.

Птица, трепеща крыльями, пугливо метнулась вниз, оставив в дрогнувшем воздухе несколько перьев да недоуменье на морде Загри.

Карарбах не подходит ко мне, показывает на солнце. Времени у нас остается действительно немного. Тропка уводит меня в глубину зарослей. Кустарник молчит как заколдованный.

Ощущение близости зверя не покидает меня. Пячусь задом, жду нападения.

Издали наблюдающий за мною и тоже встревоженный, Карарбах первым приходит в себя, машет рукою, подает знак идти дальше. Я поднимаю котелок, поворачиваюсь. "А что, если людоед перехитрит нас — устроит засаду впереди или слева?" Я сильнее машу по веткам звонким котелком.

Спускаюсь ниже, иду не таясь. Под ногами влажный, скользкий ягель. На левую щеку падает теплый луч закатного солнца.

Тропка выводит меня на прогалину, где людоед напал на Петрика. Зову Карарбаха, а сам присаживаюсь на пень. Остается меньше половины пути до подножья гольца. Неужели мы сегодня не встретимся с медведем? Я не знаю, смогу ли завтра повторить то же самое.

Подходит Загря, кладет на мои колени голову, смотрит на меня спокойно — ничего не ждет.

С озера доносится далекий крик какой-то птицы. Быстро завечерело. За прогалиной тропка, обогнув россыпушку, вывела меня в широкий лог и скрылась в зарослях густых стлаников. Осторожно шагаю по притоптанному ягелю. Звенит и звенит котелок...

Неужели медведь ушел куда-то далеко, не слышит призыва? Настойчиво крепнет досадная мысль, что день закончился вничью, а завтра, может, выпадет снег и...

Но вот снова из соседнего ложка донесся шорох. В два прыжка я оказался у края просвета. Бросаю котелок, поворачиваюсь на звук.

Карарбах каким-то образом догадался, тоже смотрит в ту сторону, откуда донесся подозрительный звук. До боли в руках сжимаю карабин.

Недалеко от меня кто-то качнул ветку стланика. Чутьочку подаюсь влево, поудобнее ставлю ноги. Ближе зашуршали опавшие листья. Снова вздрогнула ветка, другая... И совсем неожиданно в просвет ворвалась испугнутая кем-то белка. Увидев меня, она на мгновение поднялась на задние лапки и, пренебрегая опасностью, бросилась мимо меня.

"Надо же такое!" — вырывается у меня. С облегчением опускаю карабин, нагибаюсь к земле, хочу поднять котелок. Вдруг сзади яростный собачий лай... выстрел... звериный рев...

Мгновенно поворачиваюсь. На меня наплывает черная лохматая глыба с выброшенными вперед когтистыми лапами, неотвратимо наваливается на меня, сбивает с ног, давит огромной тяжестью к земле, обливает лицо горячей липкой кровью. Едкий медвежий запах наполняет легкие. Надо бы выхватить нож, но острая боль не дает шевельнуться.

Медведь лежит на мне. В бессильном бешенстве раненый зверь гребет на себя передними лапами камни, ищет в предсмертной агонии врага. Слышу приближающиеся шага Карарбаха, его гневное бормотание. Острый глубокий удар ножа потрясает могучего зверя. Он весь дрогнул, и тело его стало слабеть, мякнуть, свалилось набок.

Передо мною стоит Карарбах. В широко раскрытых глазах ужас. Он не должен был стрелять, не должен навлекать на себя гнев Харги! Но старик забыл об этом в момент грозившей мне опасности!

С трудом встаю. Боль во всем теле, но раны как будто нет. У ног лежит обмякшая туша темно-бурого медведя.

— Вот мы квиты с тобою, чудовище!

Карарбах стоит рядом, дышит часто, точно ему не хватает воздуха. Он глазам своим не верит, что медведь, в которого вселился Харги, убит. Духи смертны!.. Кажется, именно это потрясло его больше всего.

Старик внимательно осматривает медведя, прикидывает длину его от морды до хвоста, потом нагибается, тычет пальцем в уродливую, криво сросшуюся лапу с налипшими комками земли. Сомнений нет, это людоед!

Полой телогрейки Карарбах вытирает окровавленное лезвие ножа, вкладывает его в ножны. И я вижу, как на лбу старика сбегаются извилистые морщины. Какие-то мысли и сомнения, может быть, никогда раньше не возникавшие, вдруг захватили его.

Духи смертны!.. Разве мог он так думать раньше?

— А ведь здорово получилось, черт побери! Не каждому так удастся. Поздравляю!..

— И я обнимаю старика, крепко прижимаю к груди.

Он освобождается от моих объятий, отступает от меня на шаг, тычет себя в грудь пальцем, отрицательно машет головою: дескать, не меня благодари. Старик оглядывается, явно ищет Загрю, говорит еле понятно:

— Это... бэюэн...

То есть это собака вовремя обнаружила засаду.

Я объясняю ему, что, не пусти он вовремя пулю, собака не спасла бы меня.

В это время в кустах заскулил Загря. Что-то случилось с ним. Я хватаю Карарбаха за руку, спешу на помощь.

Загря лежит на правом боку в камнях. Глаза затуманены болью. У кобеля вывихнута задняя нога, — видимо, ударом медвежьей лапы. Сустав бедренной кости выпирает шишкой. Малейшее прикосновение к ноге вызывает у собаки острую боль.

Я никогда не был костоправом. Мои познания в этой области ничтожны. Вся надежда на старика. Он приседает на корточки, гладит притихшего Загрю, кладет потрескавшуюся ладонь на хорошо заметное вздутие. А сам ласково приговаривает. Затем просит держать кобеля. Я наваливаюсь на Загрю, прижимаю его голову к земле. Собака, вырываясь, неистово визжит. Карарбах осторожно берет правой рукой больную ногу и сильным рывком вправляет конец сустава в чашечку. Рев обрывается, белый султанчик на конце пушистого хвоста Загри обрадованно дрожит. Я отпускаю собаку. Она еще не верит в совершившееся чудо, долго косится на улыбающегося Карарбаха.

Закат в полном великолепии. Румянятся вершины угловатых гольцов, подчеркнутые тенью провалов. Восток кутается в вечернюю дымку. Но нам теперь можно не спешить. Вот освежаем медведя, и я навсегда прощусь с тобой, Ямбуу...

Шкуру отдадим Павлу — так и быть. Представляю, как он расстелет густо-бурый медвежий ковер перед Светланой, как ахнет девушка от радости и удивления. И Павел, усевшись с ней на шкуре, будет долго рассказывать о необычных таежных приключениях.

Выходим мы с Карарбахом из кустарников, а медведя нет!.. Что за дьявольщина! Неужели ошиблись прогалиной? Нет, тут наши следы, измятый ягель и лужа крови. Выскакиваю к просвету и вижу, как, скрываясь в чаще, мелькнул темный хребет удаляющегося зверя.

— Вот проклятый! Сущий злой дух! Но погоди, придет твой конец!

Старик больше меня ошеломлен — обхитрил его Харги! Ведь он не должен был стрелять в него! Карарбах совершил то, чего не могли сделать предки и чего не мог он допустить еще вчера. Но Карарбах, кажется, не собирается вымалывать пощады. Нет! Ни капли раскаяния.

Спускаемся следом зверя по логу к подножью Ямбуя. Всюду рытвины, каменные бугры, густо переплетенный стланик — медведю есть где залечь.

Шаг за шагом погружаемся в эти чутко затаившиеся заросли.

Зверь на бегу кровянит брызгами бледно-желтый ягель. Заметно, что он спешит, как шальной налетает на колодник, падает, попадает в непролазный кустарник. Иногда мы слышим его предупреждающий рев.

Вижу сгустки черной крови. Дальше она побежала по земле сплошной извилистой полоской.

Карарбах останавливает меня. Он хочет узнать, куда попала его пуля и почему нож не задержал зверя? Осматривает притоптанный медведем ягель, находит кровавые мазки на ветках стлаников с правой стороны по ходу зверя, прикидывает высоту мазков от земли на кустах и жестами показывает, что пуля пробила почки. Старик предупреждает меня смотреть в оба! Медведь далеко не уйдет и непременно где-то тут, в зарослях, устроит засаду на своем следу.

Пробираемся по узким прогалинам, караулим зияющие темнотой просветы. Впереди возник подозрительный шорох. Затем дрогнули кусты, стукнул камень -- зверь бросился вниз.

Вот и подножье. Бесшумно идем по влажному ягелю, как по льду. Натыкаемся на лежку, залитую кровью. Вероятно, тут зверь решил дожидаться нас, но что-то помешало ему.

Карарбах все время напоминает мне об осторожности. Предчувствие смертельной опасности делает раненого зверя во много раз смелее.

Задерживаюсь у лежки на две-три секунды и уже хочу шагнуть дальше, как впереди из стланика поднимается лобастая голова и мгновенно исчезает. Не успеваю выстрелить. Где-то дальше гремит россыпь.

Откуда-то появилось несколько кукушек. Болтливые птицы подняли бестолковый гомон, стали, видимо, поносить косолапого за трусость.

Длинные тени вершин Станового слились с провалами. Потускнели склоны. Равнина как бы приподнялась, подставила плоскую грудь вечерней прохладе.

Заросли обрываются у широкой полосы мари. Дальше в мутной пелене простираются болота, пересеченные бугристыми, глухими перелесками. Мы вышли на свой утренний след. Правее, в десяти метрах от нас, на мху виднелись отпечатки отяжелевших лап медведя.

Карарбах вдруг ловит меня сзади за телогрейку, показывает рукой на небольшое озерко среди пожелтевшей зелени.

Медведь!

Вскидываю карабин. Подвожу мушку к краю осоки, за которой метрах в двухстах от нас мелькает темно-бурая полоска спины зверя. Он слышит наши шаги на своем следу, пытается скрыться, пугливо пригибается, неслышно идет по отмели болота. Теперь он боится открытых мест, как летучая мышь света. Уходит в глубину зыбунов, в топи, куда не пройти человеку.

Я не стреляю, за кустарником не видно убойного места, и медведь скрывается за густым перелеском.

Нас атакуют желтые болотные комары, почти вдвое крупнее обычных. Они медлительны в полете, наваливаются полчищами. Их жало ядовито. Лицо горит от укусов. Нет сил терпеть. Но все это сейчас отступает перед охотничьим азартом.

Нам надо во что бы то ни стало перехватить медведя до зыбунов, иначе он действительно уйдет!

Теперь уже не таимся, громко шлепаем по кочковатой мари. На фоне голубого вечернего неба, распластав крылья, молча кружит над раненым медведем ворон.

С трудом преодолеваем троелистовое болото. Бежим через марь напрямик к перелеску. Скорее!.. Скорее!..

У озера натыкаемся на звериную тропку. Следов медведя на ней нет, он идет правее, придерживаясь кромки болота.

Карарбах поднимает ствол берданы, стреляет в небо: может, где-то на прогалине покажется вспугнутый зверь.

Внезапный звук сорвал с болот покой. Стаи вспугнутых птиц вычерчивали в вечернем сумраке замысловатые виражи.

До слуха доносится прерывистое дыхание зверя, его приближающиеся шаги... Потом все внезапно обрывается, замолкает. Зверь затаился.

Сходим с тропы влево, крадемся по мелкому кочкарнику, бредем по воде. Болото безмолвно, как смерть...

Позади за перелеском, где находился медведь, тишину разрывает шум крыльев и пугливый крик кряковых. Шум постепенно отдаляется, затихает. Но там, где он возник, кто-то долго и трудно выбирался из воды на берег.

— Почувствовал, стервец! Уходит через ручей в другую сторону!

Выбегаем из перелеска. Дальше опять марь, сплошь прикрытая пышными лишайниками, будто цветным покрывалом. В потных низинах бродил легкий редяющий туман. Впереди на бугре за марью возникает огромная фигура медведя. Его силуэт хорошо вырисовывается на фоне белых облаков.

Мы — ни с места!

Зверь, повернувшись к нам, долго всматривается в вечернее пространство мари и, видимо, успокоившись, ложится мордой к нам. Но у нас нет времени испытывать терпение друг друга. Стоило сделать один лишь шаг, как чуткий слух зверя обнаружил нас. Медведь мгновенно вскочил, еще раз глянул в нашу сторону и поспешно скрылся за бугром.

От него теперь не отстает ворон. Его дерзкий крик, как набат, слышен далеко в пустынном пространстве.

Мы с Карарбахом бросаемся через марь. Остаются считанные минуты до наступления ночи. Надо во что бы то ни стало догнать зверя, иначе накроет темнота и никуда не пойдешь.

На болоте все еще стонет вспугнутая выстрелом птица.

Небо к ночи становится льдистым. В мареве тускнеют застывшие озера. Скрываясь за краем перелеска, в ночь уходит караван гусей.

Поспешаем, да разве по кочкам разгонишься!..

Вот и бугор. На нем глубокие вмятины медвежьих лап. Мы обрываем бег, осторожно выходим наверх.

То, что представилось нам, было настолько неожиданным, что мы забыли и про ружья, и про все на свете.

За бугром в широком зыбуне, затянута сплошным рыжим мхом, барахтался людоед. Звериным чутьем медведь понял — не уйти от расплаты. Решился перейти зыбун. За ним непролазная чаща старых перелесков, где надежно можно укрыться. Добрался до середины и стал тонуть. Дальше — явная гибель, повернул назад. Страх встречи с человеком отступил перед более реальной опасностью быть заживо погребенным в топком болоте.

Медведь находился не более чем в двадцати метрах от нас. Увидев так близко людей, он оторопел, поднял морду, издал злобный, пугающий рев и с дикой решимостью рванул было к нам. Напрягая все силы, он вытащил из топи передние лапы и, пытаясь найти опору, шлепал ими по растревоженному зыбуну. Напрасно силился вырвать из липкой глины уже погруженный в нее зад. Не помогла и геркулесовская сила. И чем больше бился зверь, тем глубже уходил в разжиженную мерзлоту. Глаза медведя дико блуждали по сторонам. Огромная пасть была широко раскрыта. Зверь продолжал реветь, но это была уже не угроза, а скорее безнадежная ярость, что смерть настигла его раньше, чем он смог свести с нами счеты.

Мы стояли в полном оцепенении, забыв про наступающую ночь, про злого духа, даже чувство мести во мне отступило при виде этой ужасной картины. Чем-то далеким, первобытным веяло от нее.

В эти минуты, кажется, и для медведя не осталось врагов, кроме вязкой, холодной жижи под ним да страха перед нелепой смертью, поймавшей его в зыбуне.

Какой жалкий вид у владыки! Нижняя челюсть отвисла, обнажив заляпанный грязью рот, и его рев уже никого не пугает.

Старик поражен. Он не понимает, почему злой дух Харги бездействует? Почему не спасает людоеда, не сбил нас со следа, не посылает на нас грозу, несчастье? Не может или его действительно совсем нет?..

Рев прекратился. Уже скрылась спина. Разжиженная глина сковала и передние лапы. Зыбун, как удав, медленно заглатывал людоеда в свою бездонную утробу. На поверхности еще оставалась голова с открытым ртом и со злобными глазами, по-прежнему обращенная к нам...

Старик с жаром стал объяснять мне: если есть Харги — он сейчас покажет свою силу. И эвенк застыл в ожидании. Потом, точно очнувшись, высоко поднял костлявую руку с берданой. Потрясая ею в сторону зверя, он гневно крикнул:

— Ви вааи сииу, Харги! (*Я убью тебя, Харги!)

И, приложив ложе ружья к плечу, выстрелил в голову медведя. Зверь последний раз глотнул воздух, и над топким зыбуном сомкнулся мох.

Налетел ворон. Потеряв медведя, он вдруг поднял неистовый гвалт, взметнулся над опустевшим зыбуном и унес свое зловещее "дзин... дзин..." в лиловый сумрак засыпающего нагорья.

Карарбах все еще никак не придет в себя. Столько тревог и волнений он, кажется, не пережил за всю свою долгую жизнь. Свершилось такое, чего он, вероятно, тайно опасался. Но все это, конечно, не сразу началось, не с нашей встречи, а стоило ему многих бессонных ночей, сомнений, тяжелых раздумий, бродило в нем подспудно. И только в этот день, столкнувшись с людоедом, старик понял, что человек сильнее Харги. И все, что он так бережно хранил от предков, вдруг рухнуло.

Старик резко повернулся и, не оглядываясь, быстро зашагал назад, к Ямбуу. Уходил худой, высокий и прямой, как кондовая лиственница.

Померкли дали. В потемневшем зеркале болот ничего не отражается. Нагорье уходит в глухую осеннюю ночь.

Догоняю Карарбаха. Шлепаем со стариком по воде, черной, как ночное небо. Что нам теперь до темноты, до холодной воды в сапогах, до безлюдных пустырей! И темень, и тишина, и шорохи уже не пугают нас.

Выходим на тропку, где оставались наши котомки. Идем по обмелке болот. Вода в них ночью так густа, так тяжела и так недвижима, что и звезды, отражающиеся в ней, неподвижны.

Карарбах идет спокойным и широким шагом, что-то бормочет себе под нос. Внезапно он отступает назад, хватая меня за руку, прижимает к себе, свободной рукой показывает вперед.

Не понимаю, что встревожило старика. Склонив набок голову, он настороженно смотрит в темноту, явно чего-то ждет. Загря тоже ведет себя странно — навострив уши, громко нюхает воздух. Только я один ничего не понимаю. Хочу спросить старика, в чем дело, но слышу сам, как загремела россыпушка, точно на нее высыпали кучу камней. Затем из этого шума прорвались шаги и стук приближающихся копыт. Карарбах, как всегда, догадался о близости зверя раньше, чем можно было услышать его шаги.

Толкаю старика, изображаю руками рога. Он утвердительно кивает головой. Я сбрасываю с плеча карабин. Загря устремляется в сторону зверя.

Из темных стлаников появляется учаг. На нем — глазам не верю! — Лангара.

Осадив оленя, она легко коснулась ногами земли и, приблизившись к нам, с материнским беспокойством глянула на меня.

— Я думала, тебя поймал амакан, не увижу больше, — сказала она с облегчением.

— Почему ты так решила?

— Мы слышали выстрел из берданы, подумали: почему Карарбах стреляет, а, не ты? Он не собирался убивать злого духа. Немного погодя опять услышали выстрел, тоже из берданы. Что бы ты сказал? Не знаешь?! Мы подумали: наверное, Карарбах ранил амакана, потом тот бежал, его догнал старик и убил. Ты не стрелял, что-то с тобою случилось. Разве усидишь на таборе, всяко думается! Вот я и тороплюсь узнать, — может, помочь надо?

— Спасибо, Лангара, ты угадала, все именно так и было. Карарбах убил людоеда.

— Убил? — Она роняет на землю поводный ремень, поднимает руки к небу. — Неужели забыл, что в амакане злой дух? Он ничего не прощает людям и тем, кто против него, приносит много горя. — И она повернулась к старику.

— Карарбах хорошо знал все это и все-таки убил Харги, но, как видишь, остался жив!

— Я ловлю ее худую, холодную руку, говорю как можно ласковее: — На земле нет ни злых, ни добрых духов, Лангара, все это придумали сами люди. Ты это понимаешь и веришь в духов лишь в силу привычки.

Лангара хмурится, слегка повисает на моей руке, и пальцы ее наливаются тяжестью. Не по душе ей мои слова, и, кривя губы, она говорит убежденно:

— Зачем ты пришел в наше стойбище?.. Без тебя мы много лет жили, и неплохо жили, как велели предки, а они знали такое, что скрыто от других. Ты говоришь, что духов нет, что мы слепые, неправильно живем. Но разве не знаешь, что человек без веры все одно что бесплодная женщина, которая не знает материнской радости. Я не видела духов, но знаю: они сильные. Поверить же тебе, люци, все равно что надсмеяться над своим прошлым, над своею жизнью. Но мы так не можем. Пусть дети живут по-новому, им не нужны наши старые боги...

— Нет! Мне хотелось помочь вам освободиться от ненужного страха перед Харги, чтобы вы больше верили в свои собственные силы.

— Нет больше Харги... — еле слышно шепчут ее губы.

Но вот опять перед нами прежняя Лангара. Суровая, неуступчивая, убежденная в своей правоте. Она поднимает с земли поводной ремень, выходит вперед с учагом, ведет нас на табор.

Взошла луна. Тьма рассеялась, ушла в перелески, легла на болота. Под ногами обозначилась тропка.

Старуха перебредает

промоину, приостанавливается, грозит мне кулаком.

— Духи тебе не простят, ты это узнаешь раньше, чем покинешь Ямбуи. И Карарбаху больше не будет удачи.

— Ты, Лангара, с детства поклоняешься духам, ублажаешь, молишься на них, так почему же они не оградили тебя от многих несчастий, что пережила ты за свою жизнь?

— Человеку положено много горя и мало радости, — возражает она.

— Но не от духов!

Старуха гневно глянула на меня, дернула за повод оленя.

Она шла, сбиваясь с проторенной стежки, как ошалелая. Потом вскочила на учага, погнала его влево от тропки через марь и исчезла.

Мы почувствовали теплое, живительное дыхание костра раньше, чем увидели огонь. И ветерок донес резкий запах звериного мяса. Это, видимо, каюры привезли медведя

— нашу с Павлам добычу.

Все поднялись и удивились: за плечами у нас не было ни шкуры, ни мяса.

— Ушел...